

H. P. Girard

© 1911

AMERICAN

T. DE-MORRIS

NEW YORK



MADE IN U.S.A.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ф Р А Н Ц И Я

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Г. ДЕ-МОПАССАНА

GUY DE MAUPASSANT

1850 — 1893

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Ф. К. СОЛОГУБА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

М-78 Г. ДЕ-МОПАССАН

43

ТОМ ВТОРОЙ

МИЛЫЙ ДРУГ

ПЕРЕВОД А. н.
ЧЕБОТАРЕВСКОЙ



П Е Т Е Р Б У Р Г М С М Х I X

W

0.3.

~~5012/0~~



871132 ✓✓

МИЛЫЙ ДРУГ
BEL AMI
РОМАН
1885

I.

Взяв от кассирши сдачу с пяти франков, Жорж Дю-руа, вышел из ресторана.

Хорошо сложенный, еще сохранивший военную выправку, он выпрямился, закрутил усы молодцеватым, свободным движением и обвел запоздалых посетителей быстрым и зорким взглядом красивого малого, похожим на взгляд ястреба, высматривающего свою добычу.

Женщины подняли на него глаза,—три работницы, учительница музыки среднего возраста, плохо причесанная, небрежно одетая, всегда в запыленной шляпе и сбившемся на-бок платье, и две буржуазки со своими мужьями, обычные посетители этого трактирчика с *à la carte*

Очутившись на тротуаре, он на секунду остановился, соображая, что ему предпринять. Сегодня 28 июня, и в кармане у него остается ровно три франка сорок до конца месяца. Это составляет стоимость двух обедов без завтрака, или двух завтраков без обеда, на выбор. Он высчитал, что завтрак стоит франк десять, а обед полтора франка; таким образом, довольствуясь завтраками, он сбережет франк двадцать, что равняется двум ужинам из сосисок с хлебом с двумя бокалами пива, на бульваре. Это любимое его вечернее развлечение составляло большой расход в его бюджете. И он начал спускаться по улице Нотр-Дам-де-Лоретт.

Он сохранил еще походку тех времен, когда носил гусарскую форму, — выпяченную грудь, слегка расставленные ноги, точно он только что слез с лошади; резко двигался в толпе людей, задевая плечами, толкая встреч-

ных, расчищая себе таким образом путь. Слегка надвинул на ухо свой поношенный котелок и, постукивая каблуками о мостовую, шел с таким видом, точно презирал все,—прохожих, дома, весь город, с высокомерием «душки-военного», попавшего в штатские.

Несмотря на свой шестидесяти-франковый костюм, он сохранял известную внешнюю элегантность, хотя и несколько шаблонную. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, с слегка рыжеватым оттенком волос, пышными усами, вздымающимися над верхней губой, ясно-голубыми глазами, прорезанными маленькими зрачками, вьющимися волосами, разделенными на пробор по середине, он олицетворял собою героя бульварного романа.

Стоял жаркий летний вечер, один из душливых парижских вечеров, когда так чувствуется недостаток воздуха в городе. От зданий, нагретых как баня, казалось, подымались испарения в душливый мрак ночи. Из гранитных пастей сточных труб вырывалось их отравленное дыхание, а из окон подвальных кухонь несся на улицу омерзительный запах перегорелого соуса и помоев.

Привратники в одних жилетах, вертом на соломенных стульях, покуривали трубки у ворот домов; прохожие шли словно в изнеможении с непокрытыми головами, держа шляпы в руках.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился, колеблясь над выбором дальнейшего пути. Ему захотелось дойти до Елисейских Полей и Авеню Булонского леса, чтобы глотнуть немного свежего воздуха вблизи зелени; одновременно с этим в нем шевелилось желание, ожидание любовной встречи.

Как это произойдет? Он не знал этого, но ожидал в течение трех месяцев каждый день и каждый вечер. Случалось, что и теперь ему перепали крохи любви, благодаря смазливой внешности и галантности обращения, но он уповал на большее и лучшее.

С пустым карманом и кипящей кровью он загорался от каждого прикосновения «профессионалок», шептавших ему на углах: «Пойдешь со мной, мальчишечка?», но не смел идти за ними, не имея чем заплатить; смутно

надеялся и ожидал чего-то иного, иных ласк, менее вульгарных.

Он любил посещать места, кишачие публичными женщинами,—их балы, их кафэ, их улицы; любил толкаться среди них, болтать с ними на «ты», вдыхать их яростные благовония, чувствовать себя окруженным ими. Все же это были женщины, женщины, которых можно любить. Он не чувствовал к ним никакого презрения, свойственного семейным мужчинам.

Он повернул по направлению к Мадлене и пошел по течению толпы, изнемогавшей от жары. Большие кафэ, переполненные посетителями, захватывали часть тротуара, выставляя пьющую публику под ослепительный, режущий свет иллюминированного фасада. Перед ними, на круглых или четырехугольных столиках, стояли стаканы, наполненные красными, желтыми, зелеными, коричневыми—всех оттенков—напитками; внутри графинов виднелись прозрачные глыбы льда, охлаждавшие прекрасную кристальную воду.

Дюруа замедлил шаг, мучимый жаждой, от которой у него пересохло в горле.

Ощущение знойной жажды, жажды летнего вечера терзало его, и он живо представил себе восхитительный вкус прохладительного, текущего по горлу. Но если он позволит себе два бокала в один вечер, тогда прощай тощий ужин завтрашнего дня; а ему слишком хорошо знакомы голодные часы последних дней месяца.

Он сказал себе:—Нужно дождаться десяти часов и тогда выпить бокал в «Америкэне». Чорт возьми! Как мне, однако, хочется пить!—и посмотрел на всех этих господ, пьющих за столиками, всех этих мужчин, которые могли утолять свою жажду, сколько им угодно. И пошел мимо этих кафэ, приняв наглый, вызывающий вид, стараясь определить по одному взгляду, по выражению лица, по одежде, сколько у каждого посетителя было с собой денег. Глухое раздражение поднялось в нем против всех этих мирно заседающих господ. В их карманах, если поискать, найдутся, конечно, и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем, у каждого, должно быть, не меньше двух лундиров; всех около сотни в кафэ; сто раз

по два дуидора—составит четыре тысячи франков! Пробормотал: «свиньи!», покачиваясь не без грации. Если бы он мог поймать одного из них за углом улицы в темноте, он бы свернул ему шею,—ей-Богу, без зазрения совести, как он это делал с живностью в деревнях... в дни больших маневров.

Ему вспомнились два года, проведенные в Африке... как он надувал арабов во время стоянок на Юге. Жесткая, злая усмешка пробежала у него по губам при воспоминании об одной проделке, стоившей жизни трем человекам из племени Улет-Авана, доставившей ему и его товарищам двадцать кур, двух баранов, золото и над чем посмеяться в продолжение шести месяцев.

Никогда бы не нашли виновных, которых, впрочем, и не искали, так как арабы считались естественной добычей солдат.

В Париже—не то. Нельзя открыто грабить с саблей на боку и револьвером в руке, как там, вдали от гражданского правосудия, на свободе... И он почувствовал зашевелившиеся у него в душе инстинкты унтер-офицера, накинувшегося на покоренную страну. Конечно, теперь ему было жаль этих двух лет, проведенных в пустыне. Какая досада, что он там не остался! Да вот, понадеялся, возвращаясь, на лучшее. А теперь!.. Да! нечего сказать, теперь лучше!

Он провел языком по рту, слегка прищелкивая, точно для того, чтобы удостовериться в сухости нёба.

Толпа двигалась вокруг, изнеможенная и усталая. И он продолжал думать: «Куча скотов! у всех этих болванов в кармане жилета есть деньги». Толкал встречных плечом и насвистывал веселенькие арии. Мужчины, которых он толкал, оборачивались, ворча; женщины говорили: «вот животное!»

Он обогнул театр Водевиль и остановился против кафе «Америкэн», спрашивая себя:—не пора ли ему потребовать бокал, так его мучила жажда. Прежде, чем решиться на это, он взглянул на часы с освещенным циферблатом по середине улицы. Было девять часов пятнадцать минут. Он знал себя: как только бокал с пивом

поставят перед ним, он проглотит его моментально. И что тогда делать до одиннадцати часов?

Придумал:—«Дойду до Мадлэны и обратно, не спеша».

Дойдя до угла площади перед Оперой, Дюруа встретался с полным молодым человеком, силуэт которого смутно показался ему знакомым.

Он пошел за ним, роясь в своей памяти и повторяя вполголоса:—Где, черт побери, я видел этого субъекта?

Тщетно рылся он в своих воспоминаниях; потом вдруг, по странному капризу памяти, этот самый человек представился ему моложе, худее, одетый в форму гусара. Вскрикнул громко:—Да ведь это Форестье!—прибавил шагу и хлопнул проходящего по плечу. Тот обернулся, посмотрел на него, потом сказал:—Что вам от меня угодно, сударь?

Дюруа начал смеяться:—Ты меня не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, 6-го Гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:—А, дружище! Как поживаешь?

— Отлично, а ты?

— О! я не важно; представь себе, мои легкия обратились в какую-то слякоть; я кашляю из двенадцати месяцев—шесть, последствие бронхита, который я схватил в Буживале, вернувшись в Париж,—вот уже теперь четыре года.

— Неужели! по твоему виду этого ни за что не скажешь.

И Форестье, взяв под руку своего бывшего товарища, принялся рассказывать ему о своей болезни, о консультациях и советах докторов, о невозможности следовать их предписаниям в его положении. Ему предписано провести зиму на Юге; но как это выполнить? Он женат, журналист, занимает отличное положение...

— Я заведу отделом политики во «Французской Жизни», веду сенатские отчеты в «Спасении» и от времени до времени даю литературную хронику в «Планету». Да, я выбрался на дорогу.

Дюруа, удивленный, посмотрел на него. Он очень

изменился, возмужал. Теперь у него—походка, осанка, костюм человека солидного, уверенного в себе; брюшко, как у людей, плотно обедающих. Прежде он был худым, тщедушным, легкомысленным, спорщиком и весельчаком. Три года Парижа совершенно преобразили его; он потолстел, стал серьезным,—на висках волосы начинают седесть, несмотря на его двадцать семь лет.

Форестье спросил:—Куда ты идешь?

Дюруа ответил:—Никуда,—гуляю перед возвращением домой.

— Ну так, не проводишь ли ты меня до редакции, мне нужно просмотреть гранки; а потом выпьем вместе по бокалу?

— Идет.

И они пошли, взявшись под руку, с той свободной непринужденностью, которая сохраняется у товарищей по школе и по полку.

— Что ты делаешь в Париже?—спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:—Подыхаю с голоду, просто напросто. Покончив со службой, я захотел вернуться сюда... делать карьеру или, вернее, жить в Париже; и вот шесть месяцев служу в правлении северных железных дорог, получая полторы тысячи франков в год и ничего больше.

Форестье пробормотал:—Чорт, это не очень жирно.

— Я думаю. Но как ты хочешь, чтобы я выбрался? Я одинок и никого не знаю, не имею никакой протекции. Не хватает средств, но отнюдь не моей доброй воли.

Товарищ оглядел его с ног до головы, взглядом опытного человека, взвешивающего положение, потом произнес убежденным тоном:—Видишь ли, мой милый, здесь все зависит от апломба. Человеку ловкому легче сделаться министром, чем директором правления. Нужно уметь импонировать, а не просить. Но как тебя утешало не найти ничего лучшего, чем служба на Железную?

Дюруа ответил:—Я искал повсюду, но ничего не нашел. Сейчас у меня есть нечто в виду,—мне предлагают место наездника в манеже Пеллерэн. Там, на худой конец, я буду иметь три тысячи франков.

Форестье прервал его:—Не делай этой глупости, если

бы даже тебе дали десять тысяч франков. Этим ты себе сразу отрежешь путь. В твоём правлении, по крайней мере, тебя никто не видит, ты можешь оттуда выбраться, если сумеешь, и еще сделать себе карьеру. Но раз сделавшись наездником,—крышка. Это все равно, как если бы ты был метр-д'отелем в ресторане, где обедает весь Париж. Когда ты будешь давать уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, они никогда уже не смогут относиться к тебе, как к равному.

Он замолчал, подумал несколько секунд, потом спросил:

— У тебя диплом бакалавра?

— Нет, я срезался оба раза.

— Это ничего, если ты все-таки окончил курс. Когда говорят о Цицероне или о Тиверии, ты знаешь приблизительно о ком идет речь?

— Да,—приблизительно.

— Ладно, никто больше и не знает, за исключением каких-нибудь двадцати дураков, которые все равно далеко с этим не уйдут. Прослыть знающим совсем не трудно; все дело в том, чтобы не дать себя открыто уличить в невежестве. Нужно лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия, сажать других в лужу при посредстве энциклопедического словаря. Все люди глупы, как гуси, и невежественны, как рыбы.

Он говорил со спокойной насмешкой человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на проходящих. Но вдруг он закашлялся и остановился, чтобы дать утихнуть кашлю, потом упавшим тоном сказал:—Не возмутительно ли это—не иметь возможности отделаться от этого бронхита? И это в разгаре лета. О! эту зиму я поеду лечиться в Ментону. Чорт побери,—ведь здоровье прежде всего.—Они дошли до бульвара Пуассоньер и остановились у большой стеклянной двери, на стеклах которой был приклеен развернутый номер газеты. Трое прохожих читали его, остановившись.

Над дверью выделялась, точно воззвание, вывеска большими огненными буквами «Французская Жизнь». Фигуры прохожих, вступавших в освещенную этими

буквами полосу, вдруг появлялись яркие и четкие, точно при дневном свете, потом снова исчезали во мраке.

Форестье толкнул дверь:—Входи,—сказал он. Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, видной со всей улицы, очутился в передней, где два лакея поклонились его товарищу, потом остановился в комнате—вроде приемной, затрепанной и пропыленной, обтянутой мутно-зеленым репсом, запятнанным и местами словно изъеденным мышами.

—Присядь,—сказал Форестье,—я вернусь через пять минут.—И он исчез за одной из трех дверей, выходивших в эту комнату.

Какой-то особый запах, неуловимый и странный, запах редакционной залы, стоял в салоне. Дюруа не двигался, слегка смущенный, ошеломленный. От времени до времени мимо него пробегали из одной двери в другую люди с такой стремительностью, что он не успевал на них взглянуть.

Это были или очень молодые люди, с занятым видом, с листками бумаги в руке, трепетавшими от их быстрого бега; или наборщики, у которых из под полотняной блузы, перепачканной чернилами, виднелся чистый белый воротничок и суконные брюки, как у господ; они бережно несли кипы оттисков,—свежие, еще сырые гранки. Несколько раз появлялись господа, щеголевато одетые—в слишком ватянутых сюртуках и черезчур остроносовых ботинках—вероятно репортеры из светских кругов, доставлявшие вечернюю хронику. Приходили еще—важные, сосредоточенные, носившие высокие шляпы с плоскими полями, точно этот фасон отличал их от всех остальных людей.

Форестье появился под руку с высоким худым господином, в возрасте от тридцати до сорока лет, одетым в черный фрак и белый галстук, очень смуглым, с закрученными усами, наглым и самодовольным видом.

Форестье сказал ему:—До-свиданья, дорогой учитель.

Тот пожал ему руку:—До-свиданья, мой милый,—и стал спускаться с лестницы, посвистывая, с тросточкой под мышкой.

Дюруа спросил:—Кто это?

—Это Жак Риваль,—знаешь, известный хроникер, дуэлист: он просматривал здесь свои корректуры. Гарэн, Монталь и он—три лучших хроникера в Париже. Он получает здесь тридцать тысяч франков в год за две статьи в неделю.

Уходя, они повстречались с маленьким человеком, длинноволосым и седым, неопрятного вида, подымавшимся по лестнице с одышкой.

Форестье низко поклонился:—Норбер-де-Варенн,—сказал он,—поэт, автор *Угасших Светил*,—человек в цене. Каждая новелла, которую он нам дает, оплачивается тремястами франков, хотя в самой длинной никогда не бывает двухсот строк. Но войдем в «Наполиэн».—я подышаю от жажды.

Усевшись за столиком кафе, Форестье скомандовал:—Два бокала!—и проглотил свой одним глотком, между тем как Дюруа тянул пиво медленными глотками, наслаждаясь и смакуя его, точно редкий драгоценный напиток.

Его сотоварищ помолчал, точно размышляя о чем-то, потом вдруг сказал:—Почему бы тебе не попробовать свои силы в журналистике?

Тот посмотрел на него в удивлении; потом сказал:—Но... потому... что я никогда ничего не писал.

—Ба!—Все пробуют, начинают. Я бы мог устроить тебя на репортаж, собирать для меня сведения, делать визиты, исполнять поручения... Для начала ты будешь иметь двести пятьдесят франков и оплаченные разъезды. Хочешь, чтобы я о тебе поговорил с патроном?

—Разумеется, хочу.

—В таком случае, вот что—приходи ко мне завтра обедать; у меня соберутся всего пять-шесть человек,—патрон г. Вальтер, с женой, Жак Риваль, Норбер-де-Варенн, которого ты сейчас видел, и еще одна подруга моей жены. Идет?

Дюруа медлил ответом, покрасневший и смущенный. Наконец пробормотал:

—Дело в том... что у меня нет подходящего костюма...

Форестье изумился:—У тебя нет фрака? Чорт! Ме-

жду тем это вещь необходимая. Видишь ли, в Париже скорее можно обойтись без ночлега, чем без фрака.

Потом вдруг, порывшись в кармане жилета, он достал кучку золота, взял два луидора, положил их перед своим бывшим сослуживцем и сказал дружелюбно и просто:—Ты мне вернешь это, когда сможешь. Возьми на прокат, или купи необходимое тебе платье в рассрочку, на выплату; словом, сделай, что тебе нужно, и приходи обедать завтра, в половине восьмого, 17, улица Фонтана.

Дюруа, растроганный, спрятал деньги, бормоча:—Ты слишком добр, я тебе страшно благодарен, будь уверен, что не забуду...

Другой прервал его: — Довольно, не стоит. Еще по бокалу, не правда ли? — И закричал:—Гарсон, два бокала!

Когда бокалы были выпиты, журналист предложил:

— Хочешь еще пошататься часок?

— Ну, конечно.

Они пошли по направлению к церкви Мадлен.

— Что бы нам предпринять?—сказал Форестье.—Говорят, что в Париже у фланера всегда есть цель; это не верно. Я, когда гуляю вечером, никогда не знаю, куда пойти. В Булонский лес стоит ехать только с женщиной, да не всегда есть такая под рукой; кафэ-концерты могут забавлять моего аптекаря и его супругу, но не меня. В таком случае, что делать?—ничего. Здесь должны бы устроить зимний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь, где бы можно было слушать хорошую музыку и пить прохладительные в тени деревьев. Это не было бы увеселительным местом, но местом гуляния; за вход брали бы дорого, чтобы привлечь элегантных дам. Гуляли бы по усыпанным песком аллеям, освещенным электричеством, сидели бы и слушали музыку по желанию—издали и вблизи. Когда-то существовало нечто подобное у Мюзара, но с слишком кабацким привкусом,—недостаточно элегантно, недостаточно прилично, недостаточно серьезно. Нужен очень хороший, очень большой сад. Это было бы восхитительно. Куда ты хочешь пойти?

Дюруа, в смущении, не знал, что ответить; наконец, решил:—Я никогда не был в Фоли-Бержер. Охотно зашел бы туда...

Его спутник воскликнул:—Фоли-Бержер? Чорт! Нас там будут поджаривать точно на жаровне. Впрочем, пусть; там всетаки забавно.

И они повернули по направлению к улице Фобур-Монмартр.

Ярко иллюминированный фасад здания бросал светлый отблеск на четыре прилегающие к нему улицы. Целая вереница извозчиков дожидалась раз'езда.

Форестье вошел, Дюруа остановился:

— Мы забыли подойти к кассе.

Но Форестье ответил импонирующим тоном:

— Со мною никогда не платят.

У контроля, трое, проверявших билеты, поклонились Форестье. Стоявший в середине протянул ему руку.

Журналист спросил:

— Есть хорошая ложа?

— Разумеется, г. Форестье.

Он взял поданный купон, толкнул дверь, обитую кожей, и они очутились в зале.

Табачный дым окутывал словно легкий туман отдаленные части сцены и другую сторону театра. Беспорывно поднимаясь бесчисленными беловатыми струйками от всех сигар и сигареток, которые курили все эти люди, этот легкий туман все увеличивался, подымался к потолку, и образовывал, под широким куполом, вокруг люстры, над головами зрителей первого яруса, облако дыма.

В широком коридоре, идущем от входа кругом залы, где бродят разряженные толпы профессионалок в перемежку с темными силуэтами мужчин, группа женщин поджидала входящих перед одним из трех прилавков, где восседали три продавщицы напитков и любви, намазанные и несвежие. Позади них зеркала до потолка отражали их спины и лига проходящих.

Форестье быстро шел всем навстречу с видом человека, имеющего право на внимание.

Мопассан. Милый Друг.

30190



Подошел к капельдинерше:—Ложа 17?—спросил он.

— Здесь, сударь.

И они очутились в маленькой деревянной клетке, задрапированной красным, где стояли четыре стула того же цвета, так близко друг от друга, что едва можно было протиснуться между ними. Друзья уселись; направо и налево от них тянулся длинный, прилегающий с обоих концов к сцене, ряд одинаковых клеток с сидящими людьми, у которых виднелись только головы да плечи.

На сцене трое юношей в трико, высокий, средний и маленький, выделывали поочередно фокусы на трапеции. Высокий сначала шел быстрыми мелкими шагами, улыбаясь и посылая рукой приветствия, точно поцелуи.

Под трико вырисовывались мускулы его рук и ног; он выпячивал грудь, чтобы уменьшить размеры выступающего живота; лицо его походило на лицо парикмахера,—тщательный пробор разделял волосы на две равные части, ровно по середине головы. Он вскакивал на трапецию грациозным прыжком и, повиснув на руках, вертелся вокруг, точно заведенное колесо; или, вытянув руки, выпрямив корпус, оставался без движения, горизонтально повиснув над пустотой, держась только на вытянутых руках. Потом соскакивал на землю, снова раскланивался, улыбаясь под аплодисменты передних рядов, и удалялся в глубину, показывая при каждом шаге мускулатуру своих ног.

Второй, не такой высокий, более коренастый, выходил в свою очередь и проделывал те же упражнения; затем первый начинал снова, при все возрастающем одобрении зрителей.

Но Дюруа несколько не занимало это зрелище и, повернув голову, он стал рассматривать прогуливающих сзади ложи мужчин и профессионалок.

Форестье сказал ему:—Обрати внимание на первые ряды:—одни буржуа со своими женами и детьми.—Болванье, являющееся сюда смотреть. В ложах—завсегдатаи бульваров, кое-какие артисты, несколько второстепенных профессионалок; а позади нас — всякий сброд, какой только есть в Париже. Кто они такие? Посмотри на них. Здесь всего понемногу,—всех профессий и всех сосло-

вий, но преобладает хулиганье. Служащие в банках, в министерствах, в магазинах, репортеры, сутенеры, офицеры в штатском. Кутили во фраках, пообедавшие в кабачке, проводящие здесь время между Оперой и Бульваром, и еще целая куча подозрительных личностей, не поддающихся анализу. Что касается женщин—одна марка: ужинающие в «Америкэне»; профессионалки—ценой от одного до двух луидоров, подстерегающие иностранцев, платящих пять, и оповещающие своих клиентов, когда они вакантны. За шесть лет я их всех узнал; встречаешь их каждый вечер, весь год, в одних и тех же местах, исключая того, когда они на излечении в Сен-Лазаре или другом подобном месте.

Дюруа не слушал. Одна из женщин, облокотившаяся об их ложа, смотрела на него. Это была полная брюнетка, набеленная, с черными подведенными глазами под огромными нарисованными бровями. Ее пышный бюст обтягивал темный шелковый корсаж; губы, намазанные красным, точно рана, придавали ее лицу что-то животное, жгучее, зажигающее желание...

Она подозвала кивком головы одну из своих прогуливающих подруг, блондинку с рыжеватыми волосами, тоже полную, и сказала ей умышленно громко, чтобы можно было слышать:—Посмотри-ка—вот красивый малый. Если он пожелает мне заплатить десять золотых,—я не откажусь.

Форестье обернулся и, улыбаясь, похлопал Дюруа по бедру:—Это на твой счет; ты имеешь успех, мой милый. Поздравляю.

Бывший подпоручик покраснел и машинальным движением пальцев потрогал золотые монеты в кармане своего жилета.

Занавес опустился; оркестр заиграл вальс. Дюруа сказал:—Пройдемся вокруг галлерей?

— Как хочешь.

Они вышли и тотчас были подхвачены волной гуляющих. Их толкали, теснили, жали со всех сторон; они двигались, имея перед глазами целый лес шляп. Профессионалки, попарно, шныряли в этой толпе мужчин, с лов-

костью лавировали между спин, локтей, плеч, точно у себя дома, чувствуя себя как рыбы в воде среди этого потока самцов.

Дюруа, восхищенный, шел по течению, вдыхая с наслаждением воздух, пропитанный табаком, человеческими испарениями и благоуханиями кокоток. Но Форестье раскраснелся, закашлялся, задохнулся.

— Пойдем в сад,—сказал он.

И, повернув налево, они прошли в отгороженный угол сада, где были устроены два фонтана. Под деревьями в кадках, за цинковыми столиками, расположились пьющие мужчины и женщины.

— Еще бокал?—спросил Форестье.

— Да, с удовольствием.

Они сели, рассматривая проходящих. От времени до времени к ним подходила женщина, спрашивая с банальной улыбкой:—Вы меня чем-нибудь угостите, сударь?—И на ответ Форестье:—Стаканом воды из фонтана,—удалялась, бормоча: «болван!»

Полная брюнетка, только что опиравшаяся о перила их ложи, показалась снова, надменно выступая под руку с толстой блондинкой. Они составляли вдвоем отличную пару, очень подходящую друг к другу.

Заметив Дюруа, она улыбнулась, точно их взгляды уже успели сообщить друг другу какую-то тайну; взяв стул, преспокойно уселась против него и, усадив свою подругу, приказала звонким голосом:—Гарсон, два гренадина!

Форестье сказал с удивлением:

— Ты, кажется, не стесняешься?

Она отвечала:—Это твой друг меня соблазняет. Вот так красивый малый. Мне кажется, что он способен заставить меня наделать глупостей!

Дюруа, смущенный, не нашелся, что сказать. Он покрутил усы, глупо улыбаясь. Гарсон принес сироп, который женщины выпили одним глотком; потом они поднялись; брюнетка, дружески кивнув головой и слегка ударив веером по плечу Дюруа, бросила:—Благодарю, коте-ночек. Ты не очень-то балуешь разговором.

И ушли, вилля бедрами.

Форестье принялся хохотать:—В самом деле, дружище, знаешь, ты имеешь успех у женщин? Этим не следует пренебрегать. С этим можешь пойти далеко.—Секунду помолчал, потом снова, тоном человека, думающего вслух:

— При их помощи легче всего сделать карьеру.

Так как Дюруа продолжал улыбаться, не отвечая, он спросил:—Ты еще остаешься? Я уйду,—с меня достаточно.

Тот пробормотал:—Да, я еще немного останусь. Еще не поздно.

Форестье поднялся.

— Ну, так значит до-свиданья, до завтра. Не забудь, 17, улица Фонтана, половина восьмого.

— Непременно. До завтра. Спасибо.

Пожали друг другу руки, и журналист ушел.

Как только он скрылся, Дюруа почувствовал себя свободным и снова радостно нащупал золотые монеты в своем кармане. Потом, поднявшись, он пошел, рыща глазами в толпе. Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, прогуливавшихся с видом нищих королей в толпе мужчин. Он пошел прямо на них, но когда приблизился, не решился...

Брюнетка сказала ему:—Ну что, у тебя язык развязался?—Он пробормотал:

— Извините...—не будучи в состоянии придумать ничего, кроме этого слова.

Они стояли все трое, затрудняя движение толпы, образуя вокруг водоворот.

Потом вдруг она спросила:

— Идешь со мной?

И он, трепеща от желания, ответил грубо:

— Да, но у меня при себе всего один золотой.

Она снисходительно усмехнулась:

— Это ничего.

И взяла его под локоть в знак согласия.

Когда они выходили, он подумал, что на остальные двадцать франков он сможет взять на прокат фрак для завтрашнего вечера.

1.

— Квартира г. Форестье?

— В третьем этаже,—левая дверь.

Привратник сказал это любезным тоном, с заметным уважением к своему жильцу. И Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он чувствовал себя слегка смущенным, не в своей тарелке. Надел фрак в первый раз в жизни и волновался по поводу всего своего костюма. Чувствовал его погрешности,—ботинки не лакированные, хотя и довольно изящного покроя; сорочка,—за четыре пятьдесят, купленная в это же утро в Лувре, с слишком тонкою грудью, которая уже начала топорщиться. Другие его сорочки, которые он носил постоянно, были все более или менее серьезно повреждены, и даже наиболее крепкую из них он не решился сегодня надеть.

Черезчур широкие брюки плохо обрисовывали ноги, заворачиваясь вокруг икр, как вещь, случайно очутившаяся на данном теле. И только фрак сидел недурно, случайно найденный как раз на его рост.

Он медленно подымался по ступеням, с бьющимся сердцем и тоскою в душе, мучимый больше всего боязнию показаться смешным; и неожиданно он увидел против себя элегантного господина, смотревшего на него. Они очутились так близко друг к другу, что Дюруа сделал движение по направлению к нему, но остановился в изумлении: это был он сам, в отражении большого—во весь рост—зеркала, на площадке первого этажа. Он весь затрепетал от радости, найдя себя несравненно лучше, чем он ожидал.

Дома у него было только маленькое зеркало для бритья, в котором нельзя было увидеть себя всего, и так как он еле мог рассмотреть в него отдельные части своего импровизированного туалета, то преувеличил их несовершенства и ужасался, воображая себя смешным.

А теперь, увидав внезапно себя в зеркале, он даже не узнал самого себя; принял себя за другого, за светского

щеголя, которого он, на первый взгляд, нашел очень представительным, шикарным.

И, рассматривая себя уже детально, он решил, что, и в самом деле, общий вид был вполне приличен.

Затем он сделал самому себе экзамен, как это делают актеры, изучая роли. Улыбнулся, протянул руку, сделал несколько жестов, выражающих чувства: удивления, радости, одобрения; заготовил несколько образцов улыбок и взглядов, для выражения галантности в обращении с дамами.

Дверь на лестницу отворилась. Боясь, что его могут застать врасплох, он стал быстро подыматься вверх, обеспокоенный, не увидал ли кто-нибудь из приглашенных к его другу, как он кокетничал перед зеркалом.

Добравшись до второго этажа, он увидел снова зеркало и замедлил шаг, чтобы посмотреть себя на ходу. И нашел, что держит он себя на самом деле отлично. Походка превосходная. И вдруг почувствовал к самому себе безграничное уважение. Конечно, он далеко пойдет с такой наруганностью и жаждою успеха, твердостью и независимостью характера, которые он в себе знал. Ему захотелось побежать, перепрыгнуть чрез ступени последнего этажа. Остановился у третьего зеркала, закрутил ус привычным движением руки, снял шляпу, чтобы поправить волосы, и пробормотал вполголоса, как он это часто делал, обращаясь к самому себе: «Вот превосходная идея». Затем, протянул руку к звонку и позвонил.

Дверь почти тотчас отворилась, и он увидел лакея в черном фраке, важного, бритого, с такой внушительной осанкой, что Дюруа вновь почувствовал себя охваченным смутным беспокойством;—быть может, от машинального сравнения своего и его костюма. Лакей, у которого были лакированные ботинки, спросил, беря у Дюруа пальто, которое он держал на руке, боясь как бы не заметили на нем пятен:

— Как прикажете доложить?

И выкрикнул фамилию перед поднятой портьерой салона, куда надо было войти.

Но Дюруа, вдруг потерявший весь свой апломб, почувствовал себя снова охваченным страхом и беспокой-

ством. Ему предстояло сделать первый шаг навстречу этой новой, страстно желаемой им жизни. Все же он решился войти. Перед ним стояла молодая белокурая женщина, ожидавшая его одна, в большой, хорошо освещенной комнате, заставленной, словно оранжерея, растениями.

Он вдруг остановился в замешательстве: Кто эта женщина, которая улыбается? Потом он вспомнил, что Форестье женат; и мысль, что эта изящная блондинка—жена его друга, окончательно его смутила...

Он пробормотал:—Сударыня, я...

Она протянула ему руку:—Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас с нами сегодня отобедать.

Он покраснел до ушей, не зная, что ему больше сказать; и почувствовал, что его экзаменуют, осматривают с головы до пят,—взвешивают, оценивают...

Ему хотелось извиниться, выдумать причину, объясняющую погрешности его костюма; но он ничего не нашел и не осмелился заговорить об этом щекотливом предмете.

Он сел в указанное ему кресло, и когда почувствовал его эластичную и мягкую упругость, приятное, ласкающее прикосновение его обитых ручек и спинки, которые так любовно приняли его в свои объятия, то ему показалось, что он уже вступает в новую, пленительную жизнь, что он уже обладает чем-то восхитительным, что он становится чем-то, что он уже спасен; и он посмотрел на г-жу Форестье, взгляд которой все еще не отрывался от него.

На ней было платье из бледно-голубого кашемира, отлично обрисовывавшее ее стройную талию и полную грудь. Руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава; волосы, собранные на макушке, слегка вились на затылке, образуя светлое пушистое облако над шеей.

Дюруа несколько успокоил ее взгляд, напомнивший ему чем-то взгляд женщины, встреченный им вчера в Фоли-Бержер. У нее были серые с синеватым оттенком глаза, которым этот оттенок придавал странное выражение,—тонкий нос, плотные губы, немного мясистый подбородок—неправильное, но привлекательное личико,—милое

и лукавое. Одно из тех женских лиц, каждая черта которого дышет особой прелестью, обладает способностью, при каждом движении, обнаруживать новое очарование...

После короткого молчания, она спросила его:—Вы уже давно в Париже?

Он ответил, мало по малу овладев собой:—Всего несколько месяцев, сударыня. Я служу на железной дороге, но Форестье дал мне надежду, что я могу чрез его посредство заняться журналистикой...

Она улыбнулась еще приветливее, еще ярче; и пробормотала вполголоса:—Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей возвестил:

— Госпожа де-Марель.

Это была небольшая брюнетка, из тех, которых называют «брюнеточками». Вошла она проворной походкой; фигуру ее от шеи до ног плотно облегалo темное, простое платье. И только одна красная роза выделялась в черных волосах, подчеркивала характер лица, придавала ей задорный и пикантный вид.

За ней следовала девочка-подросток. Г-жа Форестье бросилась им навстречу:

— Здравствуй, Клотильда

— Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Затем девочка подставила свой лоб с уверенностью взрослой, говоря:

— Здравствуй, кузина.

Госпожа Форестье поцеловала ее; потом представила:

— Господин Жорж Дюруа, близкий товарищ Шарля.

Госпожа де-Марель, моя подруга, дальняя родственница,—и прибавила:—Прошу вас не стесняться,—мы здесь у себя попросту, без всяких церемоний. Надеюсь, что и вы также,—не правда ли?

Молодой человек поклонился.

Но дверь отворилась снова, и показался маленький, кругленький человек под руку с высокой, красивой дамой, гораздо выше и моложе его, державшейся с серьезным достоинством. Это был г. Вальтер, депутат, финансист, делец, биржевик, еврей-южанин, главный редактор «Французской Жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Затем появились, один за другим: Жак Риваль,—очень элегантный, и Норбер-де-Варенн, у которого лоснился ворот фрака от ниспадающих, длинных волос, перхоть сыпалась с них на плечи. Его плохо завязанный галстук имел далеко не свежий вид. Держался он с изяществом красивого старика и, взяв руку г-жи Форестье, поцеловал ее в кисть. Когда он наклонился к ее руке, его седая грива покрыла, точно волной, обнаженную руку молодой женщины.

Пришел, наконец, Форестье, извиняясь за опоздание. Но его задержало в редакции дело Мореля. Г. Морель, депутат-радикал, только что делал запрос в министерстве относительно кредита на колонизацию Алжира.

Лакей возвестил:—Обед подан!

Перешли в столовую.

Дюруа очутился за столом между г-жой де-Марель и ее дочерью. Он снова почувствовал смущение, боясь сделать какой-нибудь промах в обращении с прибором или рюмками. Перед ним стояли четыре рюмки, одна голубоватого цвета. Для чего предназначалась эта последняя?

Во время супа все молчали, затем Норбер-де-Варенн спросил:—Читали процесс Готье? Что за потеха!

Стали обсуждать этот случай адюльтера, перемешанного с шантажем. Говорили о нем совсем не так, как говорят в семейных домах о событиях, рассказанных в уличных листках, но так, как говорят между собой врачи о болезни, зеленщики об овощах. Никто не возмущался, не удивлялся фактам; доискивались скрытых пружин, секретных поводов, с профессиональным любопытством и абсолютным равнодушием к самому преступлению. Старались выяснить детально причины поступков, установить все интеллектуальные факторы, обусловившие драму,—результат нгучно обоснованного патологического случая... Дамы тоже увлеклись этим исследованием, разбором дела. Затем обсуждались другие события последнего времени; комментировались, выворачивались на все лады, взвешивались и оценивались с особой практической точки зрения специалистов, спекулирующих на новостях и торгующих ими в развес, подобно тому, как купцы выворачивают и взвешивают товар, который они затем предложат покупателям.

Потом разговор вошел о дуэли, и Жак Риваль взял слово. Это была его специальность: никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа боялся проронить слово. От времени до времени он поглядывал на свою соседку, круглая шейка которой соблазняла его. С кончика ее уха свешивался бриллиант на золотой нитке, похожий на каплю воды, соскользнувшую с кожи. Иногда она делала замечания, сопровождавшиеся всегда улыбкой на губах. У нее был забавный, легкий ум, беспечность и веселость школьницы, относящейся ко всему с легким, незлобивым скептицизмом.

Дюруа тщетно старался подыскать ей комплимент, но ничего не придумав, занялся дочерью, наливал ей вино, передавал кушанья, услуживал. Девочка, более сдержанная, чем мать, благодарила серьезным тоном, быстрыми кивками головы:—Вы очень любезны, сударь,—и слушала разговор взрослых с созерцательным видом.

Обед был превосходный, и все пришли от него в восторг. Г. Вальтер ел точно людоед, почти ничего не говорил, рассматривая косым взглядом из под очков блюда, которые ему подносили. Норбер-де-Варенн составлял ему пару, от времени до времени роняя капли соуса на грудь своей сорочки.

Форестье, улыбающийся и серьезный, наблюдал за всем, обмениваясь с женою дружескими взглядами, на манер дельцов, обделяющих вместе трудное дело, идущее как по маслу.

Лица гостей раскраснелись, голоса становились громче. От времени до времени лакей нашептывал каждому из обедающих на ухо: «Кордон—Шато-Лароз?»

Дюруа нашел Кордон по вкусу и каждый раз давал наполнить им свой стакан. По всему его телу разлилась восхитительная веселость; горячая волна, поднимавшаяся от его желудка к голове, разливалась по всем его членам, охватывала его всего. И почувствовал необычайную легкость и благодущие во всех мыслях и чувствах.

Ему захотелось говорить, обратить на себя внимание, быть выслушанным, признанным, подобно всем этим людям, малейшее замечание которых вызывало детальное обсуждение.

Разговор, который беспрерывно лился, перескакивая с предмета на предмет, цепляясь за малейший повод, после обзора всех злободневных событий и попутно тысячи других вещей, перешел, наконец, к большому запросу Мореля о колонизации Алжира. Г. Вальтер, между двумя блюдами, сказал несколько каламбуров, обнаруживших его скептический и скабрезный ум. Форестье рассказал содержание своей завтрашней статьи. Жак Риваль требовал военного правления, с тем, чтобы каждому офицеру, прослужившему тридцать лет в колониях, давали участок земли.

— Таким образом, — говорил он, — вы создадите деятельное общество, которое с течением времени привыкнет любить свой край, ознакомившись с его языком и со всеми главными местными условиями, составляющими обычно камень преткновения для всех вновь приезжающих.

Норбер-де-Варенн прервал его:

— Да... они будут знать все, кроме агрикультуры. Будут говорить по-арабски, но не будут знать, как пересаживать свеклу или сеять хлеб. Будут очень искусны в фехтовании, но ни аза не понимать в удобрении. Наоборот, следовало бы широко открыть доступ в новые земли всем желающим. Люди способные найдут там себе место, — другие погибнут. Это — социальный закон.

Последовало короткое молчание. Все улыбались; Жорж Дюруа открыл рот и произнес, удивленный звуком собственного голоса, точно он его никогда не слышал:

— То, в чем там чувствуется недостаток, это — хорошая земля. Плодородные участки стоят столько же, сколько во Франции, и раскупаются богачами парижанами. Настоящие же колонисты, бедняки, отправляющиеся туда искать пропитания, оттесняются в пустыню, где ничего не растет, вследствие отсутствия воды.

Все присутствующие посмотрели на него. Он почувствовал, что краснеет. Г. Вальтер спросил его: — Вы знаете Алжир, сударь?

Он отвечал: — Да, сударь. Я пробыл там двадцать восемь месяцев и жил в трех провинциях.

Внезапно, позабыв о деле Мореля, Норбер-де-Варенн задал ему вопрос относительно одной детали нравов, ко-

торую ему сообщил один офицер. Вопрос касался Мзаба, — этой курьезной маленькой арабской республики, зародившейся в середине Сахары, в самой иссушенной части этой палящей области.

Дюруа два раза был в Мзабе. И он описал нравы этой любопытной страны, где капли воды ценятся на вес золота, где всякий житель привлекается к общественной службе, где коммерческая честность стоит гораздо выше, чем у культурных народов.

Он говорил красноречиво, с некоторым бахвальством, возбужденный вином и тщеславием, — рассказывал полковые анекдоты, черты арабской жизни, военные приключения. Даже нашел некоторые колоритные выражения для описания этих обнаженных, желтых пространств, спаленных всепожирающим пламенем солнца.

Все женщины устремили на него взгляды. Г-жа Вальтер пробормотала своим томным голосом. — Вы бы могли составить из ваших воспоминаний очаровательную серию статей... — После этого Вальтер начал рассматривать молодого человека поверх очков, как он всегда рассматривал лица. Блюда он рассматривал из-под очков.

Форестье воспользовался моментом: — Дорогой патрон, я уже вам говорил о господине Жорже Дюруа, прося у вас позволения взять его себе в помощники для политических информации. С тех пор, как Марамбо ушел от нас, у меня нет никого для собирания необходимых и конфиденциальных сведений, и газета от этого страдает.

Г. Вальтер принял серьезный вид и приподнял окончательно очки, чтобы посмотреть прямо в лицо Дюруа. Потом сказал: — Несомненно, что Дюруа обладает оригинальным умом. Если он пожелает прийти поговорить со мной завтра в три часа, — мы это устроим. — Потом, помолчав и обернувшись совсем к молодому человеку: — Но дайте нам теперь же небольшую серию заметок об Алжире. Вы опишете там ваши воспоминания и коснетесь вопроса колонизации, как вы это сделали сейчас. Это злободневно, — очень своевременно, и я уверен, что это понравится нашим читателям. Но торопитесь! Первую статью мне нужно завтра или после-завтра, чтобы заинтересовать публику, пока в палате обсуждается запрос.

Г-жа Вальтер прибавила, с милой серьезностью, придававшей всем ее словам легкий покровительственный оттенок:—И это очаровательное заглавие: «Воспоминания африканского охотника»,—не правда ли, г. Норбер?

Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и побаивался всех новичков. Он ответил сухим тоном:—Да, превосходно, но при условии, что последующее будет в том же стиле, что весьма трудно; не выдержать, это то же самое, что в музыке взять не тот тон.

Г-жа Форестье бросила Дюруа ласковый и ободряющий взгляд,—взгляд знатока, говорящий: «О, ты далеко пойдешь». Г-жа де-Марель все время обращивалась к нему, и бриллиант в ее ухе беспрестанно дрожал, и прозрачная капля, казалось, сейчас оторвется и упадет...

Девочка сидела неподвижно и серьезно, склонив голову над тарелкой.

Лакей снова обходил стол, наливая в голубые рюмки Иоганнисбергское вино, и Форестье предложил тост в честь г. Вальтера: «за процветание «Французской Жизни».

Все присутствующие поклонились патрону, который улыбался. Опьяненный успехом, Дюруа выпил свой стакан залпом: ему казалось, что он выпил бы также целую бочку, проглотил бы целого быка, удушил бы льва. Он чувствовал во всем теле необычайную бодрость, в уме непреклонную решительность и безграничные упования. Теперь он был своим в среде этих людей; пришел, чтобы занять положение, отвоевать себе место. Он уже смотрел на лица всех с большей уверенностью и осмелился, наконец, обратиться к своей соседке:

— Сударыня, у вас самые красивые серьги, которые я когда-либо видел.

Она обернулась к нему с улыбкой:—Это моя выдумка—подвешивать бриллианты так просто за нитку... Можно подумать, что это росинки, не правда ли?

Он пробормотал, смущенный своей смелостью, боясь сказать глупость:

— Это очаровательно... но ваше ушко еще более украшает эту вещь.

Она поблагодарила его взглядом,—одним из лучезарных взглядов женщины, проникающим в самое сердце.

Повернув голову, он встретился со взглядом г-жи Форестье, таким же благожелательным, но в котором теперь он подметил большую живость, кокетливость...

Теперь все мужчины говорили сразу, жестикулируя, повысив голоса; обсуждали грандиозный проект подземной железной дороги. Предмет был исчерпан только к концу десерта; у всякого нашлось что сказать относительно медленности путей сообщения в Париже, неудобств, докучливости омнибусов и нахальства извозчиков. Потом все встали из-за стола, чтобы идти пить кофе. Дюруа, ради шутки, предложил руку девочке; она важно поблагодарила его и поднялась на цыпочки, чтобы просунуть свою руку под локоть своего собеседника.

Когда он вошел в салон, ему показалось, что он попал в оранжерею. Пальмовые деревья раскинули свою листву по четырем углам комнаты, подымаясь до потолка и ниспадая подобно струям водопада. По бокам камина, круглые, колоннообразные стволы каучуковых деревьев громоздились друг на друга свои продолговатые, темно-зеленые листья,—а на рояле два растения неизвестного вида, усыпанные цветами,—одно—розовое, другое—белое, производили впечатление чего-то сказочного, слишком прекрасного для действительности... Воздух был свежий и напоен благоуханием, неуловимым, неведомым и нежным.

Теперь, когда Дюруа несколько овладел собой, он принялся внимательно рассматривать комнату. Она была не велика; кроме растений, ничто не поражало в ней; ничего не было яркого или кричащего; но в ней чувствовались непринужденность, комфорт, уют; мягкие тона, теплый колорит материй, все ласкало, все нежило глаз и чувство.

Стены были затянуты старинной материей лилового цвета, испещренной желтыми, шелковыми цветочками, величиной с муху. На дверях—портьеры из светлого синего солдатского сукна с вышитыми красным шелком гвоздиками; сиденья всевозможных фасонов и размеров, начиная от миниатюр и кончая огромными, разбросанными по всей комнате—качалками; пуфы и табуреты были обиты шелковой материей в стиле Людовика XVI и утрехтским бархатом—гранатовый узор по кремовому фону.

— Не хотите ли кофе, г. Дюруа?

И г-жа Форестье протянула ему налитую чашку с приветливой улыбкой, которая не сходила с ее уст.

— Да, сударыня, благодарю вас.

Он взял чашку, и в то время, как робко наклонился над сахарницей, чтобы достать серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина сказала ему вполголоса:

— Поухаживайте за госпожей Вальтер.

Потом удалился раньше, чем он успел открыть рот.

Сначала он выпил кофе, который боялся опрокинуть на ковер; затем, освободившись от этой обузы, стал размышлять, как бы ему подсесть к супруге своего нового патрона и завязать с нею разговор. Вдруг он заметил, что она держит в руках пустую чашку; и так как вблизи не было стола, она не знала, куда ее поставить.

Он подскочил к ней.

— Позвольте, сударыня.

— Благодарю, сударь.

Он отнес чашку, потом вернулся:—Если бы вы знали сударыня, какими хорошими минутами я обязан «Французской Жизни» во время моего пребывания там, в пустыне. Положительно, — это единственная газета, которую можно читать вне Франции, потому что это самая литературная, самая остроумная и самая занятая из всех газет. В ней можно найти все.

Она улыбнулась с любезной снисходительностью и серьезно заметила:

— Господину Вальтеру стоило не малого труда создать тип газеты, отвечающей современным требованиям.

И они принялись болтать. Он говорил банальные вещи, вкрадчивым голосом, бросая обольстительные взгляды, пленяя своими неотразимыми усами, курчавящимися над верхней губой, приятного рыжеватого цвета с белокурым оттенком на концах.

Беседовали о Париже, об его окрестностях, берегах Сены, курортах, летних развлечениях, — обо всех пустяках, о которых можно, не утомляясь, болтать без конца.

Потом, увидя подходящего Норбера-де-Варенна с рюмкой ликера в руках, Дюруа скромно удалился.

Г-жа де-Марель, только что беседовавшая с г-жей Фо-

рестье, подозвала его:—Итак, сударь, — сказала она ему, — вы хотите попробовать журналистики?

Он заговорил о своих намерениях, потом начал с ней тот же разговор, что и с г-жей Вальтер; но теперь он уже лучше знал предмет и блеснул своими познаниями, выдавая за свои слова, которые он только что слышал. При этом он, не отрываясь, смотрел собеседнице в глаза, как бы придавая особенно глубокий смысл своим словам.

Она рассказала ему, в свою очередь, несколько анекдотов, с непринужденной веселостью женщины, уверенной в своем остроумии и желающей постоянно дурачиться; и, сделавшись фамильярной, клала руку на его плечо, понижала голос, рассказывала всякий вздор, придававший их беседе интимный характер. Он был в восторге, — чувствовал, что нравится нравящейся ему женщине. Ему хотелось тотчас доказать ей чем-нибудь свою преданность, защитить ее, пожертвовать для нее чем-нибудь, и, замедляя ответы, он делал вид, что всецело поглощен своими мыслями.

Но вдруг, без всякого повода, г-жа де-Марель позвала: «Лорина», — и девочка подошла к ней.

— Сядь сюда, дитя мое, ты простудишься у окна.

Дюруа вдруг безумно захотелось поцеловать девочку, точно часть этого поцелуя могла передаться матери.

Он спросил развязно отеческим тоном:—Вы мне разрешите вас поцеловать?

Девочка подняла на него удивленные глаза. Г-жа де-Марель сказала, смеясь:—Отвечай. Я вам разрешаю это, сударь, на сегодня; но в другой раз этого не должно быть.

Дюруа тотчас уселся, взял Лорину на колени, потом прикоснулся губами к ее волнистым тонким волосам.

Мать удивилась:—Смотрите, она не сбежала; это удивительно. Обыкновенно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.

Он покраснел, ничего не говоря, и слегка стал покачивать девочку на одном колене.

Г-жа Форестье подошла и воскликнула удивленно:—Смотрите, Лорину приручили. Вот чудо!

Жак Риваль тоже подошел, с сигарой во рту, и Дюруа

поднялся уходить, боясь испортить одним неловким словом дело, начатое так успешно.

Он раскланялся, нежно пожал ручки всем дамам, затем крепко потряс руки мужчин. При этом он заметил, что рука Жака Риваля была сухая, горячая и дружески отвечала на его пожатие; рука Норбера де-Варенна—мокрая, холодная, еле касалась пальцев; рука Вальтера—сырая и пухлая, без всякой экспрессии, вялая; рука Форестье—мягкая и влажная. Последний сказал ему вполголоса:

— Завтра, в 3 часа, — не забудь.

— О, не беспокойся! не забуду.

Очутившись на лестнице, он почувствовал желание побежать бегом, так обуревала его радость, и запрыгал через две ступеньки; но вдруг увидал, в зеркале второго этажа, господина бегущего ему навстречу и сразу остановился, точно уличенный в какой-нибудь провинности.

Потом он долго рассматривал себя, удивляясь тому, что в самом деле он такой красивый малый; потом самодовольно улыбнулся и простился с своим отражением, ответив ему низкий и почтительный поклон, точно значительной особе.

III.

Когда Жорж Дюруа вышел на улицу, он стал думать о том, что ему делать. Ему хотелось мечтать, идти вперед, думая о будущем, вдыхая нежный ночной воздух, но мысль о ряде статей, заказанных ему Вальтером, преследовала его, и он решил сейчас же идти домой и приняться за работу. Он повернул и быстро пошел по бульвару до улицы Бурсо, на которой жил.

Шестизэтажный дом был населен двумя десятками семейств рабочих и мелких буржуа. Поднимаясь по лестнице, освещая восковыми свечками грязные ступени, на которых валялись клочки бумаги, окурки, кухонные отбросы, он почувствовал отвращение и непреодолимое желание поскорее уйти отсюда и поселиться, подобно богатым людям, в чистом жилище, убранном коврами. Тяжелый запах еды, отхожих мест и человеческих отбросов, ужасный за-

пах помоев и жилья стоял во всем доме и, казалось, невозможно было проветрить его.

Комната молодого человека, в пятом этаже, выходила на беспредельное полотно западной железной дороги; она находилась как раз над самым выходом из туннеля, вблизи вокзала Батиньоль. Дюруа открыл окно и облокотился на заржавленный подоконник. Под ним, в глубине мрачной пропасти, три красных неподвижных сигнала казались огромными глазами зверя; вдали были видны еще фонари.

Ежеминутно в тишине ночи раздавались свистки, то короткие, то продолжительные, одни ближе, другие едва слышные со стороны Аньера. Они менялись, как человеческий голос. Один из свистков приближался, испуская непрерывно жалобный крик, который увеличивался с секунды на секунду, и вскоре показался огромный желтый фонарь, движущийся с треском и шумом. И Дюруа смотрел, как длинная цепь вагонов исчезала в туннеле.

Потом он сказал: «Ну, за работу!» Поставил лампу на стол, но в тот момент, как принялся писать, он заметил, что у него есть только одна тетрадка почтовой бумаги.

Делать нечего, он употребит ее, развернув лист во всю его величину. Он обмакнул перо в чернила и написал заголовок своим лучшим почерком: «Воспоминания африканского охотника».

Потом задумался над началом первой фразы. Он сидел, поддерживая голову рукою, с глазами, устремленными на белый квадрат, лежащий перед ним. С чего начать? Он не мог вспомнить сейчас ничего из того, что только что рассказывал, ни одного факта, ни одного случая, ничего. Вдруг он придумал: «Я должен начать со своего отъезда». Написал: «Это было в 1874 году, около 15 мая, когда истощенная Франция отдыхала после бедствий ужасного года...»

Он остановился беспомощно, не зная как продолжать, как рассказать свое путешествие, свои первые впечатления. После десятиминутного размышления, он решил отложить на завтра начало и приняться сейчас за описание Алжира. Он написал: «Алжир—это город весь белый...» не умея

сказать ничего другого. Вспомнил красивый, светлый город, ниспадающий уступами плоских домов с вершины горы в море, но не находил слов, чтоб передать то, что видел, что пережил. После долгих усилий он прибавил: «Он населен частью арабами...» Потом бросил перо на стол и встал.

На его маленькой железной кровати, на которой от тяжести его тела обрзовалась впадина, валялось его старое будничное платье, истрепавшееся, похожее на отрепья покойника. А на соломенном стуле его единственная шелковая шляпа лежала, как бы для сбора милостыни.

На стенах комнаты, оклеенной серыми обоями с голубыми букетами, было столько же пятен, сколько цветов, старых, подозрительных, происхождение которых было трудно определить; были ли то раздавленные насекомые или капли масла, следы пальцев, жирных от помады, или брызги мыльной пены. Тут чувствовалась уничительная бедность, ютящаяся в мебелированных домах Парижа. В нем поднялось ожесточение против бедности. Он решил, что надо уйти отсюда сейчас же, что завтра же надо покончить с этим докучным существованием.

Охваченный внезапно пылом к работе, он присел к столу и опять стал искать слова, чтобы верно передать странную и пленительную физиономию Алжира, этого преддверия таинственной глубины Африки, Африки кочевых арабов и невиданных негров, Африки неизведанной и манящей, той Африки, из которой привозят в общественные сады фантастических животных, как бы созданных для феерических сказок—страусов, диких кур, газелей, божественных коз, удивительных и уродливых жирафов, верблюдов, чудовищных, степенных гиенопотамов, безобразных носорогов и горилл, этих страшных братьев человека.

Он смутно чувствовал, как в нем возникали мысли; он мог бы передать их устно, но не удавалось выразить их на бумаге. Бессилие его раздражало, он снова встал, руки его были влажны от пота и кровь стучала в висках.

Когда он увидел счет от прачки, принесенный в тот же вечер швейцаром, его сразу охватило полное отчая-

ние. Его покинули радость, доверие к себе и вера в будущее.

Кончено, все кончено, он ничего не сделает, из него ничего не выйдет; он чувствовал себя ничтожным, неспособным ни к чему, лишним, осужденным.

Он вернулся к окну как раз в тот момент, когда поезд выходил из туннеля с стремительным и яростным шумом. Он шел туда, через поля и долины, к морю. И воспоминание о родителях проснулось в сердце Дюруа. Этот поезд пройдет там, всего за несколько верст от их дома. Пред ним предстал маленький домик на вершине холма, возвышавшегося над Руаном и долиной Сены, при въезде в деревню Кантеле.

Его отец и мать содержали маленький трактир, харчевню, с вывеской: „à la Belle-Vue“, в которую окрестные мещане приходили завтракать по воскресеньям. Они решили сделать из своего сына барина и отдали его в училище. Кончив курс и срезавшись на бакалавра, он поступил на военную службу с намерением стать офицером, полковником, генералом. Но почувствовал отвращение к своей службе и раньше пятилетнего срока стал мечтать о карьере в Париже.

Кончив службу, поехал в Париж, не внял просьбам отца и матери, которые мечтали оставить его у себя. Он верил в будущее, верил, что счастливый случай, пока еще неведомый, даст ему победу. Он создаст благоприятные обстоятельства и воспользуется ими.

Он имел успех в полку, ему везло, у него были любовные интриги с женщинами более высокого круга. Он соблазнил дочь сборщика податей, готовую все бросить ради него, и жену поверенного, которая пыталась даже утопиться, боясь, что он может бросить ее.

Товарищи говорили про него: «Хитрый малый, прыга и пройдоха, он всегда выпутается». Он решил стать прыгун и пройдохой.

Его чистая душа нормандца, опошленная будничной гарнизонной жизнью, мародерством, обычным в Африке, незаконными поборами, подозрительными проделками, подстрекаемая понятиями о чести, господствующими в армии, кичливостью военных, патриотическими

чувствами, геройскими рассказами унтер-офицеров и мелким тщеславием этой среды, превратилась в какое-то вместилище, где можно было найти все, что угодно. Но жажда успеха преобладала над всем.

Незаметно для себя он замечтался, как бывало с ним каждый вечер. Он рисовал себе невероятное любовное похождение, благодаря которому сразу осуществились бы все его надежды. Он женится на дочери банкира или важного господина, которую встретит на улице и сразу пленит.

Пронзительный свисток локомотива, выскочившего из туннеля, как кролик из норы, и мчавшегося на всех парах в гараж на отдых, сразу отрезвил его.

Охваченный смутной и радостной надеждой, почти не покидавшей его, он послал в темную ночь любовный поцелуй неведомой женщине, пламенный поцелуй желанному богатству.

Он закрыл окно; медленно раздевался: «Ну, завтра я буду лучше настроен. У меня голова не работает сегодня. Я кажется много выпил. Мне трудно писать». Лег в постель, потушил свечу и скоро заснул.

Рано проснулся, как просыпаешься в дни больших надежд или тревог, вскочил с кровати, подбежал к окну, открыл его, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Дома на Римской улице, по ту сторону широкого полотна железной дороги, блестели в лучах восходящего солнца, как бы окрашенные белым светом. Направо вдаль в голубоватой и легкой мгле виднелись холмы Аржантеля, высоты Саннуа и мельницы Оржемона; казалось, прозрачная, трепещущая вуаль охватила горизонт.

Дюруа смотрел несколько минут вдаль: «Хорошо быть там в такой день, как сегодня». Он решил работать, позвал сына швейцара, дал ему десять су и послал его в правление сказать, что он болен.

Сел к столу, обмакнул перо в чернильницу, оперся головой на руку и задумался. Все было напрасно. Ничего не выходило.

Он не впадал в отчаяние. Подумал: «Да, я не привык. Это такое ремесло, как и все другие, надо поучиться. Мне должны помочь. Пойду к Форестье; он мне наладит статью

в десять минут». Он оделся. Вышел на улицу, решил — рано еще идти к товарищу, он верно поздно встает. Дюруа медленно стал гулять по бульвару.

Не было еще девяти часов, когда он дошел до парка Монсо; там было свежо после утренней поливки. Сел на скамью, стал мечтать. Какой то элегантный молодой человек быстро ходил взад и вперед, без сомнения, ожидая женщину. Вскоре она показалась под вуалью; взяла его руку, пожала ее, и они удалились.

Бурная жажда любви охватила Дюруа — жажда изящной, благоуханной, нежной любви.

Он встал и направился к Форестье, думая о нем: — Поедет же ему.

Когда подошел к под'езду, товарищ выходил из дому.

— Ты! так рано! Что тебе надо? — Дюруа, смущенный этой неожиданной встречей, бормотал: — Дело... Дело в том, что я никак не могу справиться со статьей, заказанной мне Вальтером. Это неудивительно, я ведь никогда не писал. Нужна практика. Я скоро научусь, но как начать, как взяться за дело. Мысли у меня есть, но я не могу их выразить.

Остановился в нерешительности. Форестье лукаво улыбнулся:

— Мне это знакомо.

— Да, да, верно все так вначале. Вот я пришел... Хотел просить тебя помочь. В десять минут ты все наладишь, покажешь мне, как взяться за дело. Без тебя мне не справиться. — Форестье весело улыбался, потрепал своего старого товарища по плечу:

— Ступай, — сказал он, к моей жене, она тебе поможет лучше меня. Я приучил ее к этому делу. Я же, к сожалению, сейчас занят.

Дюруа, внезапно смущенный, колебался, не смел:

— Но в такой час, не могу же я беспокоить ее...

— Отлично можешь. Она уже встала. Сидит в моем кабинете, приводит в порядок мои заметки.

Дюруа упорствовал.

— Нет... это невозможно.

Форестье взял его за плечи, повернул на каблуках и толкнул на лестницу.

— Да иди же, чудак, когда я говорю тебе; не заставишь же ты меня подняться снова на третий этаж, чтоб объяснить твое дело.

Дюруа решил:—Спасибо, я иду. Я ей скажу, что ты меня заставил.

— Д-а, д-а. Она не съест тебя, будь покоен. Главное не забудь: в три часа.

— Не бойся, не забуду.

Форестье ушел своим торопливым шагом, а Дюруа медленно подымался по лестнице, обдумывая, что сказать, волнуясь — какой ему будет оказан прием.

Лакей открыл, в синем фартуке со щеткой в руках:

— Барыня дома,—сказал он, не дожидаясь вопроса.

Дюруа настаивал:—Спросите мадам Форестье, может ли она принять меня, и скажите, что я пришел к ней от ее мужа, которого я встретил на улице.

Он ждал. Человек вернулся, открыл дверь направо, доложил:—Барыня ждет вас.

Она сидела за письменным столом в небольшой комнате, стены которой были заставлены полками из черного дерева, на которых были правильно расположены книги. Переплеты всех цветов, красные, желтые, зеленые, лиловые, голубые оживляли и украшали однообразные ряды книг.

Она повернулась, улыбающаяся, одетая в белый изящный пеньюар, отделанный кружевами, протянула ему руку, которая вся обнажилась из под широкого рукава.

— Так рано,—сказала она. Потом прибавила.—Ведь это не упрек, а простой вопрос.

— Простите,—пробормотал он,—я не хотел подниматься, ваш муж меня заставил. Я так смущен, что не смею сказать, что меня привело к вам.

Она указала ему стул:—Садитесь и говорите.

Она держала в руке гусиное перо, искусно вращая его между двумя пальцами. Перед нею лежал большой лист бумаги, исписанный на половину. Работа была прервана приходом молодого человека.

За этим столом она чувствовала себя, как дома, так же как в гостиной, за своим обычным делом. От ее пеньюара веяло нежным ароматом только что совершенного туалета.

Дюруа рисовал себе, почти предугадывал, ее молодое, чистое, полное и горячее тело, нежно окутанное мягкой тканью.

Она спросила:—Ну, в чем дело?

Он нерешительно пробормотал:—Вот... но право... я не смею... Вчера я работал очень поздно... Сегодня с раннего утра... Пытался написать статью об Алжире по просьбе Вальтера... но у меня ничего не выходит... я порвал свои черновики... я не привык к этому труду; я пришел просить Форестье помочь мне... на этот раз...

Она прервала его, весело смеясь, довольная, польщенная:—Он прислал вас ко мне?... Это мило...

— Д-а. Он сказал мне, что вы можете мне лучше его... Но я не смел, не хотел. Вы понимаете?

Она встала:—Д-а, это очень милое сотрудничество. Я в восторге от этого. Сядьте на мое место, мой почерк известен в редакции. Мы сейчас напишем статью, великолепную статью.

Он сел, взял перо, лист бумаги и ждал.

М-м Форестье стоя, смотрела на его приготовления, взяла с каминного папироску и закурила ее.

— Я не могу работать без папиросы. Ну, что же вы мне расскажете?

Он удивленно поднял голову.

— Я не знаю, за этим-то я и пришел к вам.

— Д-а, я помогу вам. Я сделаю приправу, но все же мне нужно блюдо.

Сидел смущенный, наконец робко сказал:

— Я хочу рассказать свое путешествие с самого начала.

Она села против него, по другую сторону стола, смотря ему в глаза:

— Ну расскажите мне, мне лично, не спеша с самого начала, — я выберу все подходящее.

Он не знал, как начать; она стала допрашивать его, как священник на исповеди, точно ставила вопросы, которые напоминали ему забытые подробности, встречи.

Она заставила его рассказывать четверть часа, вдруг перебила:

— Теперь мы начнем. Представьте себе, что вы опи-

сываете свои впечатления другу; это даст возможность наговорить кучу вздора, подходящих замечаний, быть естественным, забавным. Начните:

«Милый Анри, ты хочешь знать, что такое Алжир, — я скажу тебе. Я хочу прислать тебе из моей маленькой ма-занки нечто в роде дневника, описывая жизнь, день за днем, час за часом. Благо, мне делать нечего. Порой это будет немного грубо, но ведь ты не обязан показывать его своим знакомым дамам»...

Она прервала, зажгла потухшую папироску, и тихое скрипение гусиного пера прекратилось.

— Мы продолжаем: «Алжир—большое французское владение, расположенное на границе неисследованных стран, пустыни Сахары, центральной Африки и т. п.

«Алжир — ворота, белые прекрасные ворота, ведущие к этому своеобразному матерiku. Но туда надо добраться. Не для всех это легко. Ты знаешь, я прекрасный наездник, я выезжаю лошадей полковника; но, ведь, можно быть хорошим наездником и плохим моряком. Это касается меня. Помнишь ли ты майора Симдрета, которого мы называли доктор Ипека? Когда нам хотелось побыть сутки в лазарете, в этой благословенной стране, мы отправлялись к нему. Он сидел на стуле, расставив толстые ноги в красных панталонах, положив руки на колени так, что они образовывали мост, локти на отлете и вращал большими круглыми глазами, покусывая свой белый ус.

«Ты помнишь его диагноз: у этого солдата расстройство желудка; дайте ему рвотное № 3 по моему рецепту, двенадцать часов отдыха; ему станет хорошо». Рвотное это было всемогущее и действовало неотразимо. Его пили, делать было нечего. Испытав прописанное доктором Ипека, пользовались двенадцатичасовым отдыхом.

«Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, надо в течение сорока часов страдать после приема рвотного по рецепту «Трансатлантической компании».

Она потирала себе руки, очень довольная своей выдумкой.

Встала, начала ходить, закулив папироску, и диктовала, выпуская струйки дыма; они сперва выходили прямо из тонких сжатых губ, потом расширялись, расплыва-

лись и оставляли в воздухе как бы серые следы, прозрачный туман, дым, похожий на тонкую паутину. Она то рукой отгоняла эти легкие следы, то рассекала их указательным пальцем, и внимательно смотрела, как постепенно исчезали легкие струйки дыма.

Дюруа, устремив на нее взор, следил за ее жестами, движениями, поворотами ее тела, выражением лица, когда она забавлялась этой пустой игрой, не отвлекавшей ее мысли.

Она придумывала перепетии путешествия, описывала вымышленных попутчиков, рассказывала любовную историю с женой армейского капитана, которая возвращалась к своему мужу.

Потом села, расспрашивая Дюруа о топографии Алжира, о которой она не имела никакого понятия. В десять минут она была вполне осведомлена; составила очерк колониальной и политической географии, ознакомила с нею читателя, чтоб подготовить его к пониманию серьезных вопросов, разбираемых в следующих статьях.

Далее следовала экскурсия в Оранскую провинцию, фантастическая экскурсия, в которой описывались мавританки, еврейки, испанки.

— Только это и интересует читателей, — сказала она.

Она закончила пребыванием в Санди, у подножия высоких гор, и забавной интригой между унтер-офицером Жоржем Дюруа и испанской работницей на фабрике в Анн-эль-Гадьяра. Описывала их свидания в скалистых горах, ночью, когда шакалы, гиены и собаки арабов кричат, лают и воют.

Она весело сказала:—Продолжение завтра! — Потом добавила:— Вот как пишут статьи, дорогой мой. Подпишитесь...

Он колебался.

— Да подпишитесь же.

Он засмеялся и написал внизу страницы: «Жорж Дюруа».

Она ходила и курила; он все смотрел на нее, не зная, как ее благодарить, счастливый ее присутствием, полный благодарности и чувственного наслаждения от их зарождающейся близости. Ему казалось, что все окружающее со-

ставляет часть ее, все, даже стены, уставленные книгами. Кресла, мебель, воздух, слегка пропитанный табачным дымом, носили какой-то особенный отпечаток; во всем было разлито нежное, милое очарование, исходящее от нее.

Неожиданно она спросила:

— Какого вы мнения о моей подруге мадам де-Марель?

Он удивился: — Да... я нахожу ее... нахожу ее очень привлекательной...

— Не правда ли!

— Да, конечно.

Ему хотелось прибавить: но далеко не такой, как вы. Он не посмел.

— Если бы вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная! Это богема, настоящая богема. За это ее и не любит ее муж. Он видит только ее недостатки и совсем не ценит ее достоинств.

Дюруа был поражен, узнав, что м-м де-Марель замужем. Хотя это было вполне естественно.

— Неужели... она замужем? Что же делает ее муж?

Мадам Форестье слегка повела плечами и бровями, с каким то недоумевающим видом:

— Он инспектор северной линии железных дорог. Каждый месяц он на неделю приезжает в Париж. Жена его называет это «обязательной службой», или «недельной барщиной», или еще «святой неделей». Когда вы с ней ближе познакомитесь, вы увидите, какая это тонкая и милая женщина. Навестите ее в один из ближайших дней.

Дюруа не думал уходить, ему казалось, что он тут навсегда, что он у себя.

Но вдруг дверь тихо открылась, и вошел высокий господин, без доклада.

Он остановился, увидев мужчину. М-м Форестье сконфузилась на секунду, легкая краска покрыла ее шею и лицо; она сказала своим обычным голосом:

— Войдите, мой дорогой. Позвольте вам представить товарища Шарля, Жоржа Дюруа, будущего журналиста.

Она сказала другим тоном:

— Наш лучший и самый близкий друг—граф де-Водрэк.

Мужчины раскланялись, посмотрели друг другу в глаза, и Дюруа удалился.

Его не удерживали. Он пробормотал несколько слов благодарности, пожал руку молодой женщины, поклонился гостю, который стоял с холодным и серьезным лицом светского человека. И вышел смущенный, точно сделал какую-нибудь глупость.

Когда он очутился на улице, ему стало грустно, как-то не по себе; глухая печаль давила его.

Он шел, не понимая, откуда пришла эта неожиданная тоска. Он не находил объяснения; но строгое лицо графа де-Водрэка, уже старого, с седыми волосами, с спокойным и дерзким видом богатого человека, уверенного в себе, не выходило у него из памяти.

Он заметил, что приход этого незнакомца, нарушивший их милый tête-à-tête, казавшийся ему уже привычным, произвел на него впечатление холодной безнадежности, которая охватывает нас иногда при случайно услышанном слове, каком-нибудь пустяке.

Ему казалось, что этот человек был недоволен его присутствием там.

Ему нечего было делать до трех часов; сейчас было только двенадцать. У него было шесть франков пятьдесят сантимов: он пошел завтракать к Дювалю. Бродил по бульвару. Когда пробило три часа, он поднялся в редакцию „La Vie Française“.

Служители, скрестив руки, сидели в ожидании на скамейке, швейцар стоял за прилавком, похожим на кафедр и сортировал прибывшую корреспонденцию. Обстановка была внушительная и производила впечатление на посетителей. Служащие умели держать себя с достоинством, с шиком, как подобает в прихожей большой газеты.

Дюруа спросил:—Можно видеть господина Вальтера?

Швейцар ответил:—Господин редактор на заседании. Не угодно ли вам подождать.—Показал приемную, переполненную народом.

Тут были важные люди с орденами, бедные посетители, плохо одетые, в сюртуках, застегнутых до верху, с пятнами на груди, напоминающими очертания морей и континентов на географических картах. Среди них были

три женщины. Одна из них красивая, улыбающаяся, нарядная, была похожа на кокетку; другая с трагическим лицом, в морщинах, строго одетая, имела вид бывшей артистки; в ней было что-то напоминающее поддельную молодость, прогорклый запах залежавшихся духов.

Третья женщина, в трауре, стояла в углу, с видом неутешной вдовы. Дюруа думал, что она пришла за милостыней.

Никого не принимали, хотя прошло уже более двадцати минут.

Дюруа сказал швейцару:—Господин Вальтер назначил мне прийти в три часа. Посмотрите, тут ли мой друг Форестье.

Тогда его провели по длинному корридору в большой зал, где четыре господина писали за широким зеленым столом.

Форестье стоял у камина, курил сигару, играл в бильбоке. Он был искусен в этой игре и каждый раз насаживал громадный деревянный шар на маленький деревянный гвоздик. Считал:—«Двадцать два,—двадцать три,—двадцать четыре,—двадцать пять».

Дюруа сказал:—Двадцать шесть.—Форестье взглянул на него, не прерывая правильных движений руки.

— Ах, это ты. Вчера я выбил пятьдесят семь раз в один прием. Только Сен-Потен сильнее меня в этой игре. Ты видел патрона? Ничего нет смешнее смотреть, как этот старый хрен Норбер играет в бильбоке. Он при этом открывает рот, как будто хочет проглотить шар.

Один из сотрудников поднял голову:—Знаешь, Форестье, я знаю где продают чудное бильбоке из очень дорогого дерева. Оно принадлежало испанской королеве. Простят пятьдесят франков, это не дорого.

Форестье спросил:—Где это?—Промаяхнувшись на тридцать седьмом ударе, открыл шкаф, в котором Дюруа увидел около двадцати штук великолепных бильбоке, аккуратно уложенных и перенумерованных, как сокровища в коллекции. Положив свое бильбоке на место, он спросил:—Где же находится эта драгоценность?

Журналист ответил:—У продавца билетов в театре Водевиль. Я тебе принесу завтра эту вещь. Согласен?

— Хорошо. Я куплю, если оно, действительно, хорошее: бильбоке не может быть лишним.

Повернувшись к Дюруа:—Пойдем со мной, я проведу тебя к патрону, а то будешь здесь киснуть до семи часов вечера.

Они прошли через приемную; те же лица сидели на своих прежних местах. Как только появился Форестье, молодая женщина и старая артистка быстро подошли к нему.

Он подвел каждую из них поочередно к окну, и хотя они говорили очень тихо, однако, Дюруа заметил, что он им обоим говорил «ты».

Затем, толкнув обитую дверь, они вошли к редактору.

Заседание, длившееся уже более часа, состояло в партии экарте с некоторыми из тех господ в плоских шляпах, которых Дюруа видел накануне.

Г. Вальтер держал карты с сосредоточенным видом, а его противник бил, ловко маневрируя цветными листиками, с умением опытного игрока. Норбер де-Варенн писал статью, сидя в редакторском кресле, а Жак Риваль, развалившись на диване, с закрытыми глазами, курил сигару.

Чувствовался затхлый запах: кожи, старого табаку и типографии; особенный редакционный запах, хорошо знакомый всем журналистам. На столе из черного дерева с медными украшениями возвышалась груда бумаг: письма, карточки, газеты, журналы, счета поставщиков, всевозможные печатные бланки.

Форестье пожал руки всем стоящим за игроками и, не сказав ни слова, следил за игрой; как только Вальтер выиграл, он представил:

— Мой друг Дюруа.

Редактор быстро взглянул поверх очков на молодого человека и спросил:

— Вы принесли статью? Она пойдет сегодня вместе с прениями по запросу Мореля.

Дюруа вынул из кармана вчетверо сложенные листки:—Вот.

Патрон казался довольным:—Хорошо, хорошо. Вы сдержали слово. Надо мне пересмотреть это, Форестье?

Форестье ответил:

— Не стоит, господин Вальтер: я писал вместе с ним статью, чтобы приучить его к этому делу. Статья хороша.

Директор собрал карты, сдаваемые высоким сухопарым господином, депутатом левого центра, и сказал:

— Ну, великолепно.

Форестье не дал ему приступить к новой партии, нагнулся к нему и шепнул:—Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо. Разрешите взять его на тех же условиях?

— Да, хорошо.

Взяв товарища под руку, он увлек его из комнаты; Вальтер уже принялся снова за игру.

Норбер де-Варенн не поднял головы; казалось, он не видел или не узнал Дюруа. Жак Риваль, наоборот, демонстративно пожал ему руку, показывая этим, что он может рассчитывать на него, как на хорошего товарища.

Когда они вернулись в приемную, все вопросительно смотрели на них; Форестье обратился к молодой женщине достаточно громко, чтобы его слышали другие посетители:—Редактор вас примет сейчас. Он совещается с двумя членами бюджетной комиссии.

Затем он поспешно удалился, с озабоченным и важным видом, точно ему нужно было послать сейчас экстренную телеграмму.

Вернувшись в редакционный зал, Форестье немедленно взялся за бильбоке и, прерывая слова счетом ударов, сказал Дюруа:—Ты будешь приходить ежедневно в три часа, я буду тебе указывать, куда нужно пойти днем, утром или вечером.—Раз!—я тебе дам рекомендательное письмо к начальнику бюро полицейской префектуры, — два, — он направит тебя к одному из своих чиновников. Ты условишься с ними, как получать интересные новости,—три—от служащих в префектуре, новости официальные и полуофициальные. За подробностями обратись к Сен-Потену, он в курсе дела,—четыре,—ты увидишь его завтра или сейчас. Главное, тебе придется приучиться выжимать все из людей, с которыми я сведу тебя.—пять, — проникать всюду, даже через закрытые двери,—шесть!—Ты будешь получать двести франков за

месяц и по два су за строчку интересных сенсационных новостей,—восемь.

Потом он занялся только своей игрой и медленно продолжал считать: — девять, — десять,—одиннадцать,—двенадцать,—тринадцать. — Промалнул на четырнадцатом и выругался:—Несчастное число тринадцать, оно мне всегда приносит неудачу. Я, верно, умру тринадцатого.

Один из сотрудников, кончив работу, взял свое бильбоке из шкапа; это был маленький человек, совсем похожий на ребенка, хотя ему было больше тридцати пяти лет; вошли другие журналисты; каждый из них брал свою игрушку.

Вскоре их было шесть человек, стоящих рядом, спиной к стене; одинаковыми правильными движениями они бросали в воздух красные, желтые или черные шары. Началось состязание; два журналиста, работавшие за столом, встали и следили за игрой.

Форестье выбил на одиннадцать ударов больше. Маленький человек, похожий на ребенка, проиграл, позволил слуге и сказал ему:

— Девять бокалов пива.—И снова принялся за игру. Дюруа выпил бокал пива со своими новыми друзьями; затем спросил Форестье:

— Что мне делать?—Тот отвечал:—У меня нет к тебе дела сегодня. Можешь уйти.

— А наша... наша статья... пойдет сегодня вечером?

— Да, не беспокойся о ней! я буду править корректуру. Приготовь завтра продолжение и приходи сюда в три часа.

Дюруа пожал руки всем этим людям, имена которых ему были неизвестны, и ушел радостный и оживленный.

IV.

Жорж Дюруа плохо спал эту ночь; его волновало желание скорее увидеть напечатанной свою статью. Лишь только рассвело, он встал и бросился на улицу, гораздо раньше, чем газетчики начинают бегать от одного кноска к другому.

Он направился к вокзалу Сен-Лазар, думая, что здесь «Французская Жизнь» поступила в продажу раньше, чем в его квартале. Так как было еще рано, ему пришлось бродить по тротуару.

Он видел, как пришла торговка открыть свою лавку, потом встретил человека, несущего огромную кипу газет. Это были «Фигаро», «Жиль-Блаз», «Голуа», еще два-три утренних листка, «Французской Жизни» не было.

Его объял страх. Что если статья отложена до следующего дня, что если случайно в последнюю минуту она не понравилась Вальтеру?

Вернувшись к киоску, он заметил, что газета уже продается. Он опять заволновался. Бросив три су газетчику, он в нервном волнении развернул газету и быстро пробежал заголовок.

— Ничего.

Сердце у него радостно забилося, когда он нашел внизу столбца свою подпись большими буквами: «Жорж Дюруа».

— Нашел... Какая радость...

Уже с газетой в руках он начал бродить по тротуару, ни о чем не думая, со шляпой, надетой на бок, готовый остановить каждого проходящего и сказать ему:

— Купите эту газету — здесь моя статья. Ему хотелось кричать, как то делают газетчики по вечерам на бульварах:

— Прочтите «Французскую Жизнь», прочтите статью Жоржа Дюруа: «Воспоминания африканского охотника».

И вдруг ему захотелось самому прочесть свою статью в общественном месте, в кафе, в толпе.

Он стал искать такое учреждение, где бы уже собрались посетители. Ему пришлось долго бродить, пока, наконец, он не решил остановиться на виноторговле. Войдя, он сел за стол и спросил себе, несмотря на ранний час, рому, как спросил бы абсенту.

Потом подозвал лакея и велел ему подать «Французскую Жизнь». Но человек, в белом фартуке, подбежав к нему, заявил:

— У нас нет такой газеты, мы получаем другие газеты.

Дюруа взбесился и негодующим голосом:

— Вот там лавка... Сходите и принесите мне ее.—Тот побежал и мгновенно принес ему газету.

Тогда Жорж Дюруа принялся читать свои «Воспоминания», несколько раз, громко повторяя: — Отлично... Отлично... Очень хорошо, чтобы привлечь внимание соседей и возбудить в них желание узнать, что есть интересного в этой газете.

Потом он встал и, уходя, оставил газету на столе. Заметив это, хозяин обратился к нему:

— Господин, господин. Вы позабыли вашу газету.

Дюруа ответил ему:

— Я уже прочел ее и потому оставляю вам. Сегодня в ней напечатана очень интересная статья.

Он не указал, собственно, какая, но, уходя, видел, как один из посетителей взял ее.

Выйдя на улицу, он подумал: «Что я теперь буду делать?» И решил отправиться в свое правление, получить месячное жалованье и подать в отставку. Он трепетал от восторга при одной мысли, как удивятся и вытаращат глаза его начальник и сослуживцы.

Нарочно шел медленно, чтобы не придти раньше половины десятого, зная, что касса открывается только в десять часов.

Правление, выходявшее во двор, узкий и темный, напротив других контор, занимало большое, темное помещение, в котором зимою целый день горел газ. Здесь были восемь служащих, а в углу за ширмами находился помощник начальника.

Дюруа сперва пошел получить свои сто восемнадцать франков двадцать пять сантимов, положенных в желтый конверт, спрятанный в ящике кассира; потом с видом победителя прошел в огромный зал, в котором провел столько дней.

Как только он вошел, помощник начальника Потель позвал его и сказал:

— А! Это вы, господин Дюруа. Начальник уже несколько раз требовал вас. Вы ведь знаете, что он не раз-

решает не являться на службу два дня сряду без медицинского свидетельства.

Дюруа, стоявший посреди комнаты, предвосхищая весь эффект своего заявления, ответил громким голосом:

— Мне, положим, наплевать на это!

Служащие были поражены; показалась голова Потеля, высунувшегося из-за ширмы, за которой он скрывался от простуды. Настала такая тишина, что слышно было, как пролетали мухи.

— Что вы сказали?—спросил, наконец, Потель нерешительно.

— Я сказал, что мне наплевать. Я пришел сегодня только для того, чтобы подать в отставку. Я поступил в качестве сотрудника в редакцию «Французской Жизни» с жалованьем в пятьсот франков, не считая построчного гонорара. Сегодня я дебютировал.

Ему хотелось продлить эту приятную минуту, но он не смог не сказать всего сразу.

Эффект был полный. Никто даже не шевельнулся.

Тогда Дюруа произнес:

— Я пойду сейчас объявить об этом господину Пертюи, потом прощусь с вами.

И он вышел, чтоб отправиться к начальнику, который крикнул, встретив его:

— А! Вот и вы... Вы знаете, что я не хочу...

Но Дюруа прервал его: — Достаточно... Не стоит так кричать.

Господин Пертюи, человек плотный, толстый, красный, как петуший гребень, был ошеломлен и поражен.

Дюруа продолжал:

— Мне надоела ваша дыра... Я выступил сегодня в газете... Мне предложили прекрасное место... Имею честь кланяться. — И вышел.

Он вернулся пожать руки своих бывших сослуживцев, которые еле осмеливались с ним говорить, боясь скомпрометировать себя, так как они через открытую дверь слышали его разговор с начальником.

Наконец, Дюруа очутился на улице со своим жалованьем в кармане.

Он позавтракал в хорошо ему знакомом недорогом ресторане, опять послал за газетой и оставил ее на столе.

Затем зашел в несколько магазинов, накупил всяких пустяков только для того, чтобы их доставили ему на его имя.

— Жорж Дюруа, сотрудник „La Vie Française“.

Обозначив улицу и номер дома, он прибавил:

— Вы оставите их у швейцара.

Так как у него было еще время, он зашел в литографию, в которой моментально, в присутствии заказчиков изготовляли визитные карточки и заказал себе сотню, обозначив под фамилией свое новое звание.

Потом он отправился в редакцию.

Форестье принял его высокомерно, как принимают подчиненных.

— А! Вот и ты... отлично. У меня есть несколько поручений. Обожди меня минут десять. Я сперва кончу мою работу.

И продолжал начатое письмо.

На другом углу большого стола маленький человек очень бледный, жирный, лысый, одутловатый, с черепом белым и блестящим, писал уткнув нос в бумагу, вследствие сильной близорукости.

Форестье спросил его:

— Сен-Потен, скажи в котором часу ты пойдешь интервьюировать наших господ?

— В четыре.

— Ты возьмешь с собою Дюруа, молодого человека, стоящего сейчас перед тобой, и откроешь ему тайны ремесла.

— Хорошо.

Потом, обратившись к Дюруа, Форестье прибавил:

— Принес ли ты продолжение статьи об Алжире? Пока начало имело большой успех.

Смущенный Дюруа проговорил:

— Нет... Я думал, что у меня найдется время после обеда... У меня такая масса дел, что я никак не мог...

Форестье недовольно пожал плечами:

— Если ты не будешь аккуратен, то ты рискуешь своим будущим. Вальтер рассчитывал на твою статью. Я

скажу ему, чтобы он отложил до завтра... Если ты думаешь, что тебе будут платить за безделье... ошибаешься, друг мой.

После некоторого молчания он прибавил:

— Надо ковать железо, пока оно горячо, чорт возьми!

В это время встал Сен-Потен.

— Я готов,—сказал он.

Тогда Форестье, повернувшись на стуле и приняв почти торжественную позу, чтобы дать надлежащие приказания, обратился к Дюруа:

— Так вот... У нас в Париже уже два дня находятся китайский генерал Ли-Тцян-Фао, остановившийся в «Континентале», и раджа Тапозихиб-Рамадерхо-Паали, в гостинице «Бристоль». Вы увидите их и побеседуете с ними.

Потом обратился к Сен-Потену: — Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у раджи и у генерала, что думают они о проделках Англии на Дальнем Востоке, о ее колонизационной политике и господстве в колониях; каковы их надежды на вмешательство Европы вообще и Франции в частности.

Он замолчал, потом прибавил в сторону: — Нашим читателям интересно будет знать, что думают в Китае и в Индии по поводу вопросов, так сильно волнующих сейчас общественное мнение.

Обратился к Дюруа: — Следи за тем, как это делает Сен-Потен,—он великолепный репортер,—и старайся научиться выпытать у человека все в течение пяти минут.

После этого он опять с важным видом взялся за перо, желая быть в стороне и указать надлежащее место своему товарищу и новому сослуживцу.

Как только они вышли за дверь, Сен-Потен начал смеяться и сказал Дюруа: — Вот фокусник! Он, кажется, нас принял за своих читателей.

Они пошли на бульвар, и репортер спросил: — Вышьем что-нибудь?

— Хорошо. С удовольствием. Ужасно жарко.

Они вошли в кафе и потребовали себе прохладительные напитки. Сен-Потен много говорил, рассказывал о газете, обо всех с поразительными подробностями.

— Патрон? Настоящий еврей! Вы знаете, еврея не переделаешь. Что за раса! — И он стал приводить целый ряд примеров его скупости, столь свойственной сынам Израиля, рассказывать о его грошевой экономии, торгашестве до упаду и, вообще, о его ростовщических наклонностях.

— При этом он умелый делец, который никому не верит и управляет всеми. Его газета официальная, католическая, республиканская, либеральная, орлеанистская; этот пирог с кремом или лавочка с чем угодно служит ему только для поддержки биржевых операций и всевозможных предприятий. В этом отношении он молодец, зарабатывает миллионы, основывая общества, не имеющие ни гроша капитала...

Он продолжал, называя Дюруа «дорогим другом».

— Он говорит, как Бальзак, этот скряга. Представьте себе, какой случай. На днях я был у него в кабинете, там был старый хрен Норбер и Дон-Кихот Риваль; пришел Монтелен, наш управляющий со своим известным всему Парижу сафьяновым портфелем под мышкой. Вальтер поднял голову и спросил:

— Что нового?

Монтелен наивно ответил: — Я только что заплатил пятнадцать тысяч франков, наш долг за бумагу.

Патрон подскочил на месте.

— Вы говорите?

— Что я заплатил господину Прива.

— Да вы сошли с ума!

— Почему?

— Почему... почему... почему...

Снял очки, вытер их. Потом улыбнулся той странной улыбкой, которая всегда пробегает по его толстым щекам, когда он собирается сказать что-нибудь хитрое или важное; насмешливым и убежденным тоном сказал:

— Почему? Потому, что мы могли получить скидку на этом от четырех до пяти тысяч франков.

Монтелен, удивленный, возразил:

— Но, господин редактор, все счета были мною проверены и вами признаны.

Тогда патрон, уже серьезно, заметил:

— Нельзя быть таким наивным, как вы. Знаете, Моп-

телен, надо всегда копить долги и потом уже заключать любовные сделки.

И кивнув головой, с видом знатока, Сен-Потен прибавил:—Ну-с?.. Не в бальзаковском ли стиле все это?

Дюруа никогда не читал Бальзака, но убежденно ответил:—Да, чорт возьми.

Потом репортер назвал м-м Вальтер толстой индуской, Норбер де-Варенна старым неудачником, сказал, что Риваль подражает Ферваку. Дошел до Форестье: — Ну, этому повезло, нашел такую жену, вот и все.

Дюруа спросил:—А что такое, собственно говоря, его жена?

Потен, потирая руки:—О, это тонкая штучка. Любвица старого жуира Водрэка, графа Водрэка, он дал приданое и выдал ее замуж...

Дюруа вдруг почувствовал озноб, какую то нервную дрожь; ему хотелось выругать и отколотить этого болтуна. Но он перебил его и спросил:—Это ваше имя—Сен-Потен?

Тот, ничего не подозревая, ответил:

— Нет, меня зовут Тома. Меня в редакции прозвали Сен-Потеном.

Дюруа заплатил за питье и сказал:

— Кажется, уже поздно, нам надо еще посетить этих двух вельмож.

Сен-Потен расхохотался:—Какой вы наивный! Так вы думали, что я пойду на самом деле спрашивать у этого китайца и индейца, что они думают об Англии? Я лучше их знаю, что они должны думать для читателей «Французской Жизни». Я уже интервьюировал пятьсот штук этих китайцев, индусов, чилийцев, японцев и др. У меня они все говорят одно и то-же. Мне только надо взять статью о последнем из них и переписать ее от слова до слова. Изменить надо только заголовок или титул, возраст, свиту. О, тут уже ошибаться нельзя, а то уличат меня «Фигаро» или «Голуа». Но на счет этого я получу самые верные сведения в пять минут от швейцаров отелей «Бристоль» или «Континенталь». Пойдем туда, покурим по дороге. А потом можно потребовать в конторе пять франков на извоз-

чика. Вот дорогой мой, как устраивают свои дела практические люди.

Дюруа спросил:—При таких условиях верно выгодно быть репортером.

Журналист таинственно ответил: — Да, но выгоднее всего хроника,—это всегда замаскированная реклама.

Они встали и пошли по бульвару, по направлению к церкви Маделэн. Сен-Потен неожиданно сказал своему спутнику:

— Знаете ли, если у вас есть дело, вы мне не нужны.

Дюруа пожал ему руку и удалился.

Мысль о том, что ему надо вечером писать статью, мучила его, и он задумался. Он шел и припоминал факты, разные случаи, анекдоты; так он дошел до авеню Елисейских полей, где изредка попадались гуляющие; Париж был пуст в эти жаркие дни.

Пообедав в маленьком ресторанчике близ арки Этуаль, он медленно вернулся домой по бульварам и присел к своему письменному столу.

Но как только он увидел перед собою большой лист бумаги, весь собранный им материал вылетел у него из головы, как будто бы испарился. Он старался вызвать в себе обрывки воспоминаний, закрепить их; но они исчезали по мере того, как он припоминал их, или же являлись в спутанном виде, и он не знал как передать их, какую придать им форму, с чего начать.

Просидев целый час и испортив пять страниц начальными фразами, он подумал: «Я еще не наловчился. Надо взять еще урок.» И пред ним предстала возможность провести еще одно утро за работой с м-м Форестье, в этом долгом, интимном, сердечном tête-à-tête; при этой мысли он весь затрепетал. Решился лечь, не брался снова за работу, как бы боясь испортить ее.

На другое утро он встал поздно, не торопился, как бы предвкушая заранее удовольствие предстоящего визита. Было больше десяти часов, когда он позвонил к своему другу.

Лакей сказал:

— Барин занят.

Дюруа не подумал о том, что муж может быть дома.

Однако, он сказал:—Скажите, что это я, по спешному делу.

Через пять минут его ввели в кабинет, где он провел такое чудное утро.

Место, где он тогда сидел, было занято Форестье; он был в халате, в мягких туфлях, в колпаке. Жена его в том же пенюаре, стояла у камина и диктовала с папироской в зубах.

Дюруа, остановившись у порога, пробормотал:

— Простите, я вам помешал.

Товарищ его, сердито подняв голову, проворчал:

— Что тебе еще надо? Говори скорей! Мы торопимся.

Тот сконфуженный, лепетал:—Ничего, ничего, прости.

Но Форестье рассердился.—К делу, чорт возьми! некогда время терять; не для того же ты вошел сюда, чтобы поздороваться с нами.

Дюруа, сильно смущенный, решил:

— Нет... вот... дело в том... что я опять не могу написать статьи... а ты... а вы были так милы в прошлый раз. Я надеялся, поэтому, я и посмел придти...

Форестье оборвал его:—Ты смеешься над нами в конце концов! Так ты думал, что я буду исполнять твое дело, а ты будешь получать в кассе в конце месяца. Ну хорошо же гусь!

Молодая женщина продолжала курить, не сказав ни слова, и все время улыбалась неопределенной улыбкой, прикрывавшей ее внутреннюю иронию.

И Дюруа, краснея, лепетал:—Простите меня, я надеялся, я думал...

Потом вдруг ясно выговорил:—Тысячу извинений, сударыня, простите; позвольте вас горячо поблагодарить за прелестную статью, которую вы мне написали вчера.

Потом он поклонился Шарлю:—Я буду в три часа в редакции.

Быстрыми шагами вернулся к себе, ворча:—Хорошо, я сейчас напишу эту статью сам, они увидят...

Возбужденный гневом, придя домой, он сейчас-же сел писать.

Он продолжал описание приключения, начатое мадам Форестье, нагромождая подробности, взятые из фельетон-

ных романов, придумывая неправдоподобные случайности; все это было написано неуклюжим слогом гимназиста. Через час он кончил статью, которая была каким-то хаосом, и, уверенный в себе, понес ее в редакцию.

Первым он там встретил Сен-Потена, который, пожав ему руку, как сотруднику, спросил его:

— Читали мой разговор с китайцами и с индусами? Смешно ведь? Весь Париж смеялся. А я не видел даже кончика его носа.

Дюруа, который еще ничего не читал, взял газету, стал пробегать глазами длинную статью, озаглавленную «Индия и Китай», пока репортер указывал ему и подчеркивал самые интересные места.

Пришел Форестье, запыхавшийся, с деловым и озабоченным видом:

— Вот хорошо, вы мне оба нужны.

Он им указал ряд политических справок, которые они должны были раздобыть ему к вечеру.

Дюруа дал ему свою статью.

— Вот продолжение об Алжире.

— Хорошо, дай, я передам ее патрону.

На этом разговор кончился.

Сен-Потен увлек своего нового друга и когда они вышли в коридор, спросил его:

— Были вы уже в кассе?

— Нет. Зачем?

— Зачем? А чтобы получить деньги. Всегда нужно брать жалованье за месяц вперед. Мало ли что может случиться.

— Ну... конечно, я буду рад.

— Я вас представлю кассиру. Он выдаст вам. Здесь платят хорошо.

Дюруа получил двести франков, двадцать восемь франков за статью, да еще у него были деньги от железнодорожного жалованья; всего триста сорок франков. Никогда у него не было в руках такой суммы и ему казалось, что он богат надолго.

Потом Сен-Потен повел его в редакции четырех или пяти газет, конкурирующих с их газетой, надеясь там уже

раздобыть нужные ему новости и вывести их своим многословием и хитростью.

Вечером Дюруа нечего было делать; он вздумал пойти в «Фоли-Бержер». Набравшись дерзости, он подошел к контролю:

— Я—Жорж Дюруа, сотрудник «Французской Жизни». На днях я был здесь с господином Форестье, обещавшим мне устроить даровой вход. Не знаю,—не забыл ли он сказать.

Посмотрели список, его имени там не было. Однако, контролер любезно сказал:

— Войдите и обратитесь к управляющему, он уважит вашу просьбу.

Он вошел; сейчас же встретил Рашель, женщину которую он увел с собой в первый вечер.

Она подошла к нему:—Здравствуй, милый, как поживаешь?

— Хорошо, а ты?

— Я, недурно. Знаешь, я тебя дважды видела в это время.

Дюруа, польщенный, улыбнулся.—Ну, ну, что же это доказывает?

— Это значит, что ты мне понравился, чудак, и что мы начнем снова, когда захочешь.

— Сегодня, если хочешь.

— Да, я хочу.

— Хорошо, но вот что...—Он колебался, смущенный тем, что он хотел сказать:—Дело в том, что сегодня у меня нет денег; я был в клубе и все спустил там.

Она заглянула ему в глаза, чувствуя ложь инстинктом проститутки, привыкшей к обманам и торгашествам мужчин. Она сказала:

— Ты лжешь. Это нехорошо с твоей стороны.

Он смущенно улыбнулся: — Хочешь десять франков, все что у меня осталось.

С бескорыстием куртизанки, удовлетворяющей свой каприз, она прошептала:

— Сколько хочешь, милый. Я хочу тебя.

Устремив взор на пленительные усы молодого челове-

ка, она взяла его под руку, нежно оперлась на нее и сказала:

— Выпьем гренадину, потом погуляем немного. Мне хотелось бы пройтись с тобой в Оперу, чтобы показать тебя. Мы, ведь, рано пойдем домой, неправда ли?

Он долго спал у нее. Был уже день и он решил купить «Французскую Жизнь». Дрожащей рукой развернул он газету, его статьи там не было; он стоял и бессмысленным взглядом пробегал газетные столбцы, все еще надеясь найти ее.

Что-то тяжелое легло ему на сердце: он был утомлен любовной ночью—и эта неприятность, присоединившаяся к его усталости, казалась ему большим несчастьем.

Он поднялся к себе и заснул на постели, одетый.

Через несколько часов он отправился в редакцию; вошел к Вальтеру: — Я сегодня утром был очень удивлен, когда увидел, что не помещена моя вторая статья об Алжире.

Редактор поднял голову и сухо сказал:

— Я передал ее вашему другу Форестье, прося его посмотреть; он нашел ее неудовлетворительной, вам придется исправить ее.

Дюруа, взбешенный, вышел, не сказал ни слова, быстро вошел в кабинет своего друга и спросил: — Почему ты не поместил сегодня моей статьи?

Журналист курил, развалившись в кресле; положив ноги на стол, он каблуками пачкал начатую статью.

Спокойно, скучным и слабым голосом, как бы доносящимся из ямы, он сказал:

— Патрон нашел, что она не годится, и поручил мне передать ее тебе для исправления. Вот она, возьми.

И он рукой указал на листы, лежавшие под пресс-папье. Дюруа, сконфуженный, не знал, что сказать.

Положил листы в карман. Форестье продолжал:

— Сегодня ты сперва отправишься в префектуру...

И он указал ему целый ряд деловых визитов и сведений, которые ему нужно было собрать. Дюруа вышел молча, не найдя язвительного слова, которого жаждал.

На другой день он принес свою статью. Ему опять вер-

нуи. Он в третий раз переделал ее. Получив ее обратно, он понял, что только Форестье может помочь ему.

Он не говорил больше о «Воспоминаниях африканского охотника»; решил быть уступчивым и хитрым, раз это необходимо, а пока старательно исполнял свои обязанности репортера.

Он познакомился с театральными и политическими кулисами, с коридорами и прихожими государственных людей и депутатов, с важными лицами членов кабинета и с нахмуренными физиономиями заспанных швейцаров.

У него установились постоянные сношения с министрами, с привратниками, генералами, полицейскими агентами, князьями, сутенерами, куртизанками, послами, епископами, со сводниками, выскочками, с людьми из общества, с извозчиками, гарсонами кафе и многими другими; он стал безразличным приятелем всех, приятелем из расчета; они все были смешаны в одну кучу; он мерил их на один аршин, судил о них с одной и той же точки зрения, так как встречался с ними ежедневно, переходил от одного к другому и со всеми говорил об одних и тех же профессиональных делах. Он сравнивал себя с человеком, который перепробовал образцы всевозможных вин и теперь уже не отличает больше Шато-Марго от Аржантеля.

Он скоро стал хорошим репортером, уверенным в своих сведениях; хитрым, быстрым, тонким, настоящим кладом для газеты, как говорил Вальтер, знавший толк в этом деле.

Однако, он получал только по десяти сантимов за строчку и двести франков жалованья, а жизнь на бульварах, в кафе и в ресторанах стоит дорого; так что у него никогда не бывало денег, и он приходил в отчаяние от своей бедности.

Тут есть какой-то особый секрет, думал он, когда видел, что некоторые его сотрудники имели карманы полные золота; но он не понимал, какими такими средствами они добывали себе благосостояние. Он подозревал, что существуют какие-то неизвестные подозрительные способы, какие-то непонятные услуги, какая-то общепринятая контрабанда. И зависть разбирала его. Следовательно,

ему необходимо открыть эту тайну, вступить в этот союз, подружиться с сотрудниками, наживавшимися без него.

Часто вечером, смотря из окна на проходящие поезда, он мечтал и думал о том, какие способы можно было бы изобрести.

V.

Прошло два месяца. Приближался сентябрь. Дюруа находил, что ожидаемое им быстрое обогащение — дело не легкое. Больше всего его огорчала незаметность его общественного положения. Он не знал, каким путем достичь высот, на которых люди пользуются уважением и богатством. Он чувствовал себя закрепощенным в звании журналиста, замуравленным в нем, без возможности какого-либо выхода. Его ценили, но обращались с ним, сообразуясь с его рангом. Даже Форестье, которому он оказывал кучу услуг, не приглашал его больше обедать, относился к нему, как к подчиненному, хотя и продолжал говорить ему «ты», как другу.

Правда, что время от времени, Дюруа удавалось печатать свои статьи. Он приобрел известную легкость стиля и такт, которого ему не хватало, когда он писал свою вторую статью об Алжире. Он мог теперь надеяться, что его фельетоны не встретят отказа. Но между этим успехом и возможностью по своему желанию выбирать темы или, с видом судьи, трактовать политические вопросы, — была такая-же разница, какая существует между положением кучера и хозяина, выезжающих на прогулку в Булонский лес. Особенно угнетало его сознание недостижимости для него светского общества, отсутствие знакомых, относящихся к нему, как к равному, и дружбы с женщинами, хотя некоторые актрисы, пользующиеся известностью, заговаривали с ним с кокетливой непринужденностью.

Он знал, кроме того, по опыту, что все они, светские дамы и куртизанки, испытывали по отношению к нему странное влечение, мгновенно зарождающуюся симпатию. Он мучился от нетерпения сблизиться с этими женщинами, от которых могло зависеть его будущее, как лошадь, связанная путами.

Ему часто хотелось посетить госпожу Форестье. Но его удерживало от этого унизительное воспоминание об их последней встрече. Кроме того, он дожидался приглашения со стороны ее мужа.

Тогда, вспомнив о г-же де-Марель и ее просьбе навещать ее, он отправился к ней как-то после обеда, не зная чем заполнить время. «Я всегда дома до трех часов», предупредила она его.

Он позвонил к ней в два с половиной часа.

Она жила на улице де-Вернейль, в четвертом этаже. Ему отворила горничная. Растрепанная горничная. Она ответила ему, завязывая ленты своего чепчика: — Да, барыня дома, но я не знаю, встала ли она.

Она растворила незапертую дверь гостиной.

Дюруа вошел. Гостиная была довольно обширна, но неряшливо убрана. Мебели было мало. Выцветшие старые кресла были расставлены вдоль стен, сообразно вкусу служанки. Ни на одном предмете не лежало отпечатка изысканной заботливости женщины, любящей свое жилище. На стенах висели четыре жалких картины, небрежно прикрепленные при помощи шнурков неравной длины, изображающие лодку на реке, корабль в море, мельницу среди равнины и дровосека в лесу. Было очевидно, что они уж давно так висели, забытые равнодушной хозяйкой.

Дюруа сел и стал ждать. Ждать пришлось долго. Наконец, дверь отворилась. Г-жа де-Марель вбежала, в японском капоте из розового шелка, расшитым золотыми пейзажами, голубыми цветами и белыми птицами. Она воскликнула:

— Представьте себе, что я была еще в постели. Как это мило с вашей стороны, что вы пришли ко мне! Я была убеждена, что вы обо мне забыли.

Она с восхищенным видом, протянула ему обе руки, и Дюруа, сделавшийся развязным, очутившись в скромной квартире, взяв ее руки, поцеловал одну из них. Он подметил один раз, как это делал Норбер де-Варенн.

Она попросила его сесть. Потом, оглядывая его с ног до головы:

— Как вы изменились! У вас прекраснейший вид.

Жизнь в Париже вам на пользу. Ну, рассказывайте мне новости.

Они сейчас же принялись болтать, словно были давнишними знакомыми, испытывая друг к другу прилив внезапной симпатии, доверия, дружбы и нежности, как это бывает с людьми одинакового характера и происхождения, становящимися друзьями через пять минут.

Вдруг молодая женщина прервала разговор с удивленным видом: — Как это странно, что я так с вами разговариваю. Мне кажется, что я вас знаю лет десять. Право, мы будем добрыми приятелями. Хотите?

Он ответил: — Само собою разумеется. — Его улыбка добавляла невысказанное.

Он находил ее очень соблазнительной в этом ярком и нежном капоте. Она была менее изящна, чем та, другая в своем белом, менее кокетлива, но зато больше действовала на чувства, больше возбуждала.

Находясь возле г-жи Форестье, одновременно привлекавшей и останавливавшей его своей приветливо-холодной улыбкой, говорившей: «вы мне нравитесь» и «берегитесь», истинного смысла которой он никак не мог уразуметь, он испытывал желание броситься к ее ногам или покрывать поцелуями нежное кружево ее корсажа, медленно вдыхая теплый аромат ее груди. Находясь с г-жей де-Марель, он пламенел более грубым, резко определенным желанием, заставлявшим его содрогаться при виде контуров ее тела, трепетавших под легким шелком.

Она говорила без устали, уснащая каждую фразу собственным ей остроумием, как мастер, совершающий чудеса ловкости, кажущейся для неопытных людей невероятно трудной и вызывающей удивление. Он слушал, думая про себя: «Это не мешает запомнить. Можно писать очаровательные парижские хроники, заставляя ее болтать по поводу событий дня».

В дверь постучали тихо, чуть слышно. Она крикнула:

— Ты можешь войти, крошка. — Появилась маленькая девочка. Она прямо подошла к Дюруа и протянула ему руку.

Изумленная мать прошептала:—Это настоящая победа. Я ее совсем не узнаю.

Поцеловав девочку, молодой человек посадил ее рядом с собой и с серьезным видом стал ласково расспрашивать ее о том, как она проводила время со дня их встречи. Она отвечала детским голосом, звонким, как флейта, с важным видом взрослой особы.

Прошло три часа. Журналист встал.

— Приходите почаще,—сказала г-жа де-Марель.—Мы будем болтать, как сегодня. Это доставит мне большое удовольствие. Почему вы перестали бывать у Форестье?

Он ответил:—Это не вызвано никакой серьезной причиной. У меня очень много работы. Надеюсь, что на днях мы увидимся.

Он вышел, с сердцем, полным смутной надежды.

Он не сообщил Форестье о своем визите.

Но в течение последующих дней он не мог забыть о нем—более того, он все время ощущал призрачную и волнующую близость этой женщины; ему казалось, что он уже завладел частью ее, изгибами ее тела, запечатлевшись в его сердце. Он находился под влиянием ее образа, как иногда бывает, если провести несколько часов в очаровательной беседе с женщиной. В таких случаях ясно возникает странная мысль об обладании, смутная, волнующая и прелестная, в силу ее таинственности.

Через несколько дней он пришел к ней во второй раз. Горничная ввела его в гостиную, и сейчас же появилась Лорина.

На этот раз она подставила для поцелуя свой лоб и сказала:

— Мама просила вас подождать. Она придет через четверть часа, потому что еще не одета. Я составлю вам компанию.

Дюруа, забавлявшийся церемонными манерами девочки, ответил:—Я буду очарован провести с вами, барышня, четверть часа. Но я вас предупреждаю, что я совсем не серьезен. Я играю весь день. Я предлагаю вам поиграть в кошку и мышку.

Девочка стояла, пораженная. Потом она улыбнулась,

как это сделала бы женщина, выслушав предложение, возмущенное и удивившее ее. Она прошептала:

— В комнатах не играют.

Он продолжал:—Мне все равно. Я играю везде. Ну, ловите меня.

Он начал кружиться вокруг стола, поддразнивая и заставляя ее ловить себя. Она следовала за ним, не переставая улыбаться, с видом вежливой снисходительности, иногда протягивала руку, но все еще не решалась бежать за ним.

Он остановился, наклонился и, когда она приблизилась нерешительными шажками, подпрыгнул в воздухе, как игрушечные чортики в бутылочках, и со всех ног побежал от нее на другой конец гостиной. Она рассмеялась, найдя забавной его выходку, и, воодушевившись, побежала за ним, издавая радостно-боязливые крики, когда ей казалось, что она его поймала. Он переставлял стулья, преграждая ей дорогу, заставлял ее вертеться возле одного из них, потом бросал его и схватывал другой. Лорина бегала теперь за ним, наслаждаясь этой новой игрой всем существом. С развешившимся лицом, она по-детски радовалась всем прыжкам, хитростям и уловкам своего товарища.

Вдруг ей показалось, что она его поймала; но он схватил ее и поднял до потолка, крича:—Кошка поймана!

Восхищенная девочка болтала ногами, желая вырваться, и смеялась от всего сердца.

Г-жа де-Марель вошла изумленная: — Лорина... Лорина играет... Вы ее обворовали, милостивый государь.

Дюруа спустил девочку на пол, поцеловал руку матери, и они уселись втроем. Им хотелось поговорить, но Лорина, всегда такая молчаливая, болтала без умолку, все еще находясь под влиянием возбуждения, вызванного в ней игрой. Ее пришлось отправить в детскую.

Она молча повиновалась, со слезами на глазах.

Когда они остались одни, г-жа де-Марель понизила голос:—Вы не знаете,—у меня грандиозный проект, и я думала о вас. Каждую неделю я обедаю у Форестье. В свою очередь, я угощаю их в ресторане. Я не люблю принимать у себя, я совсем не создана для этого и, кроме того, я ни-

чего не смысли в хозяйстве. Я люблю жить по богемски. Итак, я приглашаю их в ресторан, но это, право, скучно; мы обедаем втроем, я не приглашаю моих собственных знакомых. Я говорю вам это, чтоб выяснить—в чем дело. Вы, конечно, понимаете, что я прошу вас присоединиться к нашей компании, в субботу, в кафе Риш, в семь с половиною часов. Вы знаете этот дом?

Он согласился с восторгом. Она продолжала:—Нас будет только четверо. Как раз две пары. Эти маленькие банкеты очень забавны для нас, женщин, не привыкших к таким развлечениям.

На ней было темнокоричневое платье, кокетливо и вызывающе облегавшее ее талию, бедра, грудь и руки. Дюруа чувствовал изумление, почти смущение, истинную причину которых он не мог уловить, от несоответствия элегантности ее костюма с неряшливой обстановкой ее квартиры.

Все, что облекало ее тело, касалось его непосредственно, было тонко и нежно. К убранству же дома она относилась, повидимому, с полным равнодушием.

Он покинул ее, сохраняя, как и в прошлый раз, ощущение ее близости, доходившее до галлюцинации чувств. Он ждал назначенного дня с возрастающим волнением.

Снова сч взял на прокат черный фрак. Его средства не позволяли ему приобрести выходной костюм. Он явился первым на место свиданья, на несколько минут раньше условленного часа.

Его повели на второй этаж, в маленькую гостиную, с красными обоями и одним окном, выходящим на бульвар.

На квадратном столе, накрытом на четыре прибора, была разостлана белая скатерть, такая блестящая, что она казалась лакированной. Стаканы, серебро, спиртовка весело сверкали при свете двенадцати свечей, вставленных в высокие канделябры.

За окном виднелось большое светлозеленое пятно, образованное ветками деревьев, озаренными светом, падавшим из окон отдельных кабинетов.

Дюруа сел на низком диване, таком же красном, как обои. Ослабшие пружины поддались под тяжестью его

тела и ему показалось, что он падает в яму. Огромный дом гудел смутным гулом, свойственным большим ресторанам. Этот гул происходил от смешения всевозможных звуков: звона посуды и серебра, быстрых шагов прислуги, смягченных коврами, стука открывающихся дверей, из-за которых слышались голоса обедающих. Форестье вошел и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, с какою он никогда не относился к нему в редакции «Французской Жизни».

— Дамы сейчас придут,—сказал он;—эти обеды восхитительны!

Потом он оглядел стол, потушил слабо мерцавший газовый рожок, закрыл одну створку окна, так как из него дуло, уселся в уголке и сказал:—Мне нужно беречься. Целый месяц я чувствовал себя хорошо, а теперь я опять нездоров уже несколько дней. Я простудился во вторник, выходя из театра.

Дверь открылась и показались обе молодые женщины в сопровождении метр-д'отеля. Они были закрыты вуалями, скромные, с очаровательной таинственной сдержанностью, свойственной женщинам, появляющимся в местах, пользующихся сомнительной репутацией.

Когда Дюруа приветствовал г-жу Форестье, она пожурла его за то, что он не приходил к ней. Потом, взглянув с улыбкой на свою подругу:—Вы предпочитаете госпожу де-Марель. Для нее у вас находится время.

Когда все уселись, метр-д'отель вручил Форестье карту вин. Г-жа де-Марель воскликнула:—Мужчины могут пить, что им угодно. А нам дайте замороженного шампанского, самого лучшего, и больше ничего.

Когда лакей вышел, она заявила, возбужденно смеясь:—Я хочу сегодня пьянствовать. Мы покутим на славу.

Форестье, сделав вид, что не слышит ее, спросил:—Вы ничего не имеете против того, чтобы закрыть окно? Уже несколько дней я простужен.

— Пожалуйста.

Он закрыл оставшуюся полуоткрытой створку окна и уселся с прояснившимся, успокоенным видом. Его жена сосредоточенно молчала; опустив глаза на стол, она улы-

балась, глядя на стаканы со своей неопределенной улыбкой, казалось, все обещавшей и ничего не исполнявшей.

Принесли миниатюрные, сочные остендские устрицы, похожие на маленькие уши, спрятанные в раковинах и оставляющие между небом и языком вкус соленых конфект.

После супа, подали речную форель, розовую, как тело молодой девушки. Стали разговаривать.

Сначала заговорили о происшествии, наделавшем много шума, об истории светской дамы, накрытой другом ее мужа в отдельном кабинете, в объятиях иностранного принца.

Форестье очень забавляло это приключение. Дамы объявили, что нескромный болтун был негодяй и подлец. Дюруа присоединился к их мнению, громко заявив, что мужчина в таких делах, какую бы роль он ни играл — действующего лица, поверенного или простого зрителя, должен быть нем, как могила. Он прибавил: — Жизнь была бы очаровательна, если бы мы могли рассчитывать на безусловную обоюдную деликатность. По большей части — почти всегда — женщин удерживает страх разглашения их тайны.

Сказал, улыбаясь: — Разве это не правда?

— Многие из них не задумались бы отдаться мимолетному влечению, неожиданной и безумной прихоти одного часа, если бы они не боялись, что за минутное счастье придется расплачиваться позором и слезами.

Он говорил с неотразимой убежденностью, как если бы защищал в данном случае собственные интересы, словно заявлял: — Со мной нечего бояться подобных неприятностей. Попробуйте, и вы узнаете.

Дамы одобрительно глядели на него, находя слова его справедливыми. Они подтверждали сочувственным молчанием, что их непоколебимая нравственность парижанок не устояла бы в виду уверенности в сохранении тайны.

Форестье, полулежавший на диване, подогнув одну ногу, с подвязанной вокруг шеи салфеткой, сказал со скептическим смехом: — Само собою разумеется, — не дали бы маху, если бы были уверены в молчании. Чорт побери! Бедные мужья!

Заговорили о любви. Не считая ее вечной, Дюруа признавал возможность продолжительной любви, создающей тесную связь, основанной на доверии и дружбе. Физическое соединение запечатлевает собой союз сердец. Но он возмущался терзаниями ревности, драмами, сценами, несчастиями, почти всегда сопровождающими любовные разрывы.

Когда он замолчал, г-жа де-Марель вздохнула: — Это единственная хорошая вещь в жизни, но мы ее часто порти́м, предъявляя чрезмерные требования.

Г-жа Форестье сказала, играя ножом: — Да... да... приятно быть любимой...

Она погрузилась в задумчивость. Казалось, что в своих грезах она представляла себе то, о чем не осмеливалась сказать вслух.

Так как следующего блюда долго не приносили, они, от времени до времени, прихлебывали шампанское, закусывая поджаристой корочкой белого хлеба. Мысль о любви, томная, пленительная, проникала в их души, постепенно опьяняя их, подобно тому, как светлое вино, которое они глотали по каплям, горячило их кровь и туманило головы.

Принесли нежные бараньи котлеты, уложенные тесными рядами, украшенные спаржей.

— Чорт возьми! Славная штука! — воскликнул Форестье. Они ели медленно, наслаждаясь нежностью мяса и овощами, душистыми, как сливки.

Дюруа продолжал: — Когда я влюблен в женщину, мир для меня не существует.

Он сказал это убежденно, взволнованный мыслью о радостях любви, размякший и довольный после вкусного обеда.

Г-жа Форестье прошептала, с безучастным видом: — Ни с чем нельзя сравнить счастье первого рукопожатия, когда спрашивают: «Вы меня любите?» — и отвечают: «Да, я тебя люблю!»

Г-жа де-Марель, одним глотком опорожнив бокал шампанского, весело сказала, ставя бокал на стол: — Я не так платонична.

Стали смеяться, одобряя ее выходку. Глаза всех загорелись.

Форестье, лежавший на диване, оперся локтями на подушки и сказал серьезным тоном: — Ваша откровенность делает вам честь и докзывает, что вы — практичная женщина. Но нельзя ли узнать, каково мнение господина де-Мареля на этот счет?

Она медленно пожала плечами, с видом бесконечного презрения. Потом сказала отчетливо: — В данном случае господин де-Марель не может иметь мнения... ему знакомо только... только воздержание...

С возвышенных теорий разговор спустился в низменность утонченного цинизма.

Болтовня состояла из ловких двусмысленностей, покровов, поднятых словами, как поднимают юбки, словесных фокусов, смело замаскированных намеков, бесстыдного лицемерия, фраз, являющих образы, в скрытой форме раскрывающие все, о чем нельзя говорить. Такая болтовня доставляет светским людям особый вид потаенной любви, что-то вроде нечистого представления, волнующего и чувственного, как объятие, касающееся всех скрываемых, стыдливых и страстно желаемых деталей совокупления. Принесли жареных куропаток, окруженных перепелками, горошек, страсбургский пирог, салат, вырезные листья которого наполняли, точно зеленый мох, большой салатник в форме лоханки. Они ели без всякого удовольствия, исключительно занятые своим разговором, погруженные в волны любви.

Женщины были возбуждены. Г-жа де-Марель обнаруживала свойственную ей смелость, граничившую с провокацией. Г-жа Форестье отличалась очаровательной сдержанностью, целомудренностью тона, улыбки, голоса, всего обращения. И все это еще резче подчеркивало смысл произносимых ею слов.

Форестье, развалившись на подушках, смеялся, пил, ел без устали. Он иногда вставлял такую грубую или бесстыдную фразу, что женщины, слегка оскорбленные формой, смущались на две-три секунды. — Прекрасно, дети мои. Если вы будете продолжать в таком духе, вы сделаете глупостей.

Подали десерт и кофе. Ликеры придали общему возбуждению более тяжелый и бурный характер.

Г-жа де-Марель оказалась пьяницей, как она объявила, садясь за стол. И, желая позабавить своих собеседников, она представлялась еще более пьяной, чем это было на самом деле.

Г-жа Форестье замолчала, может быть, из осторожности. Что касается Дюруа, то, чувствуя себя возбужденным до крайности, он искусно притворялся трезвым.

Закурили папиросы. Форестье стал кашлять.

У него был ужасный кашель, раздиравший ему грудь. С покрасневшим лицом и вспотевшими висками, он задыхался, прижимая салфетку к губам. Когда припадок затих, он заворчал, с яростным видом: — Эти удовольствия не для меня. Это просто глупо. — Его веселое настроение исчезло, омраченное неотступно преследовавшим его страхом перед болезнью.

— Пора домой, — сказал он.

Г-жа де-Марель позвонила гарсона и приказала подать счет. Счет принесли сейчас же. Она хотела просмотреть его, но цифры прыгали перед ее глазами, и она протянула его Дюруа:

— Платите вы, я ничего не вижу, я слишком пьяна.

В то же время она бросила ему кошелек.

Общая цифра достигла ста тридцати франков. Дюруа просмотрел счет, проверил, отдал два банковых билета, взял сдачу и спросил вполголоса: — Сколько нужно оставить на чай?

— Сколько хотите, я не знаю.

Он положил на тарелку пять франков и возвратил кошелек молодой женщине, спросив ее:

— Вы позволите мне проводить вас?

— Конечно. Я не в состоянии добраться одна домой...

Простились с Форестье. Дюруа счутился в фиакре вдвоем с г-жей де-Марель.

Он почувствовал ее возле себя, совсем близко, запертую вместе с ним в темной коробке, освещавшейся по временам отблеском уличных фонарей. Он почувствовал сквозь ткань одежды теплоту ее плеча и не мог сказать ей ни сло-

ва, ни единого слова, потому что мозг его был парализован неотступным желанием обнять ее.

— Если я осмелюсь, как она к этому отнесется? — думал он. Воспоминание о бесстыдных словах, произнесенных во время обеда, ободряло его. Его удерживал только страх скандала.

Она тоже ничего не говорила. Сидела неподвижно, откинувшись в угол кареты. Он мог подумать, что она спит, если бы не видел блеска ее глаз всякий раз, когда в карету проникал свет.

«О чем она думала?» Ему казалось, что не нужно говорить, что если хоть одно слово нарушит молчание, победа будет невозможна. Но у него не хватало мужества грубо проявить свою волю.

Вдруг он почувствовал, что нога ее пошевелинулась.

Она сделала нервное движение, выражавшее нетерпение или, может быть, призыв. Он содрогнулся.

Быстро повернувшись, он бросился на нее, впиваясь поцелуем в ее губы, обнажая ее тело.

Она слабо закричала, стараясь выпрямиться, вырваться, оттолкнуть его. Потом она сдалась, словно у нее не хватило силы сопротивляться.

Карета скоро остановилась перед ее домом. Пораженный Дюруа не мог найти ни одного страстного слова, чтобы поблагодарить ее, благословить, поклясться ей в любви.

Она не вставала, не двигалась, взволнованная случившимся. Тогда он, чтобы не вызвать подозрения у кучера, вышел первый и протянул ей руку.

Наконец, она вышла из фиакра, слегка пошатываясь и не говоря ни слова. Он позвонил и, когда дверь отворилась, спросил дрожащим голосом: — Когда я вас снова увижу?

Она прошептала так тихо, что он еле расслышал: — Приходите завтра ко мне завтракать. — И исчезла во мраке сеней, толкнув тяжелую дверь, захлопнувшуюся с грохотом.

Он дал пять франков кучеру и пошел быстрой торжествующей походкой, с сердцем, полным радости.

Наконец, он овладел замужней женщиной! Светской женщиной, настоящей светской женщиной, парижанкой! Как это случилось легко и неожиданно!

До сих пор он думал, что победа над этими обольстительными существами сопряжена со всевозможными хлопотами, бесконечным выжиданием, искусной осадой, ухаживаньем, любовными словами, вздохами и подарками. И вот, при малейшем натиске, первая из них, которую он встретил, отдалась ему с такой быстротой, что повергла его в изумление. — Она была пьяна, — подумал он, — завтра будет другая песня. Она закатит истерику. — Эта мысль обеспокоила его, но он подумал: — Что-ж делать! Овладев ею, я должен уметь удержать ее.

В смутном видении, в котором мелькали его надежды на почести, успех, известность, деньги и любовь, он внезапно увидел, подобно гирлянде статисток, проходящих в апофеозе, процессию элегантных, богатых, могущественных женщин, исчезающих с улыбкой, одна за другой, в облаках его золотых грез.

Его сон был полон грез.

На другой день, поднимаясь по лестнице г-жи де-Марель, он чувствовал себя немного взволнованным. Как она его встретит? Примет ли она его? Если она не велела принимать его? Не разболтает ли она?.. Но, нет, она ни о чем не могла сказать, не открыв истины. Таким образом, не она, а он был господином положения.

Горничная открыла дверь. Он ничего не прочел на ее лице. Он успокоился, точно ожидал увидеть у нее расстроенное лицо.

Он спросил: — Как барыня себя чувствует?

Она ответила: — Как всегда. — И ввела его в гостиную.

Он подошел к камину, чтоб взглянуть на себя в зеркало. Поправляя галстук, он увидел в нем молодую женщину, глядевшую на него с порога комнаты.

Он сделал вид, что не заметил ее, и в течение нескольких секунд они с напряженным вниманием смотрели друг на друга в зеркале, прежде чем встретиться лицом к лицу.

Он обернулся. Она не двигалась с места и, казалось, выжидала. Он подошел к ней бормоча: — Как я люблю вас! Как я люблю вас! — Она тогда обняла его, прижавшись к его груди. Потом она подняла голову. Их губы слились в долгом поцелуе.

Он подумал: — Как это, однако, просто! — Их губы

раз'единились. Он, молча, улыбался, стараясь выразить в своем взгляде безграничную любовь.

Она тоже улыбалась, как улыбаются женщины, когда они хотят выразить свое желание, свое согласие, жажду отдаться. Она прошептала: — Мы одни. Я отослала Лорину завтракать к ее подруге.

Он вздохнул, целуя ее руки: — Благодарю, я вас обожаю.

Она взяла его под руку, как если-б он был ее мужем. Они сели рядом на диване.

На нем лежала обязанность найти интересную тему для разговора. Но, чувствуя себя смущенным, он пробормотал:

— Вы на меня не слишком сердитесь?

Она зажала ему рот рукой:

— Молчи!

Они сидели, не говоря ни слова, глядя друг на друга, сплетаясь дрожащими пальцами.

— Как я желал вас! — сказал он.

Она повторила:

— Молчи!

В соседней комнате горничная зазвенела посудой.

Он встал: — Я не могу оставаться возле вас. Я теряю голову.

Дверь открылась:

— Кушать подано.

Он торжественно повел ее к столу.

Они завтракали, сидя друг против друга, беспрестанно обмениваясь взглядами и улыбками, занятые только собой, об мороженые чарами зарождающейся любви.

Ели они машинально. Почувствовав прикосновение маленькой ноги, он охватил ее своими ногами и не выпускал, стиснув изо всех сил.

Горничная входила и уходила, приносила и уносила блюда, с равнодушным видом, ничего не замечая.

Когда завтрак кончился, они вернулись в гостиную, и снова сели на диване.

Он обнял ее, стараясь крепко сжать в своих объятиях. Но она спокойно его отталкивала: — Осторожнее, могут войти...

Он прошептал: — Когда могу я видеть вас одну, чтоб говорить вам о своей любви?

Она нагнулась к его уху и сказала совсем тихо: — Я приду к вам на днях.

Он покраснел: — Но у меня... у меня... очень скромно.

Она улыбнулась: — Это ничего. Я хочу видеть вас, а не вашу квартиру.

Он стал просить ее назначить день. Она сказала, что придет в конце будущей недели. Он умолял ее придти раньше; нашептывал ей бессвязные фразы, с горящим взглядом, сжимая и терзая ее руки, с покрасневшим лицом, взволнованный, охваченный непобедимым желанием.

Она забавлялась его нетерпением, проявляющимся с такой пылкостью. Постепенно она меняла день. Но он повторял: — Завтра... скажите... завтра...

Наконец, она согласилась: — Да. Завтра. В пять часов.

Он глубоко вздохнул от радости. Они стали разговаривать почти спокойно, с дружелюбным видом, как если бы они были знакомы уже двадцать лет.

Звонок заставил их вздрогнуть. Они быстро отодвинулись друг от друга.

Она прошептала: — Это, должно быть, Лорина.

Девочка вошла; остановилась, удивленная, потом побежала к Дюруа, хлопая в ладоши, вне себя от радости при виде его. Она крикнула: — Милый друг!

Г-жа де-Марель засмеялась:

— Милый друг! Лорина вас удачно окрестила. Это будет вашим прозвищем. Я вас тоже буду звать нашим Милым Другом!

Он посадил девочку на колени и должен был играть с ней во все игры, которым он научил ее.

Когда он встал, было без четверти три. Ему нужно было идти в редакцию. Стоя на лестнице, он еще раз шепнул в полуоткрытую дверь: — Завтра в пять часов.

Молодая женщина ответила улыбкой: «Да» и исчезла.

Кончив работу, он задумался о том, как он уберет свою комнату к приему возлюбленной. Нужно было как можно искусней скрыть убожество помещения. Ему пришлось в голову приколоть к стенам разные японские без-

делушки. Он купил на пять франков целый ассортимент всевозможных вееров и прикрыл ими наиболее заметные пятна обоев. Приклеил к стеклам прозрачные картинки, изображавшие речные суда, птиц, летящих по красному небу, разноцветных дам на балконах, процессии черненьких человечков,двигающихся по снежным равнинам.

Его крохотная комнатка, в которой с трудом можно было повернуться одному человеку, скоро стала походить на внутренность разрисованного бумажного фонаря. Он остался доволен производимым ею впечатлением и весь вечер приклеивал к потолку птиц, вырезанных из оставшихся у него цветных картин.

Потом он лег спать, убаюкиваемый свистками поездов.

На другой день он вернулся рано, с пакетом пирожных и бутылкой мадеры, купленной им у бакалейщика. Снова спустился, чтоб достать две тарелки и два стакана. Разместил все свои покупки на туалетном столе, закрыв грязную деревянную доску салфеткой. Таз и кувшин поставил под стол.

И стал ждать.

Она пришла в четверть шестого. Восхищенная яркой пестротой рисунков, она воскликнула:—У вас очень мило. Но на лестнице слишком много народа.

Он обнял ее, страстно целуя ее волосы, закрытые вуалью.

Через полтора часа он проводил ее до Римской улицы и позвал фиакр. Когда она села в карету, он прошептал:—Вторник. В тот же час.

Она сказала:—В тот же час, вторник.—Пользуясь темнотой, она обняла его и поцеловала в губы. Когда кучер подхлестнул лошадь, она крикнула:—До свиданья, Милый Друг!—Карета увезла ее, увлекаемая белой клячей.

В течение трех недель Дюруа принимал у себя Г-жу де-Марель каждые два-три дня, утром или вечером.

Однажды, когда он ждал ее в послеобеденное время, громкие крики на лестнице заставили его подойти к двери. Ревел ребенок. Рассвирепевший мужской голос кричал:—Чего он орет, чертенок?—Женщина ответила визгливым, раздраженным голосом:—Эта шлюха, которая

бегает наверх к журналисту, столкнула Николая с лестницы.

— Не следовало бы пускать этих потаскушек; не замечают детей на лестницах!

Дюруа отшатнулся, совсем растерявшись. Он услышал шелест юбок и торопливые шаги на лестнице.

Он запер дверь, но в нее скоро постучали. Он отворил. Г-жа де-Марель вбежала в комнату, с трудом переводя дыхание, вне себя, бормоча:

— Ты слышал?

Он притворился, что ничего не знает.

— Нет, а что?

— Как они меня ругали.

— Кто?

— Эти негодяи, которые живут внизу.

— Но что же случилось?

Она зарыдала.

Он снял с нее шляпу, расстегнул корсет, уложил на постель, смочил виски мокрым полотенцем. Она задыхалась. Немного успокоившись, она разразилась негодующими словами. Он должен спуститься вниз, вызвать их на дуэль и убить.

Он повторял:—Но, ведь, это рабочие, мужики. Придется идти в суд. Тебя узнают, задержат, погубят. С такими людьми нельзя связываться.

Ей пришла в голову другая мысль:—Что же нам теперь делать? Я не могу больше приходить сюда.

— Он ответил:—Очень просто. Я перемену квартиру.

Она прошептала:—О, это будет долго.—Внезапно придумала новую комбинацию и сказала, успокоенная:

— Нет, нет, я придумала, предоставь все мне, ни о чем не беспокойся. Я припущу тебе завтра утром «синюю бумажку».

Она называла «синей бумажкой» закрытые городские телеграммы.

Она теперь улыбалась, восхищенная своей выдумкой, которую она не хотела сообщить ему, и безумствовала в любовном экстазе.

Все же она очень волновалась, спускаясь по лестнице.

Она изо всей силы оперлась на руку своего возлюбленного, потому что у нее подкашивались ноги.

На лестнице никого не было.

Так как он вставал поздно, то на другой день в одиннадцать часов он еще лежал в постели, когда почтальон подал ему «синюю бумажку».

Дюруа распечатал ее и прочел: «Свидание сегодня. Пять часов. Константинопольская улица, 127. Прикажи проводить тебя в квартиру, нанятую госпожей Дюруа.

Кло тебя целует».

Ровно в пять часов он вошел в швейцарскую большого меблированного дома и спросил:—Здесь госпожа Дюруа наняла квартиру?

— Да, сударь.

— Проводите меня, пожалуйста.

Швейцар, несомненно привыкший к щекотливым потожениям, требующим осторожности, посмотрел на него и выбрал ключ из большой связки:

— Это вы—господин Дюруа?

— Само собою разумеется.

Он отпер маленькую квартирку нижнего этажа, состоявшую из двух комнат и находившуюся против швейцарской.

Гостиная была оклеена почти новыми полосатыми обоями. Мебель красного дерева была обита зеленоватым репсом с желтым рисунком. Ковер, украшенный цветами, был так тонок, что сквозь него нога прощупывала доски пола.

Спальня была крохотная. Три четверти комнаты занимала кровать. Она помещалась в глубине комнаты, заполняя собой весь простенок. Шаблонная кровать с голубыми тяжелыми драпировками, тоже репсовыми, и пуховым одеялом, крытым красным шелком, испещренным подозрительными пятнами.

Дюруа подумал, обеспокоенный и недовольный:—Эта квартира будет мне стоить бешеных денег. Придется занять. Она совсем одурела.

Дверь отворилась, и Клотильда влетела, как вихрь, шелестя юбками, с распростертыми объятьями. Она была в восторге.

— Ведь, это очень мило, правда? И не нужно подниматься по лестницам: нижний этаж. Можно входить и выходить из окна; швейцар не увидит. Как мы здесь будем любить друг друга!

Он холодно поцеловал ее, не решаясь задать ей вопрос, вертевшийся у него на языке.

Она положила на столик, находившийся посреди комнаты, большой пакет. Развязав его, она вынула оттуда мыло, флакон с туалетной водой, губку, коробку со шпильками, крючек для башмаков и маленькие щипцы для завивки волос, чтоб подправлять пряди на лбу, постоянно развивавшиеся.

Она весело забавлялась, убирая квартиру и расставляя по местам вещи. Болтала без умолку, выдвигая ящики. Нужно на всякий случай принести немножко белья. Это будет очень удобно. Если меня захватит на улице ливень, я прибегу сюда сушиться. У нас будет по ключу, кроме того, который останется у швейцара на тот случай, если мы забудем наши. Я наняла на три месяца; разумеется, на твое имя, потому что я не могла нанять на свое.

Тогда он спросил:

— Ты мне скажешь, когда нужно платить?

Она просто ответила:—Уже заплачено, мой милый!

Он продолжал:—Сколько я тебе должен?

— Нет, мой котик, это тебя не касается, это моя маленькая прихоть.

Он притворился рассерженным:—Ну, нет! я этого не позволю.

Она обняла его и начала умолять:—Прошу тебя, Жорж. Это мне доставляет такое удовольствие. Я хочу, чтоб наше гнездышко принадлежало мне, только мне. Это тебя не оскорбляет? Я хочу принести дар нашей любви. Скажи, что ты хочешь этого, милый Жоржик?...— Она умоляла его взглядом, поцелуями, всем своим существом.

Он заставлял просить себя, отказываясь с рассерженным видом. Наконец, он согласился, находя, что, в сущности, она права.

Когда она ушла, он прошептал, потирая руки и не ста-

раясь углубляться в тайники своей души, где зародилось составленное им в этот день мнение о ней:—Она все же мила.

Через несколько дней он снова получил «синюю бумажку».

Она сообщала ему: «Мой муж приедет сегодня вечером после шестинедельного отсутствия. Мы должны расстаться на восемь дней. Какая тоска, мой милый!

Твоя Кло».

Дюруа был поражен. Он совсем забыл о том, что она была замужем. Ему хотелось хоть один раз увидеть этого человека, чтоб иметь о нем представление.

Он терпеливо дождался отъезда супруга, и провел в Фоли-Бержер два вечера, закончившихся у Рашели.

Затем, однажды утром, снова получилась телеграмма из четырех слов: «Сегодня пять часов, Кло».

Оба прибыли на свидание раньше назначенного времени. Она бросилась в его объятия, охваченная безумным порывом, страстно целуя его лицо; потом сказала:—Если хочешь, мы, когда наласкаемся, пойдем куда-нибудь обедать. Я себе освободила день.

Месяц только что начинался, и хотя его жалование было уже забрано вперед, и он пробавлялся со дня на день мелкими займами, на этот раз у него случились деньги; и он обрадовался случаю истратить некоторую сумму на нее.

Он отвечал:—Да, конечно, милочка, где ты хочешь.

Около семи часов они вышли из дому и дошли до большого бульвара. Она опиралась на его руку и шептала ему на ухо:—Если бы ты знал, как я рада идти с тобой под руку, как мне нравится чувствовать тебя так близко!

Он спросил:—Хочешь пойти обедать к Латуилью? Она отвечала:—О! Нет, там слишком шикарно. Я бы предпочла что-нибудь простое, какой-нибудь трактирчик, где обедают служащие и работницы; я обожаю кабачки! О! Если бы мы могли поехать за город!

Так как он не знал подобного учреждения в этом квартале, они прошли по бульвару и кончили тем, что зашли в винную лавку, где можно было обедать в комнате рядом. Сквозь стеклянную дверь она увидела двух подrostков без шляп за столом против двух военных.

Три извозчика обедали в глубине длинной узкой комнаты, какой-то субъект неопределенной профессии курил трубку, вытянув ноги, засунув руки в брюки, растянувшись на стуле и запрокинув голову вперед на спинку. Его куртка была вся в пятнах, из оттопыренных карманов виднелось горлышко бутылки, кусок хлеба, сверток в газете и конец веревки. У него были густые взлохмаченные волосы, серые от грязи; фуражка валялась на земле под стулом. Появление Клотильды и ее туалет произвели сенсацию. Обе парочки перестали шептаться, три извозчика прекратили спор, а курящий субъект, вынув трубку из рта и сплунув на пол, посмотрел на нее, слегка покачав головой.

Г-жа де-Марель пробормотала:—Как мило! Нам будет здесь очень хорошо; а в другой раз я оденусь работницей. —И уселась без всякого замешательства, не брезгая, за деревянный стол, лоснящийся от пролитого сала и напитков, стираемых одним взмахом салфетки лакея. Дюруа, немного смущенный, слегка сконфуженный, стал искать вешалки, чтобы повесить свой цилиндр. Не найдя ее, он положил его на стул.

Им подали баранье рагу, кусок жиг и салат. Клотильда повторяла:—Я обожаю это. У меня низменный вкус. Мне здесь веселее, чем в Английском кафэ.—Потом прибавила:—Если ты хочешь мне доставить полное удовольствие,—сведи меня на бал в кабачок. Я знаю здесь по близости очень забавный, называющийся «Белая Королева».

Дюруа, удивленный, спросил:—Кто тебя туда водил?

Он посмотрел на нее; она покраснела, слегка взволнованная, точно этот внезапный вопрос пробудил в ней нежное воспоминание. После минутного колебания она пробормотала:—Это один друг...—Затем, помолчав, прибавила...—который умер,—и опустила глаза, искренно опечаленная.

Дюруа, в первый раз, подумал о том, что ничего не знает из прошлого этой женщины, и задумался. Несомненно, она имела любовников до него, но какого рода? из какого общества? Смутная ревность, что-то вроде неприязни пробудилась в нем к ней, ненависть ко всему, чего он не знал, ко всему, что не принадлежало ему в этом сердце, в этой

жизни. Он посмотрел на нее, раздраженный тайной, скрытой в этой хорошенькой загадочной головке, думавшей, может быть, в эту минуту о другом, о других, с сожалением. Как бы ему хотелось заглянуть в эти воспоминания, порыться в них, все узнать, все увидеть!..

Она повторила:—Хочешь сводить меня к «Белой Королеве»? Это будет настоящий праздник.

Он подумал: «Ба! Что мне до прошлого? Я дурак, если меня это волнует». И ответил с улыбкой:—Само собою разумеется, милочка.

Очутившись на улице, она прошептала, тоном, которым делают признания:—Я не смела тебя об этом просить до сих пор; но ты не можешь себе представить, как я люблю эти холостецкие вылазки в места, куда женщинам не полагается ходить. Во время карнавала я оденусь школьником. Я очень забавна в этом костюме.

Войдя в помещение бала, она прижалась к нему испуганная, но довольная, с восхищением глядя на проститутку и сутенеров, и от времени до времени, как бы оберегаясь от возможной опасности, говорила, при виде сурового, неподвижного полицейского: «Вот у этого внушительная фигура». Через четверть часа, ей надоело, и он проводил ее домой.

Затем последовал целый ряд экскурсий во все кабаčky, где веселятся низы Парижа; и Дюруа открыл в своей любовнице настоящую страсть к скитаниям по всем богемским притонам.

Она приходила на свидание в ситцевом платье, на голубе—чепчик водевильной субретки; и несмотря на изящную простоту своего костюма, оставалась в кольцах, браслетах, бриллиантовых серьгах, отвечая на его просьбы снять их:—Пусть думают, что это камешки из Рейна.

Находя, что она удивительно замаскирована, хотя на самом деле это было далеко не так, она отправлялась в притоны, пользующиеся самой дурной репутацией.

Она пожелала, чтобы и Дюруа переодевался рабочим; он воспротивился этому и сохранил свой приличный костюм бульвардьера, отказавшись даже заменить цилиндр мягкой шляпой.

Она утешалась, оправдывая его упрямство следующим доводом: «Пусть думают, что я горничная из хорошего дома, имеющая связь с человеком из общества». И находила эту комбинацию восхитительной.

Они заходили в трущобные кабаčky и садились в глубине накуренного помещения на колченогие стулья перед ветхим деревянным столом. Облако едкого дыма, в котором еще стоял запах жареной рыбы от обеда, носилось по комнате; мужчины в блузах горланили, попивая из стаканчиков; удивленный гарсон рассматривал эту странную пару, ставя перед ней две рюмки вишневки.

Волнуясь, побаиваясь и радуясь, она принималась пить маленькими глотками красный сок, поглядывая вокруг беспокойными, горящими глазами. От каждой проглоченной вишни она получала ощущение совершенного проступка, каждая капля жгучего наперченного напитка, попадавшая ей в горло, доставляла ей острое наслаждение, радость запретного и преступного удовольствия.

Потом она говорила вполголоса: — Пойдем.—И они уходили. Она быстро пробегала, наклонив голову, мелкими шагами, точно актриса со сцены, между посетителями облокотившимися на столы, провожавшими ее подозрительными и недовольными взглядами; и как только за ней затворялась дверь, она выпускала вздох облегчения, точно ей удалось избежать какой-то ужасной опасности.

Иногда она спрашивала у Дюруа, дрожа:

— Если бы меня оскорбили в этих местах, чтобы ты сделал?

Он отвечал хвастливо:—Я бы сумел тебя защитить, чорт побери!

И она радостно сжимала его руку, смутно желая, чтобы ее оскорбили и защитили, увидеть, как мужчины будут из-за нее драться, хотя бы эти самые мужчины, с ее любимым.

Но эти экскурсии, возобновлявшиеся два-три раза в неделю, начинали надоедать Дюруа, которому к тому же с некоторых пор стало очень трудно доставать каждый раз пол-лундора на извозчиков и мелкие расходы.

Теперь он сводил с большими затруднениями концы с концами, гораздо больше нуждаясь, чем когда служил на

железной дороге; в первые месяцы он тратил деньги без счета, постоянно надеясь на увеличение доходов, и таким образом истощил все свои сбережения и все способы доставания денег.

Самое простое средство—заем в кассе—он использовал весьма быстро, и забрал в газете жалованье за четыре месяца вперед, да еще шестьсот франков построчных. Кроме того, он задолжал сто франков Форестье, триста франков Жаку Ривалю, у которого всегда можно было перехватить, да еще опутал себя целой сетью маленьких долгов, от пяти до двадцати франков.

Сен-Потен, с которым он советовался о способе достать еще сто франков, не придумал никакого средства, несмотря на свою изобретательность, и Дюруа приходил в отчаяние от своей бедности, теперь еще более ощутимой, так как расходы его возрасли. Глубокое раздражение против всех людей росло в нем, проявляясь беспрестанно по каждому поводу, во всякую минуту.

Иногда он задавал себе вопрос, каким образом мог он тратить в среднем около тысячи франков в месяц, не позволяя себе никаких особых излишеств; считал, что завтрак в восемь франков вместе с обедом в двенадцать франков в одном из лучших бульварных ресторанов, уже составляли золотой, да прибавил десяток франков карманных денег, проходящих незаметно сквозь пальцы, получается в общем тридцать франков. А тридцать франков составят девятьсот франков в месяц. В этот счет еще не входили расходы на одежду, обувь, белье, прачку и т. п.

Таким образом, 14 декабря он очутился без гроша в кармане, не представляя себе никакой возможности откуда-нибудь достать хоть монету.

В этот день, как это случалось часто прежде, он совсем не завтракал и провел весь день в редакции за работой, взбешенный и озабоченный.

Около четырех часов он получил городскую телеграмму от своей любовницы, гласившую: «Хочешь пообедать вместе? Потом сделаем куда-нибудь вылазку».

Он тотчас ответил: «Обедать невозможно». Потом, подумав, что с его стороны глупо отказаться от приятных

мгновений, которые она ему дарила, и прибавил: «Буду ждать тебя в девять часов, в нашем гнездышке».

Он отправил записку с мальчиком, чтобы сократить расход на телеграф, и стал размышлять, как ему достать себе денег на ужин.

К семи часам он еще ничего не придумал, и от адского голода у него сверлило в животе. Тогда он решил прибегнуть к отчаянному средству. Он подождал пока уйдут все его сотоварищи и, оставшись один, стремительно позвонил. Служитель патрона, оставшийся сторожить редакцию, явился на зов.

Дюруа стоял взволнованный, роясь в карманах.

— Послушайте, Фукар, я забыл кошелек дома, а мне нужно ехать обедать в Люксембург. Одолжите мне пятьдесят су на извозчика.

Служитель достал три франка из кармана жилета и спросил:

— Г. Дюруа не требуется больше?

— Нет, нет. Этого достаточно. Благодарю вас.

И, схватив серебряные монеты, Дюруа спустился бегом по лестнице, потом пообедал в трактире, куда он заглядывал в черные дни.

В девять часов он поджидал свою возлюбленную, грея ноги у камина маленького салона.

Она влетела, очень оживленная, очень веселая, возбужденная морозным воздухом:—Если хочешь, сказала она, отправимся сначала погулять, потом вернемся сюда к одиннадцати часам. Погода восхитительная для прогулки.

Он ответил ворчливым тоном:—Зачем выходить? Здесь так хорошо.

Она продолжала, не снимая шляпы:—Если бы ты видел, какая удивительная луна. Поистине наслаждение прогуляться в такой вечер.

— Может быть, но я не желаю гулять.

Он сказал это с бешеным видом. Ее это поразило, оскорбило; она спросила:—Что с тобой? К чему этот тон? Мне хочется прогуляться, я не понимаю, почему тебя это злит.

Он поднялся, разъяренный:—Это меня не злит. Это по моему глупо. Вот что!

Она была из тех, которых раздражают возражения, а грубость приводит в бешенство.

Сказала презрительно, сдерживая злобу:

— Я не привыкла, чтобы со мной так говорили. В таком случае я уйду одна. До свидания!

Он понял, что хватил через край, и, стремительно бросившись к ней, поймал ее руки, стал их целовать, бормоча:

— Прости меня, дорогая, прости меня, я сегодня очень раздражителен, очень нервен. Это оттого, что у меня неприятности, затруднения, понимаешь, дела...

Она ответила, смягченным, но не успокоенным тоном:

— Это меня не касается; и я совершенно не желаю, чтобы на мне срывали свое дурное расположение.

Он повлек ее к дивану.

— Послушай, крошка, я совершенно не хотел тебя оскорблять; я говорил, совершенно не думая.

Он усадил ее насильно, и, став перед ней на колени: — Простила ты меня? Скажи, что простила.

Она пробормотала, холодно: — Ну хорошо, но не начинай снова. — И, поднявшись, прибавила:

— А теперь пойдем гулять.

Он не вставал с колен, обнимая ее ноги, и бормотал: — Я тебя прошу, останемся. Я тебя умоляю. Сделай это для меня. Мне так хочется этот вечер провести с тобой вдвоем возле камина. Скажи «да», я тебя умоляю, скажи «да».

Она ответила коротко и жестко: — Нет, я хочу выйти, и не уступлю твоим капризам.

Он настаивал — я тебя умоляю. У меня есть основание, серьезное основание. Она сказала снова: — Нет. И если ты не хочешь идти со мной, я уйду. Прощай.

Она высвободилась резким движением и подошла к двери. Он побежал за ней, заключил ее в свои объятия:

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, сделай это для меня. — Она отрицательно качала головой, не отвечая, уклоняясь от его поцелуев и стараясь высвободиться из его объятий, чтобы уйти.

— Кло, моя маленькая Кло, у меня есть основание. — Она остановилась, смотря ему в лицо: — Ты лжешь, — какое основание? — Он покраснел, не зная, что сказать. Она продолжала, возмущенная: — Видно, что ты лжешь...

Подлое животное... — И с жестом ярости, со слезами на глазах, она выскользнула из его рук.

Он удержал ее снова за плечи и, в отчаянии, готовый сознаться во всем, чтобы избежать этого разрыва, сказал унылым тоном: — Дело в том, что у меня нет ни гроша. Вот и все...

Она остановилась на месте и, смотря ему в глаза, чтобы нать истину: — Что ты говоришь?

Он покраснел до корней волос.

— Я говорю, что у меня нет ни гроша. Понимаешь ты? Ни одного франка, ни полфранка, чтобы заплатить за рюмку наливки, куда мы пойдем. Ты заставляешь меня признаваться в таких позорных вещах. Ведь, не мог же я пойти с тобой, и когда мы сядем за стол и спросим себе что-нибудь, спокойно объявить тебе, что у меня нечем заплатить...

Она продолжала смотреть ему в глаза: — Значит, это правда... Да?

В одно мгновение он вывернул все свои карманы панталон, жилета, пиджака, бормоча: — Смотри, ты теперь довольна?

Внезапно, раскрыв ему объятия в страстном порыве, она бросилась к нему на шею, лепеча:

— О! Мой бедный мальчик... Мой бедный мальчик... Если бы я знала! Как это с тобой случилось?

Она усадила его, и сама, усевшись к нему на колени, обняла его за шею, непрерывно целуя его в губы, в усы, в глаза, и заставила рассказать свои злоключения...

Он выдумал умилительную историю. Он должен был помочь своему отцу, находившемуся в затруднительном положении. На это ушли не только все его сбережения, но он еще залез в долги по горло.

Он прибавил: — Мне придется голодать еще с полгода, так как я растратил все мои сбережения. Что же делать, бывают в жизни такие кризисы. В конце концов деньги не стоят того, чтобы из-за них так волноваться.

Она шепнула ему на ухо: — Я тебе одолжу, — хочешь?

Он ответил с достоинством: — Ты очень добра, крошка,

но не будем об этом больше говорить, прошу тебя. Ты меня этим оскорбляешь.

Она замолчала: — Ты никогда не поймешь, как я тебя люблю.

Это был один из их лучших вечеров любви... Уходя, она сказала с улыбкой:

— Гм! находясь в твоём положении, забавно найти забытые деньги в кармане, — монету, застрявшую в подкладке.

Он ответил убежденно: — Еще бы!

Она захотела возвращаться пешком, под предлогом восхитительной луны, и восторгалась ею всю дорогу. Стояла холодная и ясная ночь, какие бывают в начале зимы. Прохожие и лошади спешили, словно укушенные легким морозом. Каблуки звонко стучали о тротуар.

Прощаясь, она спросила его: — Хочешь, чтобы мы встретились послезавтра?

— Ну, да, конечно.

— В то же время?

— Хорошо.

— До свиданья, дорогой.

Они нежно поцеловались.

Он пошел быстрыми шагами, спрашивая себя, что ему изобрести на завтра, чтобы достать денег. Но, открывая двери в свою комнату, он стал искать в кармане жилета спичек и остановился в изумлении, нащупав монету между пальцев.

Засветив огонь, он схватил эту монету, чтобы рассмотреть. Это был золотой — двадцатифранковик!

Он подумал, что сошел с ума.

Вертел ее, переворачивал, стараясь угадать, каким чудом она попала сюда. Ведь не могла же она упасть с неба к нему в карман.

Потом вдруг догадался, и его охватило возмущение. Его любовница, в самом деле, упоминала о монете, застрявшей в подкладке, которую находят в тяжкие минуты. Это она подала ему милостыню. Какой позор!

Он взбесился: — Ну, хорошо! Я ее приму послезавтра! Она проведет хорошенькие четверть часа!

Лег спать взбешенный и оскорбленный.

Проснулся поздно, хотелось есть. Попробовал уснуть снова, чтобы встать к двум часам. Потом сказал себе: — Это ни к чему не приведет, нужно придумать, как достать денег. Потом вышел, надеясь, что на улице ему что-нибудь придет в голову.

Но идеи не приходили; вместо того, проходя мимо ресторана, он чувствовал адский голод, так что текли слюнки. В полдень, ничего не придумав, он вдруг решил: «Ба! Пойду позавтракаю на Клотильдины двадцать франков. Это мне не мешает вернуть ей их завтра».

Он позавтракал в трактире за два франка пятьдесят. Придя в редакцию, отдал три франка долга служителю: — Получите, Фукар, деньги, которые вы мне вчера одолжили на извозчика.

Проработал до семи часов, потом пошел обедать и снова издержал три франка из тех же денег. Вечером два бокала пива увеличили дневной расход до девяти франков тридцати сантимов.

Но так как он не мог ни открыть себе кредита, ни придумать источников дохода в одни сутки, то пришлось издержать еще шесть франков пятьдесят из двадцати, которые он должен был вернуть в тот же вечер, и таким образом явиться на свидание с четырьмя франками двадцатью сантимами в кармане.

Он был в настроении бешеной собаки и намеревался тотчас повести дело на чистоту. Он скажет своей любовнице: — Ты знаешь, я нашел двадцать франков, положенные тобой в мой карман. Я не могу вернуть их тебе сегодня, потому что мои дела в том же положении, и у меня нет времени думать о деньгах. Но я возвращу их тебе в следующий раз.

Она пришла нежная, ласковая, встревоженная. Как он ее примет? Она смело поцеловала его, желая отсрочить объяснение.

Он подумал в свою очередь: — Я еще успею поговорить об этом. Нужно найти повод.

Он не нашел повода и ничего не сказал, не решаясь начинать разговор на такую щекотливую тему.

Она осталась и была очаровательной во всех отношениях.

Они расстались в полночь, назначив свидание на среду следующей недели, потому что г-жа де-Марель получила несколько приглашений на званые обеды.

На другой день, расплачиваясь за свой завтрак, Дюруа хотел достать из кармана оставшиеся у него четыре монеты. Он вынул пять. Из них одна была золотая.

Сначала он подумал, что ему дали ее по ошибке, когда он вчера менял деньги. Но у него сейчас же забилося сердце от сознания унизости преследующей его милостыни.

Как он жалел, что ничего не сказал! Если бы он энергично выразил свое негодование, это не повторилось бы.

В течение четырех дней он упорно и безнадежно хлопотал, желая раздобыть пять луидоров. Кончилось тем, что он истратил второй золотой Клотильды.

Она ухитрилась — хотя он сказал ей с разгневанным видом: — Не повторяй больше своих глупых выходов, иначе я рассержусь, — в первую же встречу сунуть в его карман еще двадцать франков.

Найдя их, он выругался: «Чорт возьми!» и переложил их в карман жилета, чтоб иметь под рукой: у него не было ни сантима.

Он успокоил свою совесть следующим рассуждением: «Я верну их. Я просто напросто взял у нее взаймы эти деньги».

Кассир газеты внял, наконец, его отчаянной мольбе и согласился выдавать ему по пяти франков в день. Этих денег ему могло хватить на пропитание, но о возвращении долга в шестьдесят франков нечего было думать.

В виду того, что Клотильду снова охватило бешеное желание совершать ночные прогулки по всем подозрительным уголкам Парижа, он не особенно сердился, найдя еще один золотой в одном из своих карманов, другой — в тот же день — в своем башмаке и на другой день, после прогулки с приключениями, — третий, в футляре от часов.

Она предъявляла требования, удовлетворять которые он был не в состоянии. Поэтому было совершенно естественно, что она сама оплачивала свои удовольствия, не желая отказываться от них.

Кроме того, он вел счет всем получаемым от нее деньгам, не теряя надежды отдать их ей когда-нибудь.

Однажды вечером она сказала: — Представь себе, что я ни разу не была в Фоли-Бержер. Хочешь пойти со мной?

Он колебался одну минуту, боясь встретиться там с Рашелью. Потом подумал: «Но ведь, я не женат. Если та увидит меня, она поймет, в чем дело, и не станет заговаривать. Притом, мы будем в ложе».

Кроме того, его побуждало к этому еще одно соображение. Ему легко было достать бесплатную ложу для г-жи де-Марель. Таким образом, он как-бы возвратит часть долга.

Он попросил Клотильду подождать его в карете, не желая, чтобы она знала о том, что ему дадут даровой билет. Потом он вернулся к ней, и они вошли, приветствуемые контролерами.

Фойе было переполнено публикой. Они с великим трудом пробрались сквозь толпу мужчин и профессионалов. Наконец, они добрались до своей ложи и уселись, — между молчаливым партером и гудящей галлереей.

Г-жа де-Марель не глядела на сцену, заинтересованная прогуливавшимися проститутками. Она беспрестанно оборачивалась к ним, сгорая желанием ошупать их, прикоснуться к их корсажам, их лицам, волосам, узнать, как устроены эти существа.

Вдруг она сказала: — Посмотри, вон та полная брюнетка все время не сводит с нас глаз. Мне сейчас показалось, что ей хочется заговорить с нами. Ты ее заметил?

Он ответил: — Нет. Ты ошибаешься. — Но он уже давно заметил ее. Это была Рашель, бродившая возле их ложи, с гневным взглядом и жестокими словами, готовыми сорваться с языка.

Он только что столкнулся с ней в толпе. Она шепнула ему:

— Здравствуй! — И многозначительно подмигнула. Он не ответил на ее любезное приветствие, боясь быть замеченным своей любовницей. Холодно прошел мимо, с поднятой головой и презрительно сложенными губами. Проститутка, охваченная инстинктивной ревностью, по-

следовала за ним, снова столкнулась с ними и сказала громко:—Здравствуй, Жорж!

Он опять ничего не ответил. Желая во что бы то ни стало быть замеченной и обменяться с ним приветствием, она без устали прогуливалась возле их ложи, выжидая благоприятной минуты.

Увидев, что г-жа де-Марель смотрит на нее, она дотронулась до плеча Дюруа:

— Здравствуй, как поживаешь?

Она продолжала:

— Что с тобой? Ты, должно быть, успел оглохнуть с четверга!

Он ничего не ответил. Сидел с презрительным видом, ясно показывавшим, что он не желает компрометировать себя даже самым незначительным разговором с этой распутницей. Она засмеялась. В ее смехе дрожала ярость. И сказала:

— Ты и немой тоже? Не откусила ли тебе эта дама язык?

Тогда он сказал раздраженно, с гневным жестом:

— Как вы смеете со мной разговаривать? Уходите, или я прикажу задержать вас.

Тогда она заорала во все горло, со сверкающими глазами:—А, ты вот как! Ах, ты негодяй! Если спишь с женщиной, то, по крайней мере, кланяйся ей после того. Это не оправдание—что ты с другой,—чтобы меня сегодня не узнавать. Если бы ты мне хоть кивнул, когда я проходила мимо, я бы тебя не тронула. Но ты захотел почваниться—подожди же! Я тебя заставлю поплясать, да! Ага! ты даже не считаешь нужным мне кланяться при встрече...

Она бы орала еще без конца, но г-жа де-Марель покинула ложу и пробиралась через толпу, ища, как сумасшедшая, выхода.

Дюруа бросился за ней, стараясь ее догнать.

Тогда Рашель, видя, что они убегают, завопила, торжествуя:

— Держите ее! Держите! Она у меня украла любовника.

Зрители расхохотались. Двое мужчин, ради шутки, схватили бегущую за плечи и хотели ее увести, стараясь поцеловать. Но Дюруа догнал ее, стремительно, высвободил и вывел на улицу. Она бросилась в пустую карету, стоявшую у под'езда. Он вскочил за ней, и на вопрос кучера:—Куда прикажете, господин? — отвечал: — Куда хотите.

Карета медленно затряслась по мостовой. Клотильда в нервном припадке, закрыв лицо руками, вздрагивала; Дюруа не знал, что говорить, что делать. Наконец, услышав плач, он залепетал:—Послушай, Кло, моя маленькая Кло, дай мне тебе объяснить! Я здесь не виноват... Я знал эту женщину давно... в дни юности.

Она вдруг открыла лицо и с бешенством влюбленной и обманутой женщины, развязавшим ей язык, задыхаясь, отрывисто забормотала:—Ах, негодяй, мерзавец... подлец... Возможно ли? Какой позор!.. О! Господи!.. Какой срам!..

Потом, возмущаясь все более и более, по мере того, как она приходила в себя и припоминала факты:

— Это ты платил ей моими деньгами!.. И я давала деньги... для этой проститутки... О! Мерзавец!..

В течение нескольких секунд она, казалось, искала более крепкого выражения, потом вдруг, с движением, точно хотела плюнуть:—О! Свинья, свинья... свинья... Ты ей платил моими деньгами... свинья... свинья...—Не находя другого слова, она повторяла:

— Свинья... свинья...

Вдруг она высунулась в окно, и, схватив кучера за рукав:—Остановитесь!—отворила дверцу и выскочила на улицу.

Жорж хотел бежать за ней, но она закричала:—Не смей идти со мной!—так громко, что вокруг стали собираться прохожие; и Дюруа не двинулся, из опасения скандала.

Тогда она достала кошелек, стала искать денег при свете фонаря, дала кучеру два франка пятьдесят, сказав дрожащим голосом:

— Вот... возьмите ваши деньги... Я плачу... И отвезите этого скота на улицу Бурсо, квартал Батиньоль.

В толпе поднялось веселье. Какой-то господин сказал: — Браво малютка! — А уличный мальчишка, примостившись у колес кареты, закричал пронзительным голосом:

— Добрый вечер, Биби!

Затем карета покатилась, осыпаясь градом насмешек.

VI.

На следующий день Жорж Дюруа проснулся в дурном настроении.

Не спеша оделся, сел у окна и стал размышлять. Во всем теле он чувствовал разбитость, точно накануне его избили палками.

Наконец, необходимость во что бы то ни стало достать денег, заставила его направиться к Форестье.

Приятель принял его в кабинете, грея ноги у камина.

— Что это тебя принесло так рано?

— Важное дело. У меня долг чести.

— Проигрался?

Секунду он колебался, потом подтвердил: — Да, проигрался.

— Много?

— Пятьсот франков!

Он должен был только двести восемьдесят.

Форестье спросил недоверчиво:

— Кому ты задолжал?

Дюруа не нашелся, что ответить.

— Одному... одному... господину... де-Карлевиль.

— Ага? Где же он живет?

— Улица... улица...

Форестье захохотал: — В некотором царстве, в некотором государстве? Не правда ли? Я знаю этого господина, мой друг. Если ты хочешь двадцать франков, я могу тебе их предоставить, но не более.

Дюруа взял золотой. Затем он отправился по всем своим знакомым, из дома в дом. И к пяти часам, ему удалось набрать восемьдесят франков.

Так как ему еще не хватало двухсот, то он решил, на

этом остановиться и пробормотал, пряча собранные деньги: — Ну, не стоит так надрываться ради этой потаскухи. Я отдам ей, когда буду при деньгах.

В течение двух недель, он вел правильный, умеренный и целомудренный образ жизни, весь переполненный энергическими намерениями. Потом вдруг его охватила жажда любви. Ему казалось, что он уже несколько лет не обнимал женщины, и он трепетал при виде каждой юбки, как трепещут моряки при виде твердой земли.

В таком настроении, он отправился однажды вечером в Фоли-Бержер, надеясь встретиться там с Рашелью. И, действительно, он увидел ее тотчас, как вошел, так как она вечно пребывала в этом учреждении.

Он направился к ней, улыбаясь и протягивая руку. Она смерила его взглядом с головы до ног:

— Что вам от меня нужно?

Он пробовал засмеяться: — Полно, не дурачься.

Она повернулась на каблучках и заявила: — Я не веду знакомства с альфонсами.

Она выбрала самое оскорбительное слово. Он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, и вернулся один.

Форестье, больной, ослабевший, постоянно кашляющий, делал его службу в редакции очень обременительной; казалось, он напрягал все мысли, чтобы придумать для него самые докучные поручения. Однажды, в минуту сильного нервного раздражения, после мучительного приступа кашля, не получив от Дюруа требуемой им справки, он проворчал: — Чорт возьми, ты гораздо глупее, чем я думал.

Дюруа хотелось дать ему по физиономии, но сдержался и вышел, бормоча: — погоди, я тебе отплачу.

Внезапно у него блеснула мысль, и он прибавил:

— Я тебе наставлю рога, дружище. — И пошел, потирая руки, радуясь этому проекту.

Он намеревался приступить к его исполнению с завтрашнего же дня. В виду этого, он отправился к г-же Форестье, с визитом.

Застал ее за чтением, лежащей на диване.

Она протянула ему руку не вставая, только повернув

голову, и сказала:—Здравствуйте, Милый Друг.—Ему показалось, что ему дают оплеуху!

— Почему вы меня так называете?

Она ответила, улыбаясь:—Я видела г-жу де-Марель на той неделе и слышала от нее, как они вас прозвали.

Приветливый тон молодой женщины успокоил его. Впрочем, чего ему бояться!

Она продолжала:—Ее вы балуете! А вот ко мне заходите только тридцать шестого числа или в роде того..

Он сел возле нее и стал рассматривать ее, точно коллекционер новую вещичку. Она была очаровательна, со своим нежным и горячим колоритом блондинки, созданной для ласк: и он подумал: «Конечно, она лучше той». Он не сомневался в успехе; казалось, стоит ему только протянуть руку—она падет, как спелый плод с дерева.

Сказал решительно:—Я не приходил к вам, потому что так лучше.

Она спросила, ничего не подозревая:—Как? Почему?

— Почему? Вы не догадываетесь?

— Нет,нисколько.

— Потому, что я влюблен в вас... О! Немножко, пока немножко... но я не хочу влюбляться окончательно...

Она, повидимому, не удивилась, не обиделась и не была польщена; продолжала улыбаться также безразлично и спокойно ответила:

— О! Вы все-таки могли придти. В меня никогда не влюбляются надолго.

Он удивился больше ее тону, чем словам:—Почему?

— Потому, что это бесполезно, и я тотчас даю это понятие. Если бы вы рассказали мне раньше о вашем опасении, я бы вас успокоила и посоветовала бы, наоборот, приходить почаще.

Он воскликнул патетически:—Разве можно приказывать чувствам!

Она обернулась к нему:—Мой Милый Друг, для меня влюбленный вычеркивается из списка живых людей. Он глупеет, становится идиотом,—более того,—он опасен. С людьми, которые влюблены в меня или притворяются таковыми, я прерываю дружеские отношения, во-первых, потому что они смешны, во-вторых, они опасны, как бе-

шенные собаки, с которыми может случиться припадок. Поэтому я держу их в отдалении, пока не пройдет эта болезнь. Для вас любовь нечто в роде насыщения, тогда как для меня это средство... средство общения душ, которого мужчины не признают. Вы понимаете ее в буквальном, а я в отвлеченном смысле. Но... посмотрите-ка мне в глаза...

Теперь она не улыбалась. Лицо ее было холодно и спокойно, и она сказала подчеркивая каждое слово:—Я никогда, никогда не буду вашей любовницей, помните это. Значит абсолютно бесполезно, даже вредно для вас настаивать на этом.... А теперь, когда... операция сделана... хотите будем друзьями, настоящими добрыми друзьями, без всяких задних мыслей?

Он понял, что всякая попытка останется безуспешной перед этой непреклонной стойкостью. Поэтому он тотчас, от всего сердца, принял ее предложение, и, восхищенный возможностью приобрести такую союзницу, протянул ей обе руки:

— Сударыня,—я весь к вашим услугам.

Она почувствовала искренность в его тоне и подала ему обе руки. Он поцеловал их одну за другой, потом сказал просто, поднимая голову:—Господи, если бы я встретил женщину, похожую на вас, с какой бы радостью я на ней женился!

Эта фраза ее тронула, как трогают женщин некоторые исключительные комплименты, и она бросила на него горячий, признательный взгляд—один из взглядов, делающих нас на всю жизнь рабами женщины.

Потом, считая этот разговор исчерпанным, она сказала мягким тоном, положив пальчик ему на плечо:

— И я тотчас примусь за мои товарищеские обязанности. Вы, мой друг, не находчивы...

На мгновение она замялась и спросила:—Могу я говорить с вами откровенно?

— Да.

— Совершенно?

— Совершенно.

— Ну, так сделайте визит г-же Вальтер, которая вас

очень ценит, и поухаживайте за ней. Там вы можете любезничать сколько угодно, хотя она честная женщина, помните это, вполне приличная и честная. О! не надейтесь... там сорвать что-нибудь в этом отношении... Вы можете получить там нечто большее, если сумеете себя поставить. Я знаю, что положение ваше в газете пока очень не важное. Но не бойтесь ничего, они принимают всех сотрудников с одинаковым радушием. Послушайтесь меня, сходите туда.

Он сказал улыбаясь:—Благодарю вас. Вы ангел... настоящий ангел-хранитель.—Потом они заговорили о других вещах.

Он сидел долго, желая доказать, что ему приятно быть с ней; и, уходя, он спросил еще раз:—Итак, решено? Мы друзья?

— Решено.

Заметив, что его комплимент произвел эффект, он подтвердил его словами:

— Если вы когда-нибудь овдовеете, — я выставлю свою кандидатуру.

И быстро удалился, чтобы не дать ей возможности рассердиться.

Визит к г-же Вальтер несколько стеснял Дюруа, так как он не имел основания явиться к ней в дом, и не хотел сделать неловкость. Патрон был к нему благосклонен, ценил его услуги, предпочитал его другим для трудных поручений; почему бы ему не воспользоваться этой благосклонностью, чтобы проникнуть к ним в дом.

Имея это в виду, в одно прекрасное утро он рано поднялся и отправился на рынок, где приобрел за десять франков два десятка восхитительных груш. Запаковал их в корзину, чтобы они имели вид привезенных издалека, и отнес швейцару патронессы вместе с карточкой, на которой написал:

«Жорж Дюруа

почтительно просит г-жу Вальтер принять эти скромные плоды, полученные им сегодня утром из Нормандии».

На следующий день он нашел в редакции, в своем ящике для писем, конверт с карточкой г-жи Вальтер,

«сердечно благодарящей г. Жоржа Дюруа, и принимающей у себя каждую субботу».

В следующую субботу он отправился.

Г. Вальтер жил на бульваре Малерб, в собственном доме, часть которого он, как человек практический, отдавал в наймы. Швейцар, помещавшийся между двумя входными дверьми, отворял дверь хозяину и жильцу, придавая дому вид роскошного отеля своей отличной ливреей, белыми гетрами на толстых икрах и своим праздничным одеянием с золотыми пуговицами и ярко-красными отворотами.

Приемные комнаты находились в первом этаже; передняя была затянута ковром; на дверях драпировки. Два лакея дремали на стульях. Один взял у Дюруа пальто, другой палку, отворил дверь, сделал, идя вперед, несколько шагов, затем пропустил его, выкрикнув его фамилию в пустую комнату.

Молодой человек в замешательстве смотрел во все стороны, пока заметил в зеркале сидящих людей, казавшихся очень далеко. Сначала он ошибся направлением, введенный в заблуждение зеркалом, потом пройдя две пустые залы, вошел в маленький салон, обтянутый голубым шелком с золотыми пуговками, где четыре дамы вполголоса беседовали вокруг стола с чашками чаю. Несмотря на развязность, которую он приобрел за свое пребывание в Париже,—в особенности благодаря своей профессии репортера, постоянно сталкивавшей его с важными особами, Дюруа почувствовал себя смущенным обстановкой приема и странствованием по пустым залам.

Пробормотал:—Сударыня, я осмелился...—ища глазами хозяйку дома.

Она протянула ему руку, которую он взял с поклоном, и сказала:—Вы очень любезны, сударь, что навестили меня,—и указала ему на кресло, в которое он почти упал, считая, что оно гораздо ниже.

Все замолчали. Одна из дам начала разговор. Речь шла о холоде, однако, недостаточно свирепом, чтобы прекратить эпидемию тифа или сделать возможным катанье на коньках. При этом каждая высказала свое мнение о наступающих в Париже морозах; затем заговорили,—кто

какой предпочитает сезон, приводя все банальные основания, которые застревают в умах, подобно пыли в комнатах. Легкий шорох в дверях заставил Дюруа обернуться; через отражение двух зеркал он увидел входившую толстую даму. Как только она вошла в салон, одна из дам встала, пожала всем руки и удалилась; молодой человек проводил глазами темный силуэт ее платья, сверкавшего стеклянрусом.

Когда движение, вызванное перемещением лиц, улеглось, разговор перешел на Восточный вопрос и затруднения Англии на юге Африки.

Дамы обсуждали все эти вопросы, точно разыгрывали светскую комедию, хорошо выученную и вполне приличную.

Вошла новая гостья,—маленькая завитая блондинка—и при этом вышла высокая, сухопарая дама, среднего возраста.

Заговорили о шансах, которые имел г. Лине попасть в академию. Последняя из пришедших положительно утверждала, что его побьет г. Кабанон-Лебас, автор прекрасной стихотворной переделки «Дон Кихота» для театра.

— Вам известно, что эта вещь пойдет в Одеоне этой зимой.

— Вот как! Непременно пойду посмотреть, как ему удалась эта переделка.

Г-жа Вальтер отвечала любезно, спокойно и бесстрастно, ни минуты не задумываясь над своими словами, так как на все у нее уже были готовые мнения.

Заметив, что становится темно, она велела подать лампы, продолжая участвовать в разговоре, журчащем как ручеек, думая о том, что она позабыла взять из типографии пригласительные билеты на предстоящий обед.

Она была несколько полна, еще хороша собой, в том критическом возрасте, когда дни женщины уже сочтены. Она еще держалась, но только благодаря косметикам, гигиене, уходу и всевозможным заботам о себе. Впечатление она производила методичной, сдержанной и рассудительной женщины, суждения которой выстрижены и выравнены подобно французскому саду, по которому гу-

ляешь без всяких неожиданностей, находя в этом известную прелесть. Ум у нее был точный, сдержанный, заменявший ей воображение,—доброта, самоотверженность, спокойное благожелательство ко всем и ко всему.

Она заметила, что Дюруа ничего не говорит, никто к нему не обращается, и это его смущает; и чувствуя, что дамы не скоро еще покончат с академией—излюбленным предметом их разговоров,—она спросила:

— Ну, а вы, г. Дюруа, вы должны быть осведомлены на этот счет,—за кого вы подаете голос?

Он отвечал не колеблясь:—Что касается этого вопроса, сударыня, я бы никогда не обращал внимания на относительные достоинства кандидатов, но на их возраст и состояние здоровья. Я бы справлялся не об их титулах, но о болезнях, которыми они страдают. Я не требовал бы от них перевода в стихах Лопе де-Вега, но меня интересовало бы состояние их печени, сердца, почек, спинного мозга. На мой взгляд в тысячу раз важнее, страдает ли он гипертрофией, ожирением, и в особенности начинающейся атаксией, чем написал ли он сорок томов рассуждений об идее отечества в поэзии варваров.

Это мнение было встречено удивленным молчанием. Г-жа Вальтер, улыбаясь, спросила:—Но почему же?—Он отвечал:—Потому, что во всякой вещи я отыскиваю ту ее приятную сторону, которая нравится женщинам. Академия интересует дам только тогда, когда умирает кто-либо из ее сочленов. Чем больше их умирает, тем это вам приятнее. Но чтобы они умирали скорее, нужно назначать туда стариков и больных.

Заметив всеобщее удивление, он прибавил:—Впрочем, я и сам, также как вы, люблю прочесть в парижской хронике о кончине академика. Я тотчас задаю себе вопрос: «Кто его заменит?» и составляю свой список кандидатов. Это игра, милая забава, в которую играют во всех парижских салонах при кончине каждого смертного. «Игра в смерть и в сорок старцев».

Дамы, еще не совсем оправившись от смущения, уже начали улыбаться, настолько верно было его замечание.

Он закончил подымаясь:—Это вы, милостивые госу-

дарыни, выбираете их, и выбираете только для того, чтобы они умирали. Назначайте же самых старых, самых дряхлых, и не заботьтесь ни о чем остальном.

Затем он удалился, грациозно раскланявшись.

Как только он скрылся за дверью, одна из дам заявила:—Забавный юноша. Кто он?—Г-жа Вальтер ответила:—Один из наших сотрудников, пока еще на низшей должности, но я не сомневаюсь, что он быстро пойдет вперед.

Дюруа шел по бульвару Малерб, танцующей походкой, довольный своим уходом, бормоча: — Эффектный уход.

В этот же вечер он помирился с Рашелью.

На следующей неделе случилось два важных события: его назначили заведующим хроникой и пригласили на обед к Вальтерам. Он поставил в связь эти оба события.

«Французская Жизнь» прежде всего была финансовым предприятием; патрон занимался коммерческими спекуляциями, для которых пресса и депутатство служили только орудиями. Прикрываясь своим добродушием, он постоянно действовал под маской простака и весельчака, выбирая себе в помощники,—какого бы рода они ни были,—только испытанных им людей, казавшихся ему смелыми, искушенными пролазами. Дюруа в должности заведующего хроникой казался ему неоценимым.

До сих пор эту обязанность исполнял секретарь редакции Буаренар, старый журналист, опытный, методичный и исполнительный, как чиновник. В продолжение тридцати лет он перебивал секретарем в одиннадцати разных газетах, и это несколько не отразилось на его взглядах или образе действий. Он переходил из одной редакции в другую, как переходят из одного ресторана в другой, едва замечая, что кушанья в них несколько разного вкуса. Ни политикой, ни религиозными вопросами он не интересовался. Он отдавался всей душой газете, каких бы взглядов она ни держалась: погружался по уши в свои обязанности, неоценимый, вследствие своей опытности. Работал он, как слепой, который ничего не видит, как глухой, который ничего не слышит, как немой, который никогда не говорит. В то же время он отличался необычайной про-

фессиональной честностью и никогда не служил делу, которое не считал безусловно правым и лояльным с точки зрения своего ремесла.

Г. Вальтер, очень ценивший его, однако, мечтал передать отдел хроники другому человеку, так как считал этот отдел одним из самых важных в газете; ведь, через посредство хроники распространяются новости, всевозможные слухи, воздействующие на публику и на биржу. Нужно уметь вставить между заметкой о двух светских вечерах какую-нибудь важную вещь в форме намека. Между строк нужно заставлять угадывать, находить желаемое, опровергать еще более утверждая, или утверждать так, чтобы никто не верил данному факту. Нужно вести отдел так, чтобы в хронике всякий находил ежедневно хоть одну интересную для себя строчку, чтобы иметь читателей во всех кругах. Нужно думать обо всех и каждом, обо всех слоях общества, обо всех профессиях, о Париже и провинции, об армии и об искусствах, о духовенстве и науке, о властях и о куртизанках.

Заведующий этим отделом, имевший под своим началом целый отряд репортеров, должен быть всегда настороже, осведомленным, осмотрительным, скептиком, изворотливым, гибким, одаренным безошибочным чутьем, чтобы сразу отличить ложный слух, выбрать нужное, интересное для публики; кроме всего, он должен придать сообщению такой вид, который усиливал бы производимое им впечатление.

Г. Буаренару, несмотря на его долголетнюю опытность, не доставало изворотливости и блеска; в особенности же ему не хватало природной пронырливости, необходимой для того, чтобы угадывать тайные намерения своего патрона.

Дюруа должен был поставить дело отлично, как нельзя более подходя к составу редакции газеты, которая, по выражению Норбера де-Варенна: «лавировала между волнами государственных фондов и мелями политики».

Вдохновителями и главными руководителями «Французской Жизни» являлись с полдюжины депутатов, заинтересованных во всех спекуляциях, начинаемых или поддерживаемых ее редактором. В Палате их называли «шай-

гой Вальтера», завидуя огромным деньгам, которые они загребали вместе с ним чрез его посредство.

Форестье, заведывавший политическим отделом, был только манекеном в руках этих дельцов,—исполнителем внушаемых ими проектов. Они давали ему материал для передовиц, которые он писал дома «для спокойствия»,—как он говорил.

Для придания газете литературного характера, были приглашены два известных писателя, различного жанра: Жак Риваль, злободневный фельетонист, и Норбер де-Варенн, поэт и новеллист нового направления.

Затем были приглашены гуртом — по оптовой цене — музыкальные, художественные и театральные критики—специалист по криминологии и специалист по спорту, из массы всегда вакантных писателей «на все руки». Две светские дамы под псевдонимами «Розовое Домино» и «Белая Лапка» сообщали великосветские новости, обсуждали вопросы моды, светского этикета, хорошего тона, вплоть до сплетен из жизни высокопоставленных модниц.

И «Французская Жизнь» «носила» по волнам и мелям», управляемая всеми этими разнородными кормчими.

Дюруа еще не перестал ликовать по поводу назначения его заведующим хроникой, когда получил маленькую печатную карточку с приглашением: «Г. и г-жа Вальтер просят г. Жоржа Дюруа сделать им честь отобедать у них в четверг, двадцатого января».

Эта новая удача, свалившаяся на него, так обрадовала его, что он поцеловал приглашение, точно это было любовное письмо. Затем он отправился к кассиру, чтобы обсудить с ним важный денежный вопрос.

Заведующий хроникой имеет обыкновенно в кассе особый бюджет, из которого он платит своим сотрудникам за важные или посредственные сообщения, поставляемые ими, точно плоды, приносимые огородниками торговцу зеленью.

Для начала Дюруа было ассигновано тысяча двести франков в месяц, из которых он рассчитывал удержать себе львиную долю.

Кассир, уступая его настойчивым домогательствам, выдал ему, наконец, четыреста франков вперед. В первую

минуту у него было намерение вернуть г-же де-Марель двести восемьдесят франков долгу, но он тотчас сообразил, что тогда у него останется на руках только сто двадцать франков, — сумма, которой не хватит для того, чтобы обставить приличным образом свое новое положение, и отложил платеж долга на неопределенное время..

В продолжение двух дней он был занят своим новым устройством, так как получил особый стол и ящики для корреспонденции в огромной комнате, где помещалась вся редакция. Он занимал один угол комнаты, в то время как в другом виднелась черноволосая, несмотря на преклонный возраст, голова Буаренара, склоненная над бумагами.

Длинный стол посреди комнаты занимали приходящие сотрудники. Обычно же он служил сиденьем, на которое усаживались, свесив ноги за борт, или по турецки—верхом. Часто вокруг него собирались пять, шесть человек и занимались игрой в бильбоке, напоминающая китайских уродцев, уморительно усевшихся на корточках.

Дюруа, в конце концов, тоже пристрастился к этому развлечению и быстро прогрессировал в нем под руководством Сен-Потена.

Форестье, все более и более ослабевавший, передал ему свое прекрасное, новое бильбоке, находя его немного тяжелым, и Дюруа подкидывал своей мощной рукой большой черный шар, привязанный к веревке, считая про себя:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

В первый раз ему удалось поймать подряд двадцать раз в день, когда его пригласили обедать к г-же Вальтер: «Счастливы день,—подумал он,—все удается». Искусство его игры уже создало ему некоторую известность в редакции «Французской Жизни».

Он рано ушел из редакции, чтобы иметь время одеться, и шел по Лондонской улице, когда увидал идущую перед ним женщину, напоминавшую походкой г-жу де-Марель. Он почувствовал, как его бросило в жар и сердце его заколотилось. Перешел улицу, чтобы видеть ее в профиль. Она остановилась, чтобы тоже перейти. Он увидел, что ошибся, и вздохнул с облегчением.

Часто он задавал себе вопрос: Как он должен себя ве-

сти при встрече с ней? Поклониться или сделать вид, что он ее не узнал?

«Я ее не увижу», подумал он.

Было холодно — канавки подернуты льдом. Но на тротуарах сухо и светло от зажженного газа.

Вернувшись домой, молодой человек подумал: «Мне пужно переменить квартиру. Эта мне теперь не годится». Он чувствовал радостное возбуждение, готов был бегать по крышам и повторять вслух, прогуливаясь между окном и постелью:

— Мне взлет? Да, я сделаю карьеру! Нужно написать отцу.

От времени до времени он писал родителям, и письмо всегда вносило радостное оживление в маленький нормандский кабачок, — на краю дороги, на вершине холма, внизу которого лежит Руан, в широкой долине Сены.

Иногда и он получал синий конверт, надписанный крупным дрожащим почерком, и неизменно находил одни и те же строки в начале письма: «Любезный сын, сим уведомляю, что мы — я и мать твоя — здоровы. В округе ничего нового. Впрочем, сообщая тебе...»

Он живо принимал к сердцу все деревенские новости, интересы соседей, состояние урожая и жатвы.

Он повторял, завязывая перед своим маленьким зеркалом белый галстук:

— Нужно написать отцу завтра же. Если бы старик видел меня сегодня вечером в том доме, куда я иду, вот бы он удивился! Чорт возьми! Сейчас я отправлюсь на обед, какой ему никогда и не снился!

И ему вдруг представилась их мрачная кухня, позади залы пустого кафе, — кастрюли, желтеющие по стенам, кошка на очаге, с мордой, обращенной к огню, в позе химеры на корточках, деревянный стол, засаленный от времени и пролитых напитков, дымящаяся миска с супом посередине, мерцающая свеча между двумя тарелками. И представились старики — отец и мать — двое крестьян, хлебляющие суп маленькими глотками. Ему знакомы все морщинки их старых лиц, малейшие движения их рук и головы. Также он знал все, что они говорят каждый вечер, сидя друг против друга за ужином.

Он подумал: «Следовало бы мне их навестить».

Окончив одеваться, погасил свечу и спустился вниз.

На большом бульваре на него накинута профессионалка.

Он отвечал им, отдергивая руку: — Оставьте меня в покое! — с таким возмущением, будто они его оскорбили, обругали...

За кого они его принимают? Эти шлюхи не умеют различать мужчин... Он чувствовал на себе черный фрак, надевший, чтобы идти на обед к богатым, известным, влиятельным людям, и это давало ему ощущение новой личности, точно он уже стал другим человеком, членом настоящего, высшего общества.

Он уверенно вошел в переднюю, освещенную высокими бронзовыми канделябрами, и вручил развязным движением палку и пальто двум лакеям, подбежавшим к нему. Все залы были освещены. Г-жа Вальтер принимала во второй, самой большой. Она встретила его очаровательной улыбкой и представила двум господам, пришедшим раньше его, — г. Фирмину и г. Ларош-Матье, депутатам, анонимным редакторам «Французской Жизни». Г. Ларош-Матье пользовался в газете выдающимся авторитетом, благодаря своему влиянию в Палате. Никто не сомневался, что он сделается со временем министром. Затем пришли супруги Форестье — она, восхитительная в своем розовом туалете. Дюруа удивился, заметив ее интимность с обоими депутатами. Она проболтала минут пять, уединившись в угол за камином, с г. Ларош-Матье. Шарль имел измученный вид. Он очень похудел за последний месяц и беспрестанно каплял, повторяя: — Я должен конец зимы провести на Юге.

Норбер де-Варенн и Жак Риваль пришли вместе. Затем из задних комнат появился г. Вальтер с двумя дочерьми, — в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Одна была некрасива, другая хорошенькая.

Дюруа хотя знал, что патрон был человек семейный, все-таки удивился. Никогда он не думал о дочерях своего начальника, как не думают о далеких странах, которых никогда не увидят. К тому же представлял их себе малень-

кими, а вдруг увидел взрослых барышень, и почувствовал беспокойство, которое ощущают при перемене жизни.

Они протянули ему руки одна за другой, а затем уселись перед маленьким, предназначенным для них столом, где начали перебирать катушки шелка в корзиночке.

Ожидали кого-то еще; все молчали, смущенные, как это бывает с людьми разных профессий, сходящимися на обед после различно проведенного дня.

Дюруа, от нечего делать, стал рассматривать стены, и г. Вальтер бросил ему издали, видимо желая похвастаться:—Вы рассматриваете мои картины,—подчеркивая слово «мои».

— Я вам их покажу,—и он взял лампу, чтобы можно было рассмотреть подробности.

— Здесь пейзажи.

По середине стены висела большая картина Гильме «Берег Нормандии во время грозы». Под нею, «Лес» Гарпиньи, затем «Равнина Алжира» Гильоме, с верблюдом на горизонте, похожим на какое-то странное сооружение.

Господин Вальтер перешел к следующей стене и возвестил тоном церемониймейстера:—Великие мастера!—Это были четыре картины: «Посещение больницы» Жерве, «Жница» Бастьен-Лепаж, «Вдова» Бурго и «Казнь» Жан-Поль-Лорэна. Последняя картина изображала вандейского священника, расстреливаемого у церковной ограды отрядом «синих».

Переходя к следующей стене, патрон сказал с улыбкой:—Здесь легкий жанр.—Прежде всего бросилась в глаза картина Жана Бери, названная «Вверху и внизу». Она изображала хорошенькую парижанку, взбирающуюся на ходу на лесенку трамвая. Ее голова уже на уровне имперьяла и мужчины, сидящие на нем, с жадным любопытством приветствуют появление юного личика, в то время, как стоящие внизу рассматривают ноги молодой женщины с выражением досады и вожделения.

Господин Вальтер, держа лампу в руке, повторял с лукавым смешком:—Каково? занято? ведь, правда, занято?

Затем он осветил «Спасение утопающей» Ламбера. Посредине убранного после обеда стола, котенок на корточках, с недоумением и вниманием, рассматривает муху,

утонувшую в стакане воды. Он уже поднял лапки, готовый схватить насекомое быстрым движением. Но еще не решился, колеблется. Что ему делать?

Затем патрон показал «Урок» Детайля, изображающий солдата в казарме, обучающего пуделя бить в барабан, заметив:—Остроумно!

Дюруа одобрительно смеялся и восхищался:—Как это прелестно, как очаровательно...

Вдруг он остановился, услышав позади себя голос вошедшей г-жи де-Марель.

Патрон продолжал освещать картины, объясняя их.

Теперь он показывал акварель Мориса Лелуара «Препятствие». Она изображала носилки, которым преграждал путь бой двух уличных молодцов, дравшихся, как геркулесы. Из отверстия носилок виднелось восхитительное женское личико... смотревшее... терпеливо, спокойно, даже с некоторым удивлением на драку расшвиравшихся мужчин.

Г-н Вальтер продолжал:—У меня есть еще картины в других комнатах, но они менее известных художников. Здесь у меня избранный салон. Сейчас я покупаю молодых, еще неизвестных художников, и держу их пока в задних комнатах, выжидая время, когда их авторы прославятся.—Затем он произнес шопотом:—Теперь как раз момент купить картины, художники подыхают с голоду. Они все сидят без гроша... без гроша...

Но Дюруа ничего не видел, слушал и не понимал. Г-жа де-Марель была здесь, позади него. Что ему делать? Если он ей поклонится, вдруг она повернется спиной, или обругает его? Если же он не подойдет, что она подумает?

Он сказал себе:—Я все-таки повременю.—Он был так расстроен, что одну минуту подумал притвориться больным и уйти домой. Осмотр картин был кончен. Патрон поставил лампу и поздоровался с новой гостьей, между тем как Дюруа снова принялся рассматривать один картины, точно он еще не вполне ими налюбовался.

Мысли его спутались. Что ему делать? Он слышал голоса, отрывки разговора. Г-жа Форестье позвала его:—Пожалуйста, г. Дюруа.—Он побежал к ней—она хотела его познакомить с одной своей приятельницей, которая устраи-

рала празднество, и хотела, чтобы об этом появилась заметка в хронике «Французской Жизни».

Он пробормотал:—Разумеется, сударыня, разумеется...

Г-жа де-Марель теперь находилась совсем близко от него. Он не осмеливался повернуться, чтобы уйти. Вдруг ему показалось, что он лишается рассудка: она сказала громко:—Здравствуйте, Милый Друг! что вы не хотите меня узнавать?

Он стремительно повернулся на каблуках. Она стояла перед ним улыбающаяся, глядя на него весело и ласково. И протягивала ему руку.

Он взял ее, трепеща, опасаясь какой-нибудь хитрости или ловушки. Она прибавила искренно:

— Что с вами случилось? Вас нигде не видно.

Он залепетал, тщетно стараясь овладеть собой:

— У меня была масса дел, масса дел. Г-н Вальтер возложил на меня новую обязанность, которая требует от меня бездны работы.

Она ответила, глядя ему в глаза, с искренним расположением:—Знаю, но это не основание забывать ваших друзей.

Разговор был прерван появлением толстой дамы, декорированной, с красными руками и красными щеками, одетой и причесанной с претензией; она выступала так грузно, что при каждом шаге чувствовалась увесистость ее бедер.

Заметив, что ей оказывают большое внимание, Дюруа спросил у г-жи Форестье:

— Кто эта особа?

— Виконтесса де-Персемюр, подписывающаяся псевдонимом «Белая Лапка».

Он был поражен и еле удержался от того, чтобы не расхохотаться:—Белая Лапка! Белая Лапка!—Я представлял себе молодую женщину вроде вас! Так вот она какая, Белая Лапка! Да, она забавная, очень забавная.

Слуга, появившийся в дверях, возвестил:

— Обед подан.

Обед был банально весел, один из тех обедов, на которых говорят обо всем и ни о чем. Дюруа сидел между старшей некрасивою дочерью патрона, Розой и г-жею

де-Марель. Последнее соседство его несколько смущало, хотя она имела очень непринужденный вид и болтала со свойственным ей остроумием. Сначала он растерялся и не мог найти, как музыкант, потерявший верный тон. Затем, мало-по-малу, он овладел собою и стал с нею перелаздываться, обмениваясь интимными, почти чувственными взорами.

Вдруг он почувствовал, как кто-то коснулся под столом его ноги. Он тихонько придвинул ногу и встретился с ногой соседки, которая не испугалась его прикосновения. В этот момент они не разговаривали, обернувшись оба к своим соседям по другую сторону. Дюруа, с бьющимся сердцем, коснулся ее своим коленом. Она ответила ему легким пожатием. Тогда он понял, что их связь возобновится.

О чем они говорили потом? Кажется ни о чем; но их губы вздрагивали всякий раз, когда они взглядывали друг на друга.

Молодой человек, желая все же быть любезным с дочерью своего начальника, обращался от времени до времени к ней с каким-нибудь вопросом. Она отвечала, так же, как ее мать, никогда не задумываясь над тем, что сказать.

По правую сторону г. Вальтера сидела виконтесса де-Персемюр, разыгрывая из себя принцессу; и Дюруа, еле удерживавшийся от смеха при ее виде, спросил тихонько у г-жи де-Марель:

— Вы знаете другую, которая подписывается: «Розовое Домино?»

— Да, отлично знаю: баронессу Ливар?

— Она—вроде этой толстухи?

— Нет. Но тоже комичная. Высокая, шестидесятилетняя старуха, сухая как палка, с накладными буклями, вставными зубами,—туалеты и суждения эпохи Реставрации...

— Где они откопали этих монстров?

— Разночинцы из буржуазии всегда подбирают отбросы знати.

— Других причин нет?

— Никаких.

Затем, между патроном, двумя депутатами, Норбер де-Варенном и Жаком Ривалем завязался политический спор, продолжавшийся вплоть до десерта.

Когда вернулись в салон, Дюруа снова подошел к г-же де-Марель, и глядя ей в глаза:—Хотите, я вас провожу сегодня домой?

— Нет.

— Почему?

— Потому, что мой сосед г. Ларош-Матье завозит меня каждый раз, когда я здесь обедаю.

— Когда я вас увижу?

— Приходите завтра ко мне завтракать.

И они расстались, ничего больше не сказав.

Дюруа скоро ушел, найдя вечер скучным. Спускаясь с лестницы, он догнал Норбер де-Варенна, который тоже уходил. Старый поэт взял его под руку. Не опасаясь больше соперничества молодого человека в газете, так как они работали в совершенно разных отделах, он высказывал ему теперь покровительственную благосклонность.

— Вот что, не проводите ли вы меня немного по пути?— сказал он.

Дюруа отвечал:—С радостью, дорогой учитель.

И они медленно начали спускаться вниз по бульвару Малерб.

Ночь была пустынная, безлюдная; одна из тех жутких ночей, когда звезды кажутся выше, пространства—необъятнее, а ледяной ветер, приносит откуда-то из-за облачных сфер дыхание смерти...

Первые минуты они оба молчали. Потом Дюруа, чтобы начать разговор, сказал:

— У этого Ларош-Матье очень интеллигентный и образованный вид...

Старый поэт пробормотал:—Вы находите?

Молодой человек удивился, засмеялся:—Да; говорят, что он один из самых даровитых людей в Палате.

— Возможно. Среди слепых и кривой кажется королем. Все эти люди,—ничтожества, так как все их мысли заключены между двух стен—наживы и политики.—Это олухи, мой милый, с которыми невозможно ни о чем говорить, ни о чем, что нам дорого. Мысли их засорены, подоб-

но тому, как засорена Сена в Аньере. Ах! как трудно найти человека с размахом мысли, дающей вам ощущение необъятного простора, который вдыхаешь на берегу моря. Я знал нескольких таких людей, но они умерли.

Норбер де-Варенн говорил отчетливым, но сдержанным голосом, который прозвучал бы среди тишины ночи, если бы он дал ему волю. Он казался возбужденным и печальным,—тою печалью, которая подчас обнимает душу, заставляя ее дрожать, как земля, охваченная морозом. Он продолжал:

— Впрочем, не все ли равно, немного больше, или немного меньше ума,—раз все идет к одному концу!

Он замолчал. Дюруа, который чувствовал себя в этот вечер очень весело, сказал, улыбаясь:—Вы сегодня мрачно настроены, дорогой учитель.

Поэт ответил:—Это мое обычное настроение, дитя мое, и оно также станет вашим через несколько лет. Жизнь—это—восхождение на гору. Пока взбираешься, смотришь на вершину и радуешься; но, достигнув цели, видишь спуск, внизу которого смерть. Взбираешься медленно, но спуск—почти мгновенный. В вашем возрасте бываешь настроен радостно. Надеешься на многие вещи, которые, впрочем, никогда не сбываются. В моем—не ожидаешь уже ничего... кроме смерти.

Дюруа начал смеяться:—Чорт возьми, от ваших слов меня мороз по коже подирает.

Норбер де-Варенн продолжал:—Нет, теперь вы меня не поймете, но когда-нибудь вспомните о моих словах.—Понимаете ли, наступает время, и для многих очень рано, когда перестают смеяться, как говорят, потому, что поверх всего видишь ужасную маску смерти. О! теперь вы даже не поймете этого слова—смерть. В вашем возрасте это пустой звук. В моем—оно ужасает.

— Да, начинаешь его понимать вдруг, не зная почему и отчего, и тогда вся жизнь внезапно меняет свой вид. Вот уже пятнадцать лет, как я это чувствую... Внутри меня что-то гложет, точно хищный зверь... Я чувствую, как он подтачивает меня изо дня в день, постепенно, точно дом, который должен рухнуть. Сознание этого разрушения

так изменило меня во всех отношениях, что я сам себя не узнаю. Во мне не осталось ничего напоминающего того бодрого, радостного и сильного человека, каким я был в тридцать лет. Я присутствовал при том, как окрашивались мои черные волосы в белый цвет, и с какой злорадной и искусной медлительностью! У меня отняли мою упругую кожу, мои мускулы, мои зубы, все мое прежнее тело, оставив мне одну тоскующую душу, которую тоже скоро возьмут. Да она истощила меня, подлая, она разрушила медленно и мучительно все мое тело, секунда за секундой. Теперь я чувствую смерть во всем, к чему бы я ни прикоснулся. Каждый шаг приближает меня к ней, каждое движение, каждый вздох ускоряет это проклятое шествие. Дышать, спать, пить, есть, работать, мечтать, все, что мы делаем, приближает нас к смерти. В конце-концов, жить—это, значит, умирать.

— О! вы узнаете все это!—продолжал он.—Если вы только подумаете четверть часа, вы поверите этому... Чего вы ожидаете? Любви? Еще несколько поцелуев, и вы потеряете способность ею наслаждаться... Ну, а кроме того, что? Деньги? Для чего? Покупать женщин? Завидная доля! Об'едаться, жиреть, и кричать ночи напролет от припадков подагры... Еще что? Слава? К чему она? Если не является в виде любви? Ну, а потом, что? В конце-концов, всегда смерть. Я вижу ее теперь часто так близко, что мне хочется протянуть руку, и спугнуть ее. Она царит повсеместно на земле, наполняет пространство... Я открываю ее повсюду. Маленькие животные, раздавленные посреди дороги, падающие листья, седой волос в бороде друга, все это надрыгает мне душу воплем: «Вот она!» Она отравляет мне все, что я делаю, все что я вижу, все что я ем и пью, все что люблю,—лунный свет, солнечный восход, необъятное море, прекрасные реки, дивные летние вечера, когда так легко дышется!

Он шел медленно, немного запыхавшись, точно говоря сам с собою, казлось, позабыв, что его слушают. Начал снова:

— И никогда ни одно существо не возвращается на землю... Сохраняют снимки, изображения, посредством которых можно воспроизвести предметы, но мое тело, мое

лицо, мои мысли, мои желания никогда не возродятся вновь. И в то же время появятся миллионы, миллиарды существ, у которых на нескольких квадратных сантиметрах будут также расположены нос, глаза, лоб, щеки, рот, у которых будет такая же душа, как у меня, но «я» не вернусь, и ничто из моего существа не появится вновь в этих бесчисленных и разнородных творениях, бесконечно различных и похожих друг на друга. К чему привязываться? К кому обратиться вопль отчаяния? Во что верить? Все религии нелепы, с их наивною моралью и эгоистическими, идиотскими обещаниями. Одна только смерть несомненна.

Он остановился, взял Дюруа за кончики отворотов его пальто и сказал с расстановкой: — Подумайте об этом, молодой человек,—думайте в течение дней, месяцев, годов, и жизнь представится вам совсем с другой стороны. Постарайтесь освободиться ото всего того, что вас связывает, сделайте сверхъестественное усилие отрешиться при жизни от вашего тела, ваших интересов, ваших мыслей и всего человеческого, чтобы обратить внимание на другое, и вы поймете, как мало значения имеют распри романтиков и натуралистов, и обсуждение бюджета...

Он пошел более быстрым шагом.—Вы также узнаете ужас безнадежности. Вы будете биться, утопающий, погибающий в волнах сомнений. Вы будете кричать во все стороны: «Помогите!»—но никто вам не ответит. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении,—но никто не придет. Почему суждено нам так страдать? Потому что мы являемся на свет по законам материи, а не абстракции; но благодаря прогрессу мысли, образовалось несоответствие между требованиями нашего возросшего духа и подвижными условиями нашей жизни. Посмотрите на людей средних: если только на них не обрушатся большие несчастья, они чувствуют себя удовлетворенными, не страдая мировой скорбью. Животные также не страдают ею.

Он снова остановился, подумал несколько секунд, потом с усталым и покорным видом:—Я—погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни детей, ни Бога.

— И прибавил, через мгновение:—Одни только мои стихи.

Потом, подняв голову к небу, где сверкала бледная луна, продекламировал:

«Ищу разгадки этой туманной тайны

В черном и пустынном небе, где витает бледное светило».

Они дошли до моста Согласия, в молчании перешли его, потом оботнули дворец Бурбонов. Норбер де-Варенн снова заговорил:

— Женитесь, мой друг, вы не знаете, что значит жить одному в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь ужасную тоску; одиночество дома, вечером, близ очага... в эти часы мне кажется, что я совершенно один на земле, окруженный неведомыми опасностями, неизвестными и ужасными вещами; и перегородка, отделяющая меня от соседа, которого я не знаю, отделяет его от меня также, как далеки звезды, видимые из моего окна. Меня охватывает нервная дрожь, ужас и страх, и безмолвие стен приводит меня в отчаяние. Так бесконечно, так печально безмолвие комнаты, в которой живешь один. Это безмолвие угнетает не только тело, но и душу, и каждый шорох, каждый скрип мебели заставляет содрогаться, потому что не ожидаешь никакого звука в этом мрачном жилище.

Он помолчал еще немного, потом прибавил:—Под старость, все-таки хорошо иметь детей!

Они дошли до середины Бурбонской улицы. Поэт остановился перед высоким домом, позвонил, пожал руку Дюруа, и сказал ему:—Позабудьте всю эту старческую брехню, молодой человек, и живите сообразно вашему возрасту; до свидания!

И он исчез в темном проходе.

Дюруа продолжал свой путь с тяжелым сердцем. Ему казалось, что перед ним открылась пропасть, наполненная костями, в которую неминуемо придется и ему когда-нибудь полететь! Он прошептал: — Чорт возьми, должно быть ему не очень-то весело живется. Я бы не взял кресла первого ряда, чтобы присутствовать при прохождении его мыслей, чорт бы его побрал!

Остановившись, чтобы дать пройти раздушенной даме,

выходившей из кареты в под'езд дома, он жадно вдохнул аромат вервены и ириса, пронесшийся в воздухе. И вдруг он затрепетал от радости и ожидания; и воспоминание о г-же де-Марель, которую он увидит завтра, охватило его всецело.

Все улыбалось ему,—жизнь посылала ему нежные приветствия. Как хорошо, когда сбываются надежды!

Он заснул, опьяненный радостью, и рано встал, чтобы перед свиданием пройти по авеню Булонского леса.

Ветер переменялся, погода за ночь разгулялась: воздух теплый,—грело апрельское солнце. Завсегдатаи Булонского леса, вышли на прогулку, соблазненные ясным и мягким днем.

Дюруа медленно шел, впивая легкий, сладостный воздух весны... Он прошел триумфальную арку, и пошел по большой аллее, по стороне противоположной той, где катились верхом. Он смотрел на скакавших и галопировавших мужчин и женщин, известных богачей, но теперь он им не завидовал. Он знал их почти всех по именам, знал сумму их состояний и скрытую сторону их жизни, так как его профессия сделала из него нечто вроде календаря знаменитостей и скандальных происшествий.

Проезжали амазонки, стройные, точно закованные в темное сукно, с высокомерным и неприступным видом, свойственным многим женщинам на лошади; Дюруа забавлялся произносом вполголоса, как читают в церквях молитвы, имена, титулы и качества любовников, которых они имели, или которых им приписывали; иногда, вместо того, чтобы сказать:

Барон де-Танкеле,

Принц де-ла-Тур-Ангейран,

он бормотал: Остров Лесбос,

Луиза Мишо, из Водевиля,

Роза Маркетэн, из Оперы.

Эта игра очень его забавляла, как если бы он открыл, что под внешностью аскета скрывается бесконечное бесстыдство, и это радовало, утешало и ободряло его.

Потом он сказал вслух:—Куча лицемеров! И стал искать глазами наездников, о которых слышал самые скандальные истории.

Он увидел многих подозреваемых в шулерстве в клубах, для которых это служило единственным источником, единственно надежным источником доходов.

Другие, тоже известные, жили исключительно на доходы своих жен, что было всем известно; другие, как говорили, на доходы своих любовниц. Многие уплатили свои долги (долги чести), так что никто никогда не узнал, откуда явились эти деньги (подозрительный секрет). Он увидел финансовых дельцов, огромное состояние которых имело своим источником происхождения воровство, но которых принимали повсюду в самых знатных домах, затем людей, пользовавшихся таким почетом, что мелкие буржуа снимали шапки при встрече с ними, но наглые спекуляции которых, в больших национальных предприятиях, не составляли тайны для тех, кто знал подоплеку света.

Все они имели высокомерный вид, наглый взгляд, презрительную улыбку,—те, которые носили бакенбарды и те, у которых были одни усы.

Дюруа продолжал смеяться, повторяя:—Да, уж нечего сказать, шайка гадов, шайка проходимцев!

Проехала открытая коляска, грациозная, низенькая, запряженная двумя белыми пони, с развевающимися гривами и хвостами, управляемая маленькой блондинкой,—известной куртизанкой, позади которой сидели два грума. Дюруа остановился; ему захотелось поклониться, приветствовать эту жрицу любви, нагло выставившую на показ, в часы гулянья ханжей-аристократов, безумную роскошь, заработанную ею наложничеством. Быть может, он смутно почувствовал, что между ними существует некоторое родство, некоторая природная связь, что они принадлежат к одной породе, имеют одну душу, и что его триумфы будут так же циничны и показны.

Назад он шел медленнее, чувствовал себя удовлетворенным, и пришел немного раньше назначенного времени к своей бывшей любовнице.

Она приняла его с протянутыми губами, будто между ними не произошло никакой ссоры, и даже позабыла через несколько секунд благоразумную осторожность, которую она соблюдала дома относительно ласк... Потом она сказала, целуя завитые кончики его усов:—Ты не знаешь,

какое у меня огорчение, мой милый? Я рассчитывала на целый медовый месяц, и вот, вдруг муж мой свалился мне на шею на шесть недель; взял отпуск. Но я не хочу оставаться все эти шесть недель без тебя, особенно после нашей маленькой размолвки, и вот что я придумала. Ты придешь меня приглашать обедать на понедельник, я ему уже говорила о тебе. Я познакомлю тебя с ним.

Дюруа оставался несколько секунд в нерешительности; ему еще никогда не случалось встречаться лицом к лицу с человеком, женой которого он обладал. Он боялся, чтобы его что-нибудь не выдало,—взгляд, слово, что-нибудь в этом роде.

Он пробормотал:—Нет, я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.—Она настаивала, очень удивленная, стоя перед ним и делая большие глаза.—Но почему? Что за чудачество? Ведь это самая обыкновенная вещь! Я не думала, что ты такой дурак!

Он обиделся:—Ну, ладно, я приду обедать в понедельник.

Она прибавила:—Чтобы не возбудить подозрений, я приглашу Форестьеров, хотя я терпеть не могу принимать у себя гостей.

Вплоть до понедельника Дюруа совсем не думал о предстоящем свидании; и уже поднимаясь по лестнице к г-же де-Марель, он почувствовал странное беспокойство, не потому, чтобы ему было неловко пожать руку мужу,—есть его хлеб, пить его вино; но он смутно боялся чего-то, сам не зная чего...

Войдя в салон, он, по обыкновению, стал ожидать... Затем, дверь отворилась, и он увидел высокого седобородого мужчину, почтенной и корректной наружности, с орденом в петличке; он подошел к нему и изысканно вежливо сказал:—Моя жена много мне говорила о вас, сударь, и я очень рад с вами познакомиться.

Дюруа пошел ему на встречу, стараясь придать своему лицу выражение чрезвычайной сердечности; тот пожал ему руку с преувеличенной выразительностью. Потом они сели и не знали о чем говорить.

Г. де-Марель подбросил в камин полено и спросил:—Вы уже давно занимаетесь журналистикой?

Дюруа отвечал:—Всего лишь несколько месяцев.

— А! Вы быстро сделали карьеру...

— Да, довольно быстро.—И он принялся говорить совершенно не думая, шаблонными, общими местами, как это часто бывает между людьми совершенно не знакомыми. Теперь он успокоился и начинал находить положение довольно забавным. Смотрел на серьезное и важное лицо г. де-Мареля, чувствуя непреодолимое желание расхохотаться, и думал: «Я тебе наставляю рога, старикан, я тебе наставляю рога». И его охватило тайное злорадство карманника, которого не удалось поймать с поличным,—преступная восхитительная радость. Ему вдруг захотелось сделать с другом этого человека, добиться его доверия, заставить его рассказать все сокровенные тайны его жизни.

Г-жа де-Марель вошла в комнату и, бросив на них улыбающийся и непроницаемый взгляд, подошла к Дюруа, который не посмел в присутствии мужа поцеловать ей руку, как он это всегда делал.

Она была весела и спокойна, как особа, привыкшая ко всему, находившая в своем откровенном цинизме эту встречу естественной и простой. Пришла Лорина и протянула с застенчивым видом свой лоб Жоржу, стесняясь в присутствии отца... Мать сказала ей:—Что-ж ты не называешь его сегодня «Милый Друг?»—Девочка покраснела, как если бы позволили относительно ее большую нескромность, разоблачили, сняли покровы с сокровища ее души...

Когда приехали Форестье, все ужаснулись виду Шарля. Он страшно похудел и побледнел за одну неделю и кашлял, не переставая. Однако, он сообщил, что они в будущий четверг едут в Канн, по настоятельному требованию врача.

Они рано ушли домой, и Дюруа сказал, повачивая головой:

— Я думаю, что он протянет еще недолго,—не доживет до старости.

Г-жа де-Марель подтвердила спокойным тоном:

— О!—это попибший человек! Вот, кому посчастливилось найти жену—так это ему.

Дюруа спросил:—Она ему много помогает?

— Можно сказать, что она делает все. Следит за всем, знает всех, делая вид, что ни с кем не поддерживает знакомства; добивается всего, чего хочет! О! Это тонкая штучка и интриганка, каких мало. Настоящее сокровище для человека, который хочет сделать себе карьеру.

Дюруа спросил:—Она, конечно, скоро найдет себе другого мужа?

Г-жа де-Марель ответила:—Да, я бы не удивилась, если бы узнала, что она имеет в виду кого-нибудь... Какого-нибудь депутата... Если только... не встретятся большие моральные... препятствия... Впрочем,—я ничего не знаю.

Г. де-Марель пробормотал с раздражением:

— Ты всегда подозреваешь в людях такие вещи, которые мне не нравятся. Не будем вмешиваться в чужие дела. Пусть каждый поступает по своей совести. Хорошо было бы, если бы все люди руководствовались этим правилом.

Дюруа ушел, с беспокойным сердцем и смутными мыслями в голове.

На следующий день он отправился к Форестье и нашел их за укладкою... Шарль лежал на диване, преувеличенно тяжело дыша, и повторял:—Уже месяц, как я должен был бы уехать...—Потом он дал Дюруа целый ряд инструкций относительно газеты, хотя все уже было улажено и решено с г. Вальтером.

Когда Жорж уходил, он энергично пожал руку приятелю:—Ну, дружище, до скорого свидания!

Г-жа Форестье проводила его до двери. Он сказал ей:—Вы не забыли нашего договора? Мы, ведь, друзья и союзники, не правда ли? Значит, если я вам понадоблюсь для чего бы то ни было, не стесняйтесь. Телеграмма или письмо,—и я буду тотчас к вашим услугам.

Она прошептала:—Благодарю вас,—я не забуду.—И ее взгляд говорил тоже: «Благодарю», но еще с большею нежностью.

Спускаясь с лестницы, Дюруа встретил медленно поднимавшегося г. де-Водрэка, которого он уже раз встретил у нее. У него был опечаленный вид, быть может, вследствие этого отъезда?

Желая показаться светским человеком, журналист пре-

дупредительно поклонился. Тот ответил вежливо, но слегка свысока.

Супруги Форестье уехали в четверг вечером

VII

Благодаря отъезду Шарля, положение Дюруа в редакции «Французской Жизни» значительно улучшилось. Он подписался под несколькими передовицами и под хроникой, в виду желания редактора, чтобы каждый автор отмечал своей подписью все доставленные им рукописи. Ему приходилось участвовать в полемике и выходить из них победителем. Его продолжительное сношение с государственными лицами, мало-по-малу, пригодились ему к роли ловкого и проницательного сотрудника политического отдела.

На горизонте его жизни было одно только облачко. Одна воинствующая газетка беспрестанно нападала на него, атакуя его в лице введущего хронику «Французской Жизни», креатуру г. Вальтера, как называл его анонимный сотрудник листка, называющегося «Перо». Каждый день в ней печатались клеветы, язвительные замечки и всякого рода инсинуации.

Жак Риваль сказал однажды Дюруа:

— Вы слишком терпеливы.

Тот смущенно ответил: — Что делать! Тут нет прямого нападения.

Однажды, когда он входил в залу редакции, Буаренар подал ему номер «Пера».

— Опять неприятная заметка по вашему адресу.

— Относительно чего?

— Пустяки. По поводу ареста госпожи Обер агентом полиции нравов.

Жорж взял поданную ему газету и прочитал статью, озаглавленную: «Дюруа забавляется».

«Знаменитый репортер «Французской Жизни» объявил нам сегодня, что госпожа Обер, об аресте которой агентом гнусной полиции нравов мы сообщали, существует только в нашем воображении. Но мы узнали, что эта особа жи-

вет в улице д'Экюрейль, № 18, на Монмартре. Вообще, мы прекрасно понимаем, какой интерес или какие интересы заставляют агентов Вальтеровской шайки защищать агентов префекта полиции, милостиво относящихся к их коммерческим проделкам. Что же касается вышеупомянутого репортера, то он лучше бы сделал, если бы сообщал нам те прекрасные сенсационные новости, тайной которых он владеет, известия о случаях смерти, опровергаемые на другой день, о войнах, которых не было, о важных словах государей, не произносимых ими, или, наконец, все сведения, касающиеся «доходов Вальтера», или даже маленькие пикантности о вечерах у женщин, пользующихся успехом, или о превосходных качествах некоторых продуктов, доставляющих не малый доход иным из наших собратьев».

Молодой человек был скорее удивлен, чем раздражен, понимая, что под этим кроется нечто для него неприятное.

Буаренар продолжал: — Кто доставил вам эти сведения?

Дюруа тщетно старался припомнить. — Сен-Потен! — воскликнул он вдруг.

Потом снова перечитал статью «Пера» и покраснел, возмущенный обвинением в продажности.

— Значит, они подозревают, что мне платят за...

Буаренар прервал его: — Да, чорт возьми! Это очень неприятно для вас. Патрон серьезно относится к таким вещам. В «хронике» это может случаться так часто...

Как раз в это время вошел Сен-Потен. Дюруа подбежал к нему:

— Вы читали заметку в «Пере»?

— Да, и я только что был у госпожи Обер. Она, действительно, существует, но не была арестована. Этот слух не имеет никакого основания.

Тогда Дюруа бросился к патрону, встретившему его с некоторой холодностью и недоверием. Выслушав, в чем дело, г. Вальтер ответил: — Поезжайте сами к этой даме и напишите такое опровержение, чтоб вас оставили в покое с этой историей. Я говорю о последствиях. Это крайне неприятно для газеты, для меня и для вас. Журналист, как жена цезаря, должен быть вне всяких подозрений.

Дюруа, в сопровождении Сен-Потена, сел в фиакр и крикнул кучеру: — 18, улица д'Экюрейль, Монмартр! Они взобрались на шестой этаж огромного дома. Им отворила старуха в шерстяной кофте: — Чего вам еще нужно! — сказала она, увидев Сен-Потена.

Сен-Потен ответил: — Я привел к вам инспектора полиции, очень желающего расспросить вас о вашем деле.

Она ввела их, говоря: — После вас приходило еще двое из какой-то газеты. — Обернувшись к Дюруа: — Это вы, сударь, желаете узнать, в чем дело?

— Да. Правда ли, что вы были арестованы агентом полиции нравов?

Она всплеснула руками: — Никогда в жизни, мой добрый барин, никогда в жизни! Вот в чем дело. Мясник, у которого я покупаю, продает свежее мясо, но зато постоянно обвешивает. Я часто это замечала, но ничего не говорила. Недавно я спросила два фунта котлет, так как я ждала к обеду дочь и зятя. И вот я вижу, что мне вешают кости от остатков, правда, котлетных, но не от моих. Я могла бы приготовить из них рагу, но если я покупаю котлеты, я не желаю пользоваться чужими остатками. Я отказалась взять. Тогда он обозвал меня старой крысой, а я его — старым мошенником. Дальше, — больше, мы так сцепились, что собрали перед лавкой больше сотни прохожих. Они так и покатывались со смеху. Наконец, подошел полицейский и предложил нам кончить наше объяснение у комиссара. Мы пошли туда, а потом нас отпустили. С тех пор я покупаю мясо в другом месте и никогда не прохожу мимо этой лавки, во избежание скандала.

Она замолчала. Дюруа спросил: — Это все?

— Больше ровнехонько ничего не было, милый барин.

Она предложила ему рюмку наливки, от которой он отказался. Старуха стала настаивать, чтобы в отчете было упомянуто о плутовстве мясника.

Вернувшись в редакцию, Дюруа написал ответ.

«Писака из «Пера», вытащив у себя перо, захотел втянуть меня в перепалку из-за одной старухи, будто бы арестованной агентом полиции нравов. Я опровергаю этот факт. Я сам видел госпожу Обер, которой, приблизительно, лет шестьдесят. Она подробно рассказала мне о

своей ссоре с мясником, обвесившим ее, когда она покупала котлеты. Ссора эта закончилась объяснением у комиссара.

Вот и вся история.

Что касается других инсинуаций сотрудника «Пера», я презираю их. Кроме того, не отвечают на подобные вещи, если их автор прячется под маской.

Жорж Дюруа.

Г. Вальтер и Жак Риваль одобрили эту заметку. Было решено, что она появится в тот же день после хроники.

Дюруа вернулся к себе, немного взволнованный и обеспокоенный. Что ему ответит его противник? Кто он такой? Почему он так грубо его преследует? Зная о скандальных столкновениях между журналистами, можно было думать, что эта история кончится плохо.

Он провел беспокойную ночь.

Перечитав на другой день свою заметку, напечатанную в газете, он нашел ее более резкой, чем она показалась ему, когда он писал ее. Он нашел, что можно было смягчить некоторые выражения.

Весь день он был тревожно настроен и опять спал плохо. Встал очень рано, чтобы поскорее купить номер «Пера», где должен был появиться ответ.

Было холодно. Сильно морозило. Застывшие ручейки вытягивались вдоль тротуаров ледяными лентами.

Газеты еще не продавались, и Дюруа припомнил тот день, когда была напечатана его первая статья: «Воспоминания африканского охотника». Его руки и ноги кочнели, причиняя ему боль, особенно в пальцах. Он принялся бегать вокруг стеклянного киоска, сквозь маленькое оконце которого виднелся только нос и красные щеки продавщицы, сидевшей на корточках возле грелки.

Наконец, посыльный передал в окошечко пакет газет, и почтенная женщина протянула Дюруа развернутый номер «Пера».

Просматривая его, он стал искать свое имя и сначала не находил. И уже было вздохнул с облегчением, когда увидел заметку, вставленную между двух линеек:

«Господин Дюруа из «Французской Жизни» написал опровержение и, опровергая, лжет. Он сознается, однако,

что госпожа Обер существует и агент водил ее в полицию. Остается только прибавить одно слово: «нравов» после слова «агент» — и этим все было бы сказано.

Но совесть некоторых журналистов на одном уровне с их талантом.

И я подписываюсь: Луи Лангретон.

Сердце Жоржа усиленно забилося. Он вернулся домой, чтобы одеться, не отдавая себе ни в чем отчета. Его оскорбили и притом так, что никакое колебание невозможно. Почему? Из-за каких-то пустяков. Из-за старухи, поругавшейся с мясником.

Хотя было только восемь часов утра, он на-скоро оделся и отправился к г. Вальтеру. Г. Вальтер уже встал и читал «Перо».

— Отступать нельзя, — торжественно сказал он вошедшему Дюруа.

Молодой человек ничего не ответил. Издатель продолжал:

— Идите к Ривалю; он обо всем позаботится.

Дюруа пробормотал какие-то бессвязные слова и отправился к хроникеру. Тот еще спал и, услышав звонок, вскочил с постели. Прочитав газету: — Чорт возьми! это невозможно. Кого вы возьмете другим секундантом?

— Я еще не знаю.

— Буаренара? — Хотите?

— Ничего не имею против.

— Вы хорошо владеете шпагой?

— Я и в руке не умею ее держать.

— Чорт возьми! — Умеете стрелять?

— Немного.

— Прекрасно. Идите и поупражнитесь, пока я все оборудую. Подождите меня минутку.

Он прошел в уборную и потом снова появился, вымытый, побритый, корректный.

— Идем, — сказал он.

Он жил в нижнем этаже маленького отеля. Они спустились в обширный погреб с закупоренными окошечками, превращенный в залу для стрельбы и фехтования.

Зажегши ряд газовых рожков, тянувшихся до глубины второго подвала, где возвышался железный манекен, окра-

шенный в красный и голубой цвета, он положил на стол две пары пистолетов новой системы, заряжающихся с казенной части, и начал командовать отрывистым голосом, словно они были на месте поединка:

— Готово? — Пали! — Раз! Два! Три!

Дюруа, сивсем растерявшись, повиновался, поднимал руки, целился, стрелял. В ранней юности он много упражнялся в стрельбе, убивая на дворе птиц из старого отцовского пистолета. Он часто попадал прямо в живот манекена.

Жак Риваль сказал одобрительно:

— Хорошо, очень хорошо, очень хорошо, дело пойдет на лад. — Покидая его:

— Стреляйте так до полудня. Вот патроны. Не жалейте истреблять их. Я зайду за вами, чтобы пойти завтракать и сообщу вам новости. — Он вышел.

Оставшись один, Дюруа пострелял немного, потом сел и задумался. Как все это было глупо! Разве от этого дело менялось? Разве после дуэли мошенник перестает быть мошенником? Что выигрывает честный человек, подставляя себя под пулю мерзавца?

Раздумывая о мрачных сторонах жизни, он припоминал рассуждения Норбера де-Варенна о скудности человеческого ума, убожестве идей и стремлений и пошлости морали. Он громко воскликнул:

— Чорт поberi! Как он прав!

Ему захотелось пить. Услышав за собой шум стекающих капель, он оглянулся и, увидев аппарат для душа, подошел к нему, чтобы напиться из крана. Потом он снова стал размышлять. В погребу было грустно, как в могиле. Глухой стук экипажей напоминал отдаленные раскаты грома. Который теперь час? Время здесь тянулось, как в темнице, где оно определяется и узнается лишь благодаря появлениям тюремщика, приносящего пищу.

Вдруг он услышал шаги и голоса. Вошел Риваль, сопровождаемый Буаренаром. Он сказал: — Все улажено!

Дюруа подумал, что все дело кончится извинительным письмом. Его сердце радостно забилося. Он пробормотал: — А!.. благодарю.

Хроникер продолжал: — Этот Лангрмон очень уступчив и принял все наши условия. Двадцать пять шагов и стрелять по команде, — подняв пистолет; в этом случае прицел верный. Вот, Буаренар, смотрите, что я вам говорю!

Взяв оружие, он стал стрелять, доказывая, что подняв пистолет, удобней целиться.

Затем он сказал: — Теперь пойдемте завтракать. Уже пора.

Они пошли в ближайший ресторан. Дюруа все время молчал.

Он ел, чтобы не подумали, что он трусит; потом отправился с Буаренаром в редакцию, где рассеянно и машинально исполнял свои обязанности. Он показался всем смельчаком.

Жак Риваль подошел к нему под вечер пожать руку. Они условились, что секунданты заедут за ним в ландо в семь часов утра и направятся в лес Везинэ, где должна состояться дуэль.

Все это произошло помимо его воли, без его участия; его мнения не спрашивали, не интересовались, — соглашается он или отказывается. Дело уладилось с невероятной быстротой; он был ошеломлен, испуган и не мог дать себе ясного отчета в том, что происходит.

Он вернулся домой около девяти часов вечера, пообедав с Буаренаром, который, из чувства преданности, не отходил от него весь день.

Оставшись один, он в течение нескольких минут взволнованно ходил по комнате большими шагами. Он был очень расстроен и не мог ни о чем думать. У него была только одна мысль: — «Завтра дуэль!..» Эта мысль не вызывала в нем ничего, кроме смутного непреодолимого волнения. Он был солдатом, он стрелял в арабов, без особенной, впрочем, опасности для себя, как если бы он на охоте стрелял в кабана.

В общем, он сделал то, что должен был сделать. Он показался таким, каким должен быть. О нем будут говорить, его одобряют, его будут восхвалять. Он сказал вслух, как говорят в минуты сильного потрясения: «Человек это — зверь!»

Он опять сел и погрузился в раздумье. Бросил на стол визитную карточку своего противника. Взял ее, хотя в течение дня перечитал ее раз двадцать: «Луи Лангрмон, 176, Монмартрская улица». Больше ничего.

Он рассматривал ансамбль букв, казавшихся ему таинственными, полными жуткого значения. «Луи Лангрмон», — кто был этот человек? Какого он возраста? Какого роста? Какое у него лицо? Неужели не возмутительно, что всякий посторонний человек, незнакомец, может внезапно разбить вашу жизнь, беспричинно, под влиянием каприза, из-за старухи, поругавшейся с мясником?

Он повторил еще раз: «Какой зверь!» Он сидел неподвижно, погруженный в задумчивость, не отрывая взгляд от визитной карточки. В нем зарождалась ненависть к этому клочку бумаги, смешанная с чувством странной боязни. Какая глупая история! Он взял валявшиеся возле него ножницы и проткнул ими напечатанное имя, как если бы он вонзил их в сердце невидимого противника.

Итак, он должен драться — драться на пистолетах? Почему он не выбрал шпаги? Он отделался бы незначительным уколом в руку, в то время как с пистолетом никогда нельзя быть уверенным в последствиях.

Он сказал: — Нужно быть смельчаком!

Звук его голоса заставил его вздрогнуть. Он оглянулся. Почувствовал, что совсем расстроен. Выпил стакан воды и лег спать. Улегшись в постель, он потушил огонь и закрыл глаза. Быстро согрелся под одеялом, хотя в комнате было холодно, но заснуть не мог. Он ворочался, лежал минут пять на спине, потом лег на левый бок, потом повернулся на правый. Ему опять захотелось пить. Он встал, напился и им овладела тревога: «Неужели я боюсь?» Почему его сердце яростно колотилось при малейшем шорохе в комнате? Когда часы стали бить, он привскочил в испуге, услышав легкий скрип пружины. Дыханье спиралось; он широко раскрыл рот.

Он стал философски рассуждать на тему: боится он, или нет. Нет, он не мог бояться, потому что решил идти до конца, бесповоротно решил драться и, при этом, выказать мужество. Но чувствуя себя настолько расстроен-

ным. он спросил себя: «Можно ли испытывать страх против воли?» Его охватывала неуверенность, тревога, боязнь. Если он подпадет влиянию силы, более могущественной, более неотразимой, чем его собственная воля, что тогда случится? Да, что может случиться?

Конечно, он пойдет на место поединка, он этого хочет. Но если он испугается? потеряет сознание? Он думал о своем положении, своей репутации, своем будущем.

Он почувствовал странное желание встать и поглядеть на себя в зеркало. Зажег свечу. Взглянув на свое лицо, отразившееся в полированном стекле, он еле узнал себя; ему показалось, что он никогда не видел себя таким. Его глаза стали огромными, и он был бледен, очень бледен.

И, словно пуля, его пронзила мысль: «Завтра в это время я, может быть, буду мертв». Сердце опять заколотилось в его груди.

Он подошел к постели и явственно увидел на ней самого себя, лежащего на спине. У призрака было мертвенное лицо и прозрачная бледность рук, как у трупа. Охваченный ужасом, он подошел к окну, раскрыл его и стал смотреть на улицу. Ледяной холод заставил его содрогнуться и отойти от окна.

Ему пришло в голову затопить камин. Он медленно принялся за это, не оборачиваясь. Когда он прикасался к чему-нибудь, по его рукам пробегала нервная дрожь. В голове мутилось; мысли кружились, оборванные, ускользающие, мучительные. Он шатался, как пьяный.

Беспреданно он спрашивал: — Что мне делать? Что со мной будет?

Снова стал ходить по комнате, машинально повторяя: — Нужно быть энергичным, очень энергичным.

Потом он сказал: — На всякий случай нужно написать родителям.

Он опять сел, взял листок почтовой бумаги и написал: «Милый папа, милая мама»... Потом он нашел это обращение слишком фамильярным в таких трагических обстоятельствах. Он разорвал листок и написал на другом: «Милый отец, милая мать, я буду драться на дуэли этим утром, и так как может случиться...»

Он не осмелился продолжать. Он был теперь совсем

подавлен: он должен драться на дуэли. Это неизбежно. Что происходит в нем? Он хочет драться: его решение непоколебимо. И, в то же время, ему казалось, что, несмотря на это, у него не хватит сил даже для того, чтобы добраться до места поединка.

От времени до времени, у него начинали стучать зубы, и он спрашивал себя: — Дрался ли уже мой противник на дуэли? Хорошо ли он стреляет? Пользуется ли он известностью? Занимает ли он привилегированное положение? — Он никогда не слыхал его имени. Но если этот человек не владел искусством стрельбы, он не согласился бы так беспечно на опасную игру поединка на пистолетах.

Дюруа представлял себе сцену дуэли, себя и своего противника у барьера. Он неумоимо думал о мельчайших деталях и неожиданно увидел глубокое черное отверстие дула, из которого вылетит пуля.

Тогда им овладело ужасающее отчаянье. Он судорожно задрожал всем телом. Стискивал зубы, чтобы не кричать, испытывая безумное желание кататься по полу, рвать и кусать все, что ни попадется под руку. Увидев на камине стакан, он вспомнил, что у него в шкапу спрятан литр водки; после военной службы, он сохранил привычку по утрам замаривать червячка.

Схватив бутылку, он жадно стал пить из горлышка. Он поставил ее только тогда, когда у него захватило дыхание. Опорожнил ее на треть. Теплота, подобная пламени, загорелась в его желудке, разлилась по всему телу и укрепила нервы, притупив их.

Он подумал: «У меня есть средство». Ему стало слишком жарко, он растворил окно.

День зарождался, ясный и холодный. Звезды, казалось, умирали в глубине светившихся небес. В железнодорожных траншеях бледнели зеленые, красные и белые сигналы. Локомотивы начинали со свистом вылетать из депо, направляясь гаждый к своему поезду. Другие издали бросали в пространство резкие призывы, пробуждающие крики, как петухи в деревне.

Дюруа подумал: «Я, может быть, больше не увижу ничего этого». Чувствуя себя снова готовым раскиснуть,

он грубо оторвал свою мысль: «Нужно ни о чем не думать, пока не наступит час поединка. Это единственное средство, чтобы быть смелым».

Он принялся за свой туалет. Бреясь, он еще раз почувствовал себя подавленным при мысли, что он, может быть, в последний раз видит свое лицо.

Он выпил глоток водки и оделся. Последний час казался бесконечным. Он ходил взад и вперед по комнате, стараясь привести себя в окаменелое состояние. Когда постукали в дверь, он пошатнулся и чуть не упал на пол, до такой степени волнение было сильно. Это были секунданты.

— Уже!

Они были в шубах. Риваль объявил, пожав ему руку:

— Холодище, как в Сибири! — Потом он спросил: —

Ну, как?

— Очень хорошо.

— Вы спокойны?

— Очень спокоен.

— Все пойдет отлично. Вы чтонибудь уж ели и пили?

— Да. Мне больше ничего не нужно.

Буаренар, в виду торжественности события, нацепил желто-зеленый иностранный орден, который Дюруа никогда у него не видел.

Они спустились. В ландо их ждал какой-то господин. Риваль представил его: — Доктор Ле-Брюман. — Дюруа пожал ему руку, бормоча: — Благодарю вас. — Он хотел сесть на переднее сиденье и опустился на что-то твердое. Привскочил. Это был ящик с пистолетами.

Риваль повторял: — Дуэлист рядом с доктором! — Дюруа, наконец, понял и уселся возле доктора. Секунданты тоже сели. Экипаж тронулся. Кучер знал — куда ехать.

Ящик с пистолетами стеснял всех, особенно Дюруа, который предпочел бы не видеть его. Попробовали поместить его сзади, он толкал в бока. Положили его между Ривалем и Буаренаром; он поминутно падал. Тогда его поставили в ноги.

Разговор шел вяло, хотя доктор рассказывал анекдоты. Отвечал только Риваль. Дюруа хотелось бы выказать

хладнокровие, но он боялся потерять нить своих мыслей и обнаружить свое волнение. Его терзал мучительный страх, что вот-вот он задрожит.

Экипаж выехал за город. Время приближалось к девяти часам. Было морозное зимнее утро, когда земля блестит, твердая, как кристал. Деревья покрылись изморозью, словно каплями ледяного пота. Земля звенела под копытами. В сухом воздухе отчетливо разносились малейшие звуки. Голубое небо блестело, как зеркало. Солнце сверкало, тоже холодное, заливая замерзшую землю негреющими лучами.

Риваль сказал Дюруа: — Я взял пистолеты у Гастина-Ренетта. Он их сам заряжал. Ящик запечатан. Мы выберем на удачу, присоединив к ним пистолеты нашего противника.

Дюруа ответил машинально:

— Благодарю вас.

Риваль сообщал ему всевозможные наставления, желая, чтоб он держал себя безукоризненно. Он повторял каждый пункт по несколько раз: — Когда спросят: «Готовы, господа?» Вы ответите громко: «Да!» Когда скамандуют: «Пли!» вы быстро поднимете руку и выстрелите прежде, чем скажут «три».

Дюруа повторял про себя: — Когда скамандуют «Пли», я подниму руку, — когда скамандуют «Пли», я протяну руку...

Он заучивал это, как дети учат уроки, чтоб лучше запомнить. — Когда скамандуют «Пли», я подниму руку...

Ландо в'ехало в лес, повернуло направо в аллею, потом опять направо. Риваль стремительно отворил дверцу и крикнул кучеру: — По этой дорожке. — Экипаж покатился между двух рощ с трепетавшими мертвыми листьями, окаймленными инеем.

Дюруа продолжал бормотать: — Когда скамандуют «Пли», я подниму руку... — И он подумал, что все отлично уладилось бы, если бы экипаж опрокинулся. Если бы это случилось, какое счастье! Если бы он сломал ногу!..

Но тут он увидел на опушке другой экипаж и четы-

дех мужчин, топтавшихся на одном месте, чтоб согреть ноги. Он полуоткрыл рот, потому что ему не хватало воздуха.

Сперва сошли секунданты, потом доктор и Дюруа. Риваль, держа ящик с пистолетами, направился, в сопровождении Буаренара, к ожидавшей их группе людей. Дюруа видел, как они церемонно раскланялись. Потом они пошли все вместе вдоль опушки, глядя то на землю, то на деревья, словно искали что-то упавшее или улетевшее. Потом они отсчитали шаги и с усилием воткнули палку в замерзшую почву. Потом собрались в кучу и начали кружиться, как играющие дети.

Доктор Ле-Брюман спросил у Дюруа:

— Вы себя хорошо чувствуете? Вам ничего не нужно?

— Ничего, благодарю вас.

Ему казалось, что он сошел с ума, что он спал, что он грезил, что с ним происходит что-то сверхестественное. Боялся он? Может быть. Он не знал. У него помутилось в глазах.

Жак Риваль вернулся и шепнул, с довольным видом:

— Все готово. Нам повезло с выбором пистолетов.

Это было совершенно безразлично для Дюруа.

С него сняли пальто. Он подчинился. Ощупали карманы сюртука, желая убедиться, что он не был защищен ни бумагами, ни портфелем.

Он повторил про себя как молитву: — Когда скомандуют «Пли», я подниму руку...

Потом его повели к одной из палок, воткнутых в землю, и дали ему пистолет. Он заметил стоявшего против него толстого лысого человека в очках. Это был его противник. Он видел его очень явственно, но думал только об одном: «Когда скомандуют «Пли», я подниму руку и выстрелю».

Среди глубокого молчания раздался голос, который, казалось, донесся издали: — Готовы, господа?

Жорж крикнул: — Да!

Тогда тот же голос приказал: — Пли!..

Он больше ничего не видел, не слышал, не давал се-

бе ни в чем отчета. Он чувствовал только, что поднял руку, надавив изо всех сил на курок.

Он ничего не слышал. Но тотчас же увидел дымок возле отверстия дула своего пистолета. Его противник стоял, не изменив позы. Он увидел, что над его головой тоже взлетело белое облачко.

Они выстрелили оба. Дуэль была кончена.

Секунданты и доктор осматривали его, ощупывали, растегнули его сюртук и тревожно спрашивали:

— Вы не ранены? Он ответил рассеянно:

— Нет, я не думаю.

Лангремонт тоже не был ранен. Жак Риваль пробормотал с недовольным видом:

— Так всегда бывает с этими проклятыми пистолетами: или промахнутся, или убьют наповал. Северное оружие!

Дюруа не двигался, парализованный изумлением и радостью: «Дуэль кончена!» У него должны были взять оружие, так как он все еще сжимал его в руке. Ему теперь казалось, что он сражался против всего света. Дуэль кончена. Какое счастье! Объятый смелостью, он готов был вызвать кого угодно.

Секунданты поговорили немного о месте и часе свидания, во время которого им надлежало составить протокол. Потом снова сели в ландо. Кучер смеялся на козлах и погнал лошадей, щелкая бичом.

Они позавтракали вчетвером на бульваре, обсуждая совершившееся событие. Дюруа рассказывал о своих ощущениях. — Я ничуть не боялся. Ведь, вы это заметили?

Риваль ответил: — Вы держались молодцом.

Когда протокол был составлен, его вручили Дюруа для напечатания в «хронике». Он удивился, прочтя о двух пулях, которыми он обменивался с Лангремоном. Немножко обеспокоенный, он сказал Ривалю: — Но, ведь мы выпустили только по одной пуле.

Тот улыбнулся: — Да, по одной... каждый по пуле... Это составит две пули.

Дюруа нашел это объяснение удовлетворительным и больше не настаивал.

Вальтер поцеловал его: — Браво, браво, вы защитили знамя «Французской Жизни!» Браво!

Вечером Жорж посетил главные редакции и самые блестящие кафе бульвара. Он два раза встретился со своим противником, тоже демонстрировавшим себя.

На другое утро, около одиннадцати часов, Дюруа получил «синюю бумажку»: «Боже мой, как я испугалась! Приходи скорее в Константинопольскую улицу, целую тебя от всего сердца, мой возлюбленный! Какой ты смелый—я тебя обожаю.—Кло».

Он пошел на свидание. Она бросилась в его объятия, покрывая его поцелуями.

— О, мой милый, еслиб ты знал, как я волновалась, читая сегодняшние газеты. Расскажи мне все. Я хочу знать.

Он должен был рассказать ей происшествие, с мельчайшими подробностями.

Она сказала: — Какую ужасную ночь провел ты перед дуэлью!

— Ничего подобного. Я спокойно спал.

— Я бы не сомкнула глаз. И во время поединка, расскажи мне, как это произошло...

Он писал ей эту драматическую сцену: — Когда мы сошлись лицом к лицу, в двадцати шагах, на расстоянии только в четыре раза большем, чем эта комната, Жак, спросив, готовы ли мы, скомандовал: — Пли!—Я немедленно поднял правую руку, вытянув ее по прямой линии. Но я сгруппировался, целясь в голову. У моего пистолета курок был тугой, а я привык к легкому спуску. Сопротивление курка отклонило выстрел в сторону. Все равно, она пролетела возле моего противника. Он тоже ловко стреляет, каналья! Его пуля слегка коснулась моего виска. Я ощутил сотрясение воздуха.

Она сидела у него на коленях, обняв его, словно желая разделить угрожающую ему опасность. Она бормотала:

— Бедняжка! Бедняжка!

Когда он кончил рассказывать, она произнесла:

— Я не могу без тебя жить! Я должна с тобой видеться, но раз мой муж в Париже, это сопряжено с не-

удобствами. По утрам я могла бы выбирать свободный часик и забегать поцеловать тебя, когда ты еще в постели. Но я ни за что не пойду в твой ужасный дом. Что же делать?

Его внезапно озарила блестящая мысль; он спросил: — Сколько ты здесь платишь?

— Сто франков в месяц.

— Прекрасно, я найму эту квартиру и поселюсь в ней. В виду изменившихся обстоятельств, мне, все равно, нужно менять квартиру.

Она подумала несколько минут, потом ответила:

— Нет, я не хочу.

Он удивился:—Почему это?

— Потому что...

— Это не объяснение. Эта квартира очень подходящая для меня. Я здесь и—не уйду.

Она засмеялась:

— Но она, ведь, взята на мое имя.

Она не соглашалась:—Нет, нет, я не хочу...

— Почему это?

Тогда она ласково прошептала:—Потому, что ты будешь приводить сюда женщин, а я не хочу.

Он возмущился.—Как ты могла это подумать? Я тебе обещаю.

— Нет, ты их, все-таки, приведешь.

— Я тебе клянусь.

— Правда?

— Честное слово... Это гнездышко наше, только наше.

Она обняла его в приливе любви:—Я согласна, мой милый.

— Но если ты меня обманешь хоть раз, хоть один только раз, между нами все будет кончено—навсегда.

Он дал клятву, выражая свое негодование. Было решено, что он переедет в тот же день. Она могла теперь заходить к нему всякий раз, как будет проходить мимо.

Потом она сказала:

— Во всяком случае, приходи в воскресенье обедать. Мой муж находит тебя очаровательным.

Он был польщен: — Неужели?

— Да, ты завоевал его симпатии. Послушай, ты говорил, что провел детство в поместье. Правда?

— Да. Ну, и что же?

— Ты немножко знаком, в таком случае, с сельским хозяйством?

— Да.

— Разговаривай с ним о садоводстве и урожаях: он очень это любит.

— Отлично. Постараюсь не забыть.

Она покинула его, осыпав страстными поцелуями; после этой дуэли ее любовь запылала еще жарче.

Дюруа размышлял, направляясь в редакцию: «Что за странное существо! Легкомысленная, как птичка! Никогда не знаешь, чего она хочет и что она любит! И какая смешная пара! Какой причудливый случай соединил этого старика с этой ветреницей? Что заставило этого педанта жениться на такой девчонке? Загадка... Кто знает? Может быть, любовь?»

Он заключил: «Во всяком случае, она—прекрасная любовница. Я буду идиотом, если ее брошу».

VIII.

Последствием дуэли для Дюруа было то, что он сделался одним из главных сотрудников «Французской Жизни»; но так как ему очень туго давались мысли, то он избрал своею специальностью темы, трактующие об упадке нравственности, ослаблении патриотизма, «анемии» чувства чести у французов. (Он придумал этот термин и очень этим гордился).

И когда г-жа де-Марель со своим скептическим и насмешливым, чисто парижским умом, посмеивалась над его рассуждениями, он отвечал улыбаясь:—Ба! Это мне создаст хорошую репутацию для дальнейшего.

Он жил теперь на Константинопольской улице, куда перевез свою корзину, щетку, бритву и мыло,—в этом и состоял весь его переезд. Два или три раза в неделю молодая женщина приходила к нему, когда он еще был

в постели, моментально раздевалась, и скользила под одеяло, вся еще дрожа от наружного холода.

Дюруа, в свою очередь, обедал каждый четверг у них в доме; любезничал с мужем, беседовал с ним об агрономии; и так как он сам любил деревню, то они иногда так увлекались разговором вдвоем, что совершенно забывали о жене, дремавшей на диване.

Лорина также засыпала, то на коленях у отца, то на коленях Милого Друга. По уходе журналиста, г. де-Марель всегда заявлял доктринерским тоном, который он пускал в ход по поводу всякого пустяка:—Этот малый—приятный собеседник. У него очень развитой ум.

Февраль приближался к концу. Уже по утрам на улицах запахло фиалками от тележек продавщиц цветов...

Жизнь Дюруа потекла безоблачно...

Однажды вечером, вернувшись домой, он нашел письмо, подсунутое под дверь. Он посмотрел на штемпель и увидал: «Канн». Распечатав, он прочел:

«Канн. Вилла Жоли.

Дорогой друг, вы мне сказали, не правда ли, что я могу рассчитывать на вас во всем? Ну так вот,—я обращаюсь к вам с огромной просьбой,—прошу вас приехать, чтобы не оставить меня одну в последние минуты с умирающим Шарлем... Он, может быть, не проживет и этой недели; хотя еще и встает, но доктор меня предупредил..

У меня больше нет ни силы, ни мужества присутствовать при этой агонии день и ночь. И я с ужасом думаю о последних минутах, которые близятся...

Мне не к кому обратиться, кроме вас, с этой просьбой, так как у моего мужа нет никаких родных. Вы были его другом; он открыл вам двери редакции. Приезжайте, умоляю вас. Мне некого больше позвать.

Остаюсь верный и преданный ваш друг

Мадлена Форестье.»

Странное чувство охватило душу Жоржа; он точно почувствовал, как на него пахнуло свежим воздухом, как перед ним открылись новые перспективы... Он прошептал:—Конечно, я поеду. Бедняга Шарль! Все-то мы под Богом ходим!

Патрон, которому он сообщил о письме молодой женщины, нехотя согласился на его отъезд, повторяя:

— Возвращайтесь поскорее,—вы нам необходимы.

Жорж Дюруа выехал в Кани на следующее утро со скорым семичасовым поездом, известив чету де-Марель телеграммой...

На следующий день, около четырех часов вечера, он приехал. Посланный проводил его к вилле Жоли, расположенной на холме, в пихтовой роще, усеянной белыми домиками, тянувшейся от Каниа к заливу Жуан.

Домик был маленький, низенький, в типе итальянских построек; он стоял на краю дороги, извивающейся посреди деревьев, и открывающей на каждом повороте восхитительные виды.

Слуга, отворивший дверь, воскликнул:

— О! сударь, барыня вас ожидает с нетерпением.

Дюруа спросил:—Как здоровье барина?

— О, сударь, не важно. Он не долго протянет...

Гостиная, в которую вошел молодой человек, была обита розовым кретоном с голубыми разводами. Большое, широкое окно открывало вид на город и на море. Дюруа пробормотал:

— Чорт возьми, шикарная дача. Откуда они достают такую уйму денег?

Шедест платья заставил его обернуться.

Г-жа Форестье протягивала ему обе руки:—Как это мило, что вы приехали!—Вдруг она его поцеловала. Потом они посмотрели друг на друга...

Она слегка похудела, побледнела, но все же выглядела хорошо, даже, может быть, еще лучше от этих перемен... Прошептала:—Он в ужасном настроении. Понимаете, — он знает, что умирает и терзает меня невероятно. Я ему сказала о вашем приезде... Но где же ваша корзина?

Дюруа ответил:—Я ее оставил на вокзале, не зная в каком отеле вы мне посоветуете остановиться, чтобы быть вблизи вас...

Она поколебалась, потом сказала:—Вы остановитесь здесь, у нас. Ваша комната уже готова. Он может умереть

с минуты на минуту, и если это случится ночью, я буду одна. Я пошлю за вашим багажом.

Он поклонился:—Я повинюсь...

— Теперь пойдем к нему,—сказала она. Он пошел за ней. Она отворила дверь в нижнем этаже, и Дюруа увидел возле окна, в кресле, закутанный в одеяла, посиневший под заходящими лучами багрового солнца, труп, смотревший на него. Он едва мог его узнать; скорее догадался, что это был его приятель.

В комнате стояла жара и запах эфира, скипидара, — тяжелый, трудно определяемый запах жилища чахоточного.

Форестье поднял руку медленно, с заметным усилием.

— Вот и ты,—сказал он,—приехал посмотреть как я тут подыхаю... Благодарю тебя.

Дюруа попробовал пошутить:—Присутствовать при твоей смерти, это не очень-то интересно, и я бы не поехал ради этого зрелища в Кани. Я приехал навестить тебя и немного отдохнуть.

Тот прошептал:—«Садись»,—и опустив голову, как бы погрузился в безысходные думы...

Он дышал отрывисто, тяжело, испуская от времени до времени короткие стоны, как бы для того, чтобы напомнить присутствующим, как он страдает.

Заметив, что он не хочет говорить, жена его облокотилась на подоконник, указывая на горизонт движением головы:—Посмотрите! Разве не красиво?

Против них холм, усеянный виллами, спускался к городу, расположенному вдоль берега амфитеатром. Одно крыло его заканчивалось насыпью, где находилась старая часть города, со старинной каланчей; другая—упиралась в Круазент, против Леринских островов. Последние казались двумя зелеными пятнами на фоне совершенно лазоревой воды. Можно было принять их за два плавающих огромных листа, — такими они казались сверху плоскими.

Вдали, на пылающем фоне неба, гамкая горизонт с другой стороны залива, возвышаясь над насыпью и над каланчей, вырисовывалась длинная цепь синеватых гор, образуя причудливую, очаровательную линию вершин,—

то круглых, то остроконечных, то зазубренных; заканчивалась она большой пирамидальной шапкой, окунавшей свое подножие в самое море...

Г-жа Форестье указала: — Это Эстерель.

Позади темных вершин, пространство было окрашено пурпуром, кровавым и золотым, таким блестящим, что, казалось, невозможно было на него смотреть...

Дюруа невольно почувствовал величие догорающего дня...

Он прошептал, не находя более красноречивого эпитета для выражения восхищения:

— О! Это сногшибательно!

Форестье повернул голову к жене и попросил:

— Дай мне немного подышать воздухом.

Она отвечала:

— Берегись, уже поздно... Солнце садится, ты простудишься, а при твоём состоянии здоровья это вовсе не полезно.

Он сделал правой рукой слабое, судорожное движение, как бы хотел ударить кулаком, прошептал со злобой гримасой умирающего, обнаружившей худобу его губ, щек и всего тела: — Я тебе говорю, что задыхаюсь... не все ли тебе равно: — умру я днем раньше или днем позже, раз я уже приговорен...

Она распахнула окно во всю...

Ветерок пахнул всем трем ласково в лицо... теплый, нежный, мягкий ветер, — предвестник весны, напоенный благоуханием распускающихся кустов и опьяняющих цветов, среди которых преобладал сильный запах камеди и острое благоухание эвкалиптов.

Форестье жадно вбирал воздух своим отрывистым, лихорадочным дыханием. Он вцепился ногтями в ручки своего кресла и сказал свистящим, злобным шопотом: — Затвори окно... Мне это вредно. Лучше задохнуться в погребке...

Его жена медленно закрыла окно, потом стала смотреть вдаль, прислонившись лбом к стеклу.

Дюруа, чувствующий себя не в своей тарелке, хотел было поболтать с больным, успокоить его.

Но он не мог придумать ничего утешительного... Про-

бормотал: — Значит тебе не лучше с тех пор как ты здесь?

Тот пожал плечами, негодуя и нетерпеливо:

— Как видишь, — и снова опустил голову.

Дюруа продолжал: — Чорт возьми, здесь восхитительно, сравнительно с Парижем. Там еще разгар зимы. Идет снег, град, дождь, и так темно, что нужно зажигать лампы с трех часов дня.

Форестье спросил: — Что нового в редакции?

— Нового ничего. Пока пригласили на твоё место маленького Лакрэна из «Вольтера», но он не годится, слишком неопытен. Пора уж тебе возвращаться.

Больной пробормотал: — Мне? Я теперь буду писать только под землей, в могиле...

Мысль о смерти ежеминутно возвращалась к нему по всякому поводу, звенела, точно удар колокола, в каждой его фразе, в каждом представлении...

Наступило долгое молчание, тягостное и глубокое. Пылающий закат медленно угасал; горы чернели на фоне красного, темнеющего неба. Цветной луч, начало сумрака, сохранившего еще отблеск умирающего пламени, проник в комнату, озарил мебель, стены, обои, углы смешанными тонами чернил и пурпура. Зеркало на камине, в котором отражался горизонт, пылало точно огромное кровавое пятно.

Г-жа Форестье не двигалась с места, продолжая стоять спиной к комнате, лицом к окну.

Форестье вдруг заговорил прерывающимся, задыхающимся, надрывающим душу голосом: — Сколько раз я еще увижу закат?.. Восемь... десять... пятнадцать... или двадцать... может—тридцать, но не более... у вас еще есть время, у вас... а мне—крышка... И все будет продолжаться. Идти своим чередом после моей смерти, как будто бы я еще жил...

Он помолчал несколько минут, затем начал снова:

— Все, что я вижу, только напоминает мне, что я больше не увижу всего этого через несколько дней... Это ужасно... Не видеть больше ничего... Ничего... Из всего существующего... Вещицы, которые трогаешь... Стаканчики... Тарелки... Кровать, в которой так хорошо отдыхать... Эки-

пажи... Как хорошо прокатиться в экипаже вечером... Как я все это любил...

Пальцы его рук нервно и быстро бегали по ручкам кресла, точно он играл на рояли... Когда он молчал, было еще тягостнее, чем когда он говорил; так все чувствовали, что он думает теперь о самом страшном...

И Дюруа вдруг вспомнил слова Норбера де-Баренна, сказанные несколько недель тому назад: «Я теперь вижу смерть так близко, что мне часто хочется отогнать ее движением руки... Я вижу ее повсюду... Маленькие животные, раздавленные, посреди дороги, осыпающиеся листья, седой волос в бороде друга, раздирают мне душу воплем: «Вот она!». Тогда он этого не понимал; теперь, глядя на Форестье, он это понял, и его охватила неведомая, ужасная тоска, точно он видел ее на этом кресле, где задыхался человек, эту ужасную смерть с поднятой рукой... Ему захотелось встать, уйти, сбежать, вернуться в Париж тут же! О! если-бы он знал, он не приехал бы!

Теперь в комнате стало темно, точно преждевременный траур окутал умирающего... Только окно еще виднелось, обрисовывая на своем светлом стекле недвижимый силуэт молодой женщины.

Форестье спросил с раздражением:—Ну, что же, принесут нам сегодня лампу? Это называется ухаживать за больным.

Темный силуэт на фоне окна исчез и постышался электрический звонок, произивший мертвую тишину... Вошедший слуга поставил лампу на камин.

Г-жа Форестье спросила мужа:—Хочешь лечь, или сойдешь вниз обедать?

Он прошептал:—Сойду.

В ожидании обеда, они еще просидели около часу, не двигаясь, все трое, изредка произнося слова,—ненужные, банальные слова, точно им угрожала таинственная опасность, если они не нарушат этого молчания, если безмолвие затаится в этой комнате, где уже витала смерть. Наконец, обед кончился. Дюруа он показался бесконечно долгим. Они ели молча, беззвучно, катая хлебные шарики между пальцев. Слуга бесшумно входил, выходил, приносил блюда, обутой в мягкие туфли, так как стук сапог

раздражал Шарля. И только тиканье деревянных часов нарушало тишину комнаты своим механическим и однообразным стуком.

Как только обед кончился, Дюруа, под предлогом усталости, удалился в свою комнату и, облокотясь на окно, стал смотреть на полную луну, посредине неба, проливавшую точно гигантский фонарь на стены белых вилл свой матовый, туманный свет, рассыпавшую над морем свою движущуюся и сверкающую чешую. И он стал придумывать предлог, как бы ему поскорее уехать, избрел фокусы, сочинял телеграммы, будто полученные им от г. Вальтера, призывавшие его обратно в Париж.

Но его намерения бегства показались ему совершенно неосуществимыми, когда он стал их обдумывать утром следующего дня. Г-жа Форестье не поверит его выдумкам, и он потеряет из-за своей трусости все выгоды своего самоотвержения. Он сказал себе:—Ба! Это, конечно, скучно; ну что же, бывают в жизни неприятные полосы; надеюсь, что это не затянется на долго.

Был ясный лазоревый день, один из тех ясных, южных дней, которые наполняют душу радостью, Дюруа прогулялся к морю, находя, что еще слишком рано видеться с Форестье.

Когда он вернулся к завтраку, слуга сказал ему:

— Барин уже спрашивал вас два или три раза. Не угодно ли вам пройти к нему.

Дюруа вошел. Форестье, казалось, спал в кресле. Жена его читала, лежа на диване. Больной повернул голову.

Дюруа спросил:—Ну, что? Как ты себя чувствуешь? По моему, у тебя сегодня отличный вид.

Тот прошептал:—Да, мне лучше, я чувствую себя бодрее. Позавтракай скорее с Мадленой,—мы потом поедем кататься.

Как только они остались вдвоем, молодая женщина сказала Дюруа:—Видите! Сегодня ему кажется, что он выздоровеет. С утра он строит планы. Мы сейчас поедем к заливу Жуан покупать фаянс для нашей парижской квартиры. Он хочет выйти во что бы то ни стало, но я

страшно боюсь, как бы чего не случилось. Он не вынесет тряски в экипаже.

Когда подали коляску, Форестье медленно спустился по лестнице, при помощи своего слуги. Увидав экипаж, он потребовал, чтобы опустили верх.

Жена настаивала:—Ты простудишься,—это безумие.

Он упорствовал:—Нет, мне гораздо лучше. Я это отлично чувствую.

Сначала ехали вдоль тенистой аллеи, между двух рядов садов, делающих Кани похожим на Английский парк, потом повернули на дорогу, ведущую к морю.

Форестье описывал местность. Сначала он указал виллу графа Парижского. Затем назвал другие... Он казался веселым,—притворной и жалкой веселостью приговоренного к смерти... Указывал, подняв палец, не будучи в силах протянуть руки.

— Смотрите:—вот остров святой Маргариты и замок, откуда бежал Базэн. Да, задали нам тогда за эту историю! Затем он стал вспоминать службу в полку; называл офицеров, отличавшихся своими похождениями. Но вдруг дорога повернула, и залив Жуан предстал, как на ладони, со своей белой деревушкой и вершиной Антиб на другом конце...

Форестье, вдруг охваченный детской радостью, пробормотал:—Ах, ты сейчас увидишь эскадру!

Посредине обширной бухты, в самом деле, виднелось с подюжины больших кораблей, похожих на скалы с разветвлениями. Они имели причудливый, неуклюжий вид, обросшие выступами, башнями, водорезами, погруженные в воду, точно они выросли из нее. Было непонятно, как могут они передвигаться, переходить с места на место,—такими они казались громадными и приросшими ко дну. Точно плавучая батарея, круглая, высокая, в виде обсерватории, похожая на маяк, выстроенная на рифах.

Мимо них прошло большое трехмачтовое судно; оно направлялось в открытое море, развернув все свои белые, сваркающие паруса, и имело грациозный и кокетливый вид рядом с этими железными, ужасными чудовищами, точно опустившимися на корточки в воду.

Форестье старался их всех узнать. Он называл «Кольбер», «Сюффрен», «Адмирал Дюперре», «Грозный», «Шквал», потом поправлялся: — Нет я ошибся,—вот этот «Шквал».

Они подехали к большому павильону, с вывеской: «Фаянсовые изделия залива Жуан»; коляска обогнула лужайку и остановилась у входа.

Форестье хотел купить две вазы, чтобы украсить ими свой библиотечный шкаф. Так как он не мог выйти из коляски, то ему принесли несколько образцов на выбор. Он долго выбирал, советуясь с женой и с Дюруа:—Понимаешь, это для шкапа в глубине кабинета; с моего кресла я буду их все время видеть. Мне бы хотелось выбрать старинные, в греческом стиле...—Он рассматривал образцы, приказывал принести другие,—снова брался за первые; наконец, он выбрал; заплатил, потребовал, чтобы их прислали тотчас же.—Я возвращаюсь в Париж на днях,—сказал он.

Во время обратного пути, с залива вдруг потянуло откуда-то снизу холодом, и больной закашлял.

Сначала это казалось маленьким приступом, но увеличиваясь, он превратился в непрерывный кашель, перешедший в хрип и стоны. Форестье задыхался; всякий раз, как он хотел вздохнуть, кашель раздирал ему горло, вырываясь из глубины груди. Ничто не помогало, не могло его успокоить. Пришлось перенести его на руках в комнату, и Дюруа, державший его ноги, чувствовал, как они содрогались от каждого конвульсивного сжатия легких.

Его положили в постель и укутали, но припадок продолжался до полуночи; потом, наконец, наркотики утишили смертельные приступы кашля. Больной просидел всю ночь, до утра, в постели с открытыми глазами.

Первые слова, которые он произнес утром, были просьбой позвать цирюльника, так как он имел привычку бриться каждый день. Он поднялся для совершения утреннего туалета; но пришлось тотчас же уложить его в постель, и он стал дышать так коротко, так тяжело, с такими усилиями, что перепуганная г-жа Форестье велела разбудить Дюруа, который только что лег, прося его сходить за доктором.

Он почти тотчас привел доктора Гаво, прописавшего успокоительное, и давшего несколько советов; но когда журналист пошел его провожать, чтобы узнать его мнение:—Это агония,—сказал он.—Он умрет завтра утром... Предупредите несчастную молодую женщину и пошлите за священником. Мне здесь нечего делать. Впрочем, если я понадобится, я к вашим услугам.

Дюруа велел позвать г-жу Форестье:

— Он умирает. Доктор советует послать за священником. Что вы думаете делать?

Она некоторое время колебалась, затем сказала с расстановкой, очевидно, все взвесив:

— Да, так будет лучше, во многих отношениях... Я его подготовлю, скажу ему, что священник желает его видеть... или что-нибудь в этом роде... Вы будете очень любезны, если приведете священника, который не очень бы придирался... Устройте так, чтобы он удовольствовался одной исповедью, и избавил бы нас от всего прочего...

Молодой человек привел старого, благодушного священника, повидимому, сговорчивого. Как только он вошел к умирающему, г-жа Форестье вышла и села в соседней комнате рядом с Дюруа.

— Это его страшно взволновало, — сказала она. — Когда я заговорила о священнике, на лице его выразился ужас, точно... он почувствовал... почувствовал... дыхание... Вы понимаете... он понял, что теперь все кончено, что ему осталось несколько часов...

Она была очень бледна. Повторила: — Никогда не забуду выражения его лица. Несомненно — в это мгновение он видел смерть. Он видел ее...

Они слышали голос священника, говорившего немного громко, так как он был глуховат:

— Да, нет же, нет же. Вы вовсе не так плохи, как думаете... Вы больны, но опасности нет никакой. Доказательство то, что я зашел к вам просто по соседски, по товарищески.

Они не могли расслышать, что отвечал Форестье

Старик продолжал: — Нет, я не буду вас причащать, мы поговорим об этом, когда вы поправитесь. Если вы хотите воспользоваться моим посещением, чтобы немножко

поисповедоваться, — то я буду очень рад. Я ведь настоящий и пользуюсь каждым случаем, чтобы напутствовать свою паству.

Последовало долгое молчание. Форестье, вероятно, шептал своим беззвучным, задыхающимся голосом.

Потом вдруг священник произнес другим тоном, — тоном священнослужителя:

— Милосердие Божие беспредельно, прочтите Confiteor, дитя мое, — вы, может быть, забыли слова, я вам их подскажу, повторяйте за мной: Confiteor Deo omnipotenti... Beatae Mariae semper virginii...

От времени до времени он останавливался, чтобы умирающий успевал за ним повторять, потом сказал: — Теперь исповедуйтесь...

Молодая женщина и Дюруа не двигались с места, охваченные странным смущением, потрясенные тоскливым ожиданием...

Больной что-то пробормотал, священник повторил:

— У вас были греховные склонности. Какого рода, дитя мое?

Молодая женщина встала и сказала просто: — Спустимся в сад. Не следует слушать его секретов.

Они пошли и сели на скамью, у входа, близ цветущего розового куста, за клумбой гвоздики, наполнявшей воздух своим сильным и сладким благоуханием.

Дюруа спросил после короткого молчания:

— Вы долго останетесь здесь?

Она отвечала: — О! Нет. Как только все будет кончено, я вернусь.

— Через десяток дней?

— Да, самое большое.

Он продолжал:

— Значит, у него нет родных?

— Никого, кроме двоюродных. Его родители умерли, когда он был еще совсем молодым...

Они оба смотрели на бабочку, собиравшую мед с гвоздики, перелетая с цветка на цветок с трепетаньем крыльев, продолжавшимся еще когда она уже сидела на цветке. И долго сидели в молчании.

Слуга возвестил, что священник «кончил». Они вместе поднялись.

Форестье, казалось, еще похудел со вчерашнего дня. Священник держал его за руку: — До свиданья сын мой. Я приду завтра утром.

И он ушел.

Как только он вышел, умирающий, задышавшийся, попытался протянуть руки к жене и пролепетал: — Спаси меня... спаси меня... дорогая... я не хочу умирать — не хочу умирать... О! Спасите меня... Скажите, что нужно сделать, пошлите за доктором... Я приду все, что нужно... Я не хочу... не хочу.

Он плакал, крупные слезы катились из его глаз по ввалившимся щекам; и исхудалые углы рта складывались в гримасу, как у плачущего ребенка. Потом его руки, упавшие на постель, начали шевелиться медленно и непрерывно, точно ища что-то на одеяле.

Жена его, привнявшаяся плакать, забормотала:

— Да, нет же. Это пустяки. Это кризис, завтра тебе будет лучше; ты переутомился вчера с этой прогулкой.

Дыхание Форестье, казалось, более быстрым, чем у запыхавшейся собаки; он дышал так быстро, что нельзя было сосчитать пульса, и еле заметно, так что едва можно было расслышать...

Он повторял непрестанно: — Я не хочу умирать!!! О! Господи... Господи... Господи... Что же это со мной, я ничего больше не увижу, ничего, никогда... О, Господи!

Он увидел перед собой что-то невидимое для других, такое чудовищное, что в его остановившихся глазах застыл ужас. Руки его продолжали свое страшное, однообразное движение.

Вдруг он весь содрогнулся с головы до ног и прошептал: — Кладбище... меня... Господи!..

Больше он уже не говорил. Лежал недвижный, задышающийся, оцепенелый.

Время шло; прозвонило полдень в соседнем монастыре. Дюруа вышел, чтобы немного подкрепиться. Через час он вернулся. Г-жа Форестье отказалась от пищи. Больной не шевелился. Худые пальцы его все еще двигались по одеялу, точно хотели натянуть его на лицо.

Молодая женщина сидела в кресле, в ногах постели. Дюруа сел в другое, рядом с ней, и они стали безмолвно ожидать.

Пришла сиделка, посланная доктором, и принялась дремать у окна.

Дюруа тоже начал дремать, как вдруг почувствовал, что что-то совершается... Он открыл глаза как раз в тот момент, когда Форестье закрыл свои, точно две потухшие свечи. Легкий хрип вздымал горло умирающего, и две струйки крови показались из углов рта, скатившись на рубашку. Руки его перестали шевелиться. Дыхание прекратилось.

Жена его поняла; вскрикнув, упала на колени и заордала, уткнувшись в одеяло. Жорж, удивленный и растерянный, машинально перекрестился. Сиделка проснулась, подошла к постели: — Скончался. — сказала она. — И Дюруа, к которому вернулось самообладание, прошептал, облегченно вздохнув: — Это длилось менее, чем я ожидал.

Когда улеглось первое волнение, поплакали и занялись хлопотами, сопровождающими смерть. Дюруа пробежал до самой ночи. Вернувшись, он почувствовал голод... Г-жа Форестье также немного поела; потом они оба направились в комнату покойника, чтобы провести ночь возле тела.

Две свечи горели на ночном столике, возле тарелки, где плавала в воде мимоза, за неимением традиционной ветки букса.

Они оставались вдвоем, молодой человек и молодая женщина, возле того, который больше не существовал. Они оба молчали, погруженные в свои мысли, глядя на него.

Жорж, которого волновала тайна, воцарившаяся вокруг мертвого, смотрел на него пристально, не сводя глаз. Взгляд и мысли его были точно прикованы к этому иссохшему лицу, казавшемуся еще более исхудалым от колеблющегося пламени свечей. Да! Это был его друг, Шарль Форестье, который еще вчера с ним говорил! Какая непонятная и ужасная вещь это полное исчезновение живого существа. О! Теперь он вспоминал слова Норбе-

ра де-Варенна, преследуемого страхом смерти. «Никогда ни одно существо не возвращается». Родятся миллионы и миллиарды таких похожих, с такими же глазами, с таким же носом, ртом, черепом и мыслями внутри его, но тот, который лежит сейчас на постели, никогда не повторится снова...

В течение ряда лет он жил, ел, смеялся, любил, надеялся, как все люди. Теперь все это кончено, для него все кончено навсегда. Жизнь! Какие-то несколько дней, и потом конец! Рождаются, вырастают, наслаждаются, чего-то ожидают и потом умирают... Прощай, мужчина или женщина, ты никогда не вернешься уже на землю! И все-таки во всяком живет судорожное, недостижимое стремление к вечности, всякий носит вселенную во вселенной, и всякий исчезает, сгорает без следа на костре новых поколений. Растения, животные, люди, звезды, миры — все рождается, потом умирает, чтобы принять другой вид. Но никогда ни одно существо не появляется вновь, ни одно насекомое, ни один человек, ни одна планета!

Дюруа охватил необъяснимый, беспредельный страх, ужас перед этим неизбежным небытием, разрушающим бесследно всякое существование, такое мимолетное и жалкое. Он уже чувствовал его грозу над своею головою. Он подумал о насекомых, живущих всего несколько часов, — животных, живущих несколько дней, — людях, живущих несколько лет, планетах, — живущих несколько столетий. Какая же разница между одними и другими? — Несколько часов. Он отвернулся, чтобы не смотреть больше на труп. Г-жа Форестье, склонив голову, казалось, была погружена также в печальные размышления. Ее белокурые волосы так красиво обрамляли опечаленное лицо, что сладкая надежда мелькнула в душе молодого человека. К чему отчаяваться, когда впереди еще столько лет жизни!

И он принялся ее рассматривать. Она не замечала его, погруженная в свои мысли. Он подумал: «Вот единственная хорошая вещь в жизни: любовь! Держать в своих объятиях любимую женщину! Вот предел человеческого

счастья! Какое счастье выпало покойнику, встретить эту очаровательную и интеллигентную подругу! Как они познакомились? Как она согласилась выйти замуж за этого бедняка, за эту посредственность? Как ей удалось сделать из него что-то?»

И он подумал о тайнах, скрывающихся в каждом существовании. Он вспомнил сплетни о графе де-Водрэк, который, как говорили, снабдил ее приданым и выдал замуж. Что она теперь предпримет? За кого выйдет замуж? За депутата, как предполагала г-жа де-Марель? Или за какого-нибудь карьериста, только поспособнее Форестье? Были ли у нее проекты, планы, определенные намерения? Как бы ему хотелось все это знать! Но почему его так занимает, что она предпримет? Он задавал себе этот вопрос и заметил, что это беспокойство исходит из смутных, едва уловимых мыслей, которые прячутся в глубине души и которые обнаруживаются только на дне ее тайника.

Да, почему бы ему не попробовать самому одержать эту победу? Каким бы сильным и бесстрашным почувствовал он себя с нею. Как быстро, уверенно и далеко продвинулся бы он вперед!

И почему бы ему не добиться успеха? Он знал, что нравится ей, что она чувствует к нему более, чем симпатию, — влечение, зарождающееся между родственными натурами, основанное на взаимном сродстве и молчаливом сообщничестве. Она признавала в нем ум, решительность, настойчивость, и чувствовала к нему доверие.

Разве не призвала она его на помощь в таком затруднительном положении? И зачем она его позвала? Разве он не должен был видеть в этом что-то вроде призвания, выбора, предназначения? Если она думала о нем именно в ту минуту, когда должна была овдоветь, то это может быть потому, что она думала о том, который теперь сделается ее новым другом, новым сотоварищем.

Его охватило нетерпеливое желание, узнать, спросить ее об ее намерениях. Он должен был уехать послезавтра, считая невозможным оставаться вдвоем с молодой женщиной в этом доме. Значит, нужно было торопиться, нужно было еще до возвращения в Париж выпросить ее

тонко и искусно об ее намерениях, не допустить чтобы она уступила домогательствам кого-нибудь другого...

В комнате царила глубокая тишина; слышалось только тиканье часов, отбивавших на камине свой правильный, механический стук...

Он прошептал:

— Вы должно быть очень устали?

Она отвечала:

— Да, — но больше всего я потрясена...

Звук их голосов показался им странным, раздавшись в этой мрачной комнате. И они вдруг посмотрели на лицо мертвого, будто ожидая, что он зашевелится, начнет их слушать, как он это делал всего лишь несколько часов тому назад.

Дюруа начал снова: — О! Это ужасный удар для вас, огромная перемена в вашей жизни — целый переворот во всем вашем существе...

Она испустила продолжительный вздох, ничего не отвечая: Он продолжал:

— Как печально для молодой женщины очутиться вдруг одной...

Потом замолчал. Она ничего не сказала. Он прошептал: — Во всяком случае, помните о нашем договоре... Вы можете располагать мною, как хотите. Я весь в вашем распоряжении.

Она протянула ему руку, бросив на него один из тех нежных и меланхолических взглядов, которые волнуют нас до мозга костей.

— Благодарю вас, вы очень добры, чрезвычайно... Если бы я могла и смела сделать что-нибудь для вас, я бы уже сказала: «Рассчитывайте на меня».

Он взял протянутую ему руку и задержал, сжимая ее в своей, безумно желая ее поцеловать. И наконец, решившись, медленно приблизил ее к губам и прильнул долгим поцелуем к тонкой, теплой, надушенной коже.

Потом, почувствовав, что эта дружеская ласка может затянуться, он отпустил маленькую ручку, упавшую на колено молодой женщины. Она сказала серьезно:

— Да, теперь я буду одна, но я постараюсь нести свой крест мужественно.

Он не знал, как дать ей понять, что он был бы счастлив жениться на ней, конечно, он не мог ей этого сказать в этот час, в этом месте, перед этим трупом; все же ему казалось, что он мог придумать одну из тех запутанных и двусмысленных фраз, которыми можно сказать все, посредством намеренных намеков и недомолвок. Но ему мешал труп, — окостенелый труп, распростертый перед ними труп, который он чувствовал между собою и ею. К тому же он чувствовал в спертой атмосфере комнаты подозрительный запах, — гнилое дыхание, исходившее из этой разлагающейся трупной, первое дуновение падали, ощущаемое родными, стерегущими злосчастных покойников, ужасное дыхание, которым они скоро наполнят внутренность своих гробов.

Дюруа спросил:

— Нельзя ли открыть немного окно? Мне кажется, что здесь скверный воздух.

Она отвечала:

— Да, правда, я тоже это заметила.

Он подошел к окну и открыл его. Ворвалась благоухающая прохлада ночи, всколыхнув пламя свечей, зажженных возле кровати. Луна разливала, как и в тот вечер, свое полное и спокойное тихое сияние над белыми стенами вилл и над огромной сверкающей поверхностью моря. Дюруа, дыша всеми легкими, вдруг почувствовал себя переполненным надеждами, точно обвеянный крыльями приближающегося счастья.

Он обернулся. — Подойдите немного освежиться, вечер восхитительный, — сказал он.

Она спокойно подошла и облокотилась на подоконник.

Он прошептал ей тихо: — Выслушайте меня и поймите хорошенько, что я хочу сказать. Главное, не возмущайтесь тем, что я говорю о подобных вещах в такой момент, но я покину вас послезавтра, а когда вы вернетесь в Париж, может уже будет поздно. Слушайте... Я — бедняк, ничего не имеющий, вся карьера которого еще впереди, — вы это знаете. Но у меня есть настойчивость, некоторый ум, я на хорошей дороге... Если человек с положением, — знают, что он может дать; если человек еще

только начинает, — не знают к чему он придет. Тем хуже, или тем лучше в этом случае. Словом, я вам однажды сказал у вас, что моя сокровенная мечта — жениться на такой женщине, как вы. Теперь я вам это повторяю. Не отвечайте мне сейчас. Позвольте мне продолжать. Я не делаю вам сейчас предложения... время и место для этого слишком неподходящи. Я хочу только, чтобы вы знали, что можете осчастливить меня одним словом, можете сделать из меня друга, брата, — если захотите мужа, — что мое сердце и весь я принадлежу вам. Я не хочу, чтобы вы мне сейчас отвечали, не хочу, чтобы мы сейчас здесь об этом говорили. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять ваше решение. До тех пор — ни слова. Не правда ли?

Он выпалил все это, не глядя на нее, точно бросал слова в расстилавшуюся перед ним темноту ночи. Казалось, и она ничего не слыхала, оставаясь все время неподвижной, глядя тоже перед собой, устремив неподвижный взгляд на бледный пейзаж, освещаемый луной. Они долго простояли рядом, касаясь друг друга локтями, размышляя про себя.

Потом она прошептала: — Мне холодно — и, повернувшись, направилась к постели. Он последовал за ней.

Приблизившись к трупу, он нашел, что, действительно, Форестье начал пахнуть и, отодвинув свое кресло, так как не мог больше выносить трупного запаха, сказал: — Надо положить его завтра с утра в гроб.

Она ответила: — Да, да, непременно; столяру уже велено придти к восьми часам.

Дюруа вздохнул: «Бедняга»!.. Она также вздохнула громко и жалобно.

Они теперь реже взглядывали на него, уже свыкшись с представлением о смерти, начиная мысленно примиряться с этим исчезновением, которое еще только что возмущало их, таких же смертных.

— О! борода! — Она выросла в несколько часов на этом трупе так, как выросла бы на лице живого... Они стояли, ошеломленные этим проявлением жизни у мертвого, точно перед сверхъестественной угрозой воскресения,

перед одной из страшных аномалий, потрясающих и сбивающих с толку...

Затем, они оба отправились отдыхать до одиннадцати часов и, после того, как уложили Шарля в гроб, почувствовали облегчение и спокойствие... За завтраком сидели друг против друга, чувствуя потребность говорить о более веселых вещах — вернуться к жизни, раз они уже поконтчили со смертью...

Окно было открыто настежь, и в него врывалось нежное дуновение весны, сладкий аромат гвоздики, цветшей у входа.

Г-жа Форестье предложила Дюруа пройтись по саду, и они принялись ходить вокруг зеленеющей клумбы, с наслаждением вдыхая тепловатый воздух, насыщенный запахом пихт и эвкалиптов.

Вдруг, она заговорила, не повертывая к нему лица, так же, как говорила ночью, наверху. Сказала медленно, тихо и серьезно:

— Послушайте, мой дорогой друг, я много думала... уже... о том, что вы сказали, и не хочу, чтобы вы уехали, не получив от меня ни слова в ответ. Впрочем, я не скажу вам ни да, ни нет. Мы подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга. Я хочу, чтобы и вы с своей стороны, хорошенько обдумали этот шаг. Не поддавайтесь легкому минутному увлечению. Если я говорю теперь с вами об этом раньше, чем бедняжку Шарля опустят в могилу, то это потому, что я считаю нужным после ваших слов ознакомить вас с некоторыми моими взглядами, чтобы вы не питали ложных надежд в случае... если... окажется, что вы неспособны меня понять...

— Постарайтесь же меня понять, как следует. Я смотрю на брак — не как на узы, а как на свободное товарищество. Я понимаю под этим свободу, полную свободу во всех моих поступках, действиях, отлучках из дому... Я бы не перенесла ни контроля, ни ревности, ни обсуждения моего поведения. Разумеется, я обязуюсь никогда не скомпрометировать имени человека, за которого я выйду замуж, никогда не поставить его в смешное или дурацкое положение. Но он, со своей стороны, должен видеть во мне товарища, равную, а не подчиненную, бессловес-

ную и покорную рабу. Я знаю, что мои взгляды разделяются далеко не всеми, но я изменить их не могу. Вот и все.

— Еще два слова: Не отвечайте мне теперь, — это неуместно и бесполезно. Когда мы снова увидимся, тогда у нас будет время еще об этом поговорить. Теперь ступайте прогуляться; я же вернусь к нему. До вечера.

Он медленно поцеловал ее руку и ушел, не сказав ни слова. Вечером они встретились только за обедом. Потом разошлись по своим комнатам, оба изнемогающие от усталости.

На следующий день Шарля Форестье похоронили на Каннском кладбище без всякой помпы. Жорж Дюруа решил уехать со скорым поездом, отходящим в Париж в половине второго.

Г-жа Форестье проводила его на вокзал. Они спокойно разгуливали по платформе, ожидая отхода поезда и болтая о всяких пустяках.

Подшел поезд, типичный экспресс, состоящий из пяти вагонов. Журналист отыскал свое место, затем вышел, чтобы еще поболтать с нею несколько минут, вдруг охваченный грустью при мысли о расставании... точно терял ее навеки.

Кондуктор закричал: — Марсель, Лион, Париж, — садиться! — Дюруа вошел, затем подошел к окну, чтобы успеть сказать ей еще несколько слов. Локомотив засвистел, и поезд медленно тронулся...

Молодой человек, высунувшись из вагона, смотрел на молодую женщину, стоявшую неподвижно на платформе и провожавшую его взглядом. И вдруг, когда она уже должна была скрыться из вида, он поднес руку к губам, чтобы послать ей воздушный поцелуй... Она ответила тем же, — только более робким, сдержанным, еле заметным движением

ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

I.

Жорж Дюруа вернулся к своим прежним привычкам. Поселившись в маленькой квартире в Константинопольской улице, он стал жить тихо и скромно, как человек, готовящийся к новой жизни. Его отношения к г-же де-Марель приняли спокойный характер, словно он считал их переходом к браку. Удивленная его спокойной уравновешенностью, она часто говорила, смеясь: — Ты скучнее моего мужа; право, не стоило менять.

Г-жа Форестье не приезжала. Задержалась в Канне. Он получил от нее письмо, в котором она извещала, что придет только в половине апреля, ни одним словом не намекая на сцену их прощанья. Он ждал. Решился пустить в ход все зависящие от него средства, чтоб жениться на ней, если она начнет колебаться... Он верил в свою счастливую звезду, — в неотразимость своего обаяния, подчинявшего ему женщин.

Коротенькая депеша предупредила его о приближении решительной минуты:

«Я в Париже. Придите ко мне. Мадлена Форестье».

Больше ничего. Почтальон принес ее в девять часов.

В тот же день, в три часа, он явился к ней. Она протянула ему обе руки, со своей прелестной, любезной улыбкой. В течение нескольких минут они пристально смотрели друг на друга.

Она прошептала: — Как вы были добры, что не оставил меня одну в те ужасные дни.

Мопассан, Милый Друг.

Он ответил:—Я сделал бы все, что бы вы мне ни приказали.

Они сели. Она расспрашивала его обо всех новостях, о Вальтерах, о сотрудниках, о газете. Она о ней часто вспоминала.

— Мне ее не доставало,—сказала она. — Я журналистка в душе. Что делать, я так люблю это ремесло.

Она замолчала. Ему показалось, что он уловил отглаголов призыва в ее улыбке, в тоне голоса, в словах. И, хотя он решил не форсировать событий, но, всетаки, пробормотал:

— Но почему бы вам... почему бы вам... не продолжать заниматься этим ремеслом под... фамилией Дюруа?

Она, сделавшись вдруг серьезной, положила руку на его плечо и прошептала: — Пока не будем говорить об этом.

Он понял, что она соглашается, и, упав к ее ногам, стал покрывать ее руки страстными поцелуями, повторяя прерывающимся голосом: — Благодарю, благодарю... Как я люблю вас!

Она встала. Последовав ее примеру, он замедил, что она поблелдела. Он понял, что нравится ей, — быть может, уже давно. Они стояли лицом к лицу; он обнял ее и поцеловал в лоб нежно и дружески.

Она вырвалась из его объятий и продолжала серьезным тоном: — Слушайте, друг мой, я еще не пришла ни к какому решению. По всей вероятности: да. Но вы должны обещать мне хранить это в величайшей тайне, пока я не скажу вам.

Он дал слово и ушел, не помня себя от радости.

С этого дня он стал приходить к ней, обставляя свои визиты всевозможными предосторожностями, не требуя от нее определенных решений, В ее манере говорить о будущем, произносить слово «потом», в проектах, касающихся их обоих, таилось нечто более интимное и глубокое, чем в самом категорическом обещании.

Дюруа неутомимо работал и мало тратил, стараясь накопить кое-какие деньжонки ко дню свадьбы. Он сделался настолько же скуп, насколько прежде был расточителен.

Прошло лето и потом осень; ни у кого не возникало ни

малейшего подозрения, в виду их редких свиданий, носивших обычный, светский характер.

Однажды вечером, Мадлена сказала, не спуская с него пристального взгляда: — Вы еще не сообщили о нашем намерении г-же де-Марель?

— Нет, моя дорогая; обещав вам хранить это в тайне, я не обмолвился ни словом ни одной душе.

— Теперь пора предупредить ее. Со своей стороны, я сообщу об этом Вальтерам. Вы ей скажете на этой же неделе, правда?

Он покраснел: — Да, завтра же

Она слегка отвернулась, словно не желая замечать его волнение, и продолжала: — Если вы ничего не имеете против, мы можем повенчаться в начале мая. Это очень удобно.

— Я буду чувствовать себя счастливым, повинуюсь вам.

— Мне очень хочется, чтобы свадьба была десятого мая, в субботу, потому что это день моего рождения.

— Прекрасно: десятого мая.

— Ваши родители живут возле Руана? По крайней мере, вы мне так говорили.

— Да, возле Руана, в Кантле.

— Чем они занимаются?

— Они... мелкие рантьеры.

— Мне очень хочется повидаться с ними.

Им овладело смущение: — Но, ведь, они... они...

Потом он решился заговорить откровенно, как подбаивает решительному человеку: — Дорогая моя, они — простые крестьяне, держат трактир; лезли из кожи, чтобы дать мне образование... Я не стыжусь их, но их простота... их грубость... могут вам не понравиться...

Г-жа Форестье очаровательно улыбнулась нежной, доброй улыбкой.

— Я буду их очень любить. Мы поедем к ним. Это мое желание. Мы еще поговорим об этом. Я тоже из бедной семьи... мои родители умерли. У меня нет ни одного близкого человека на свете... Она протянула ему руку, прибавив: — кроме вас

Он почувствовал себя растроганным и побежденным; до сих пор он не испытывал ничего подобного в обществе других женщин.

— Я думаю об одной вещи, — сказала она, — но это трудно объяснить...

Он спросил: — Что же именно?

— Видите ли, дорогой мой, как у всех женщин, у меня есть свои слабости, прихоти; я люблю все, что блестит и звенит. Мне хотелось бы носить аристократическую фамилию. Не могли ли бы вы, по случаю нашего брака... немножко облагородить свою фамилию?

Теперь она покраснела, словно уличенная в не совсем благовидном намерении.

Он ответил просто: — Я часто об этом думал, но нахожу, что это не так легко осуществить.

— Почему?

Он засмеялся: — Я боюсь показаться смешным.

Она пожалала плечами: — Какой вздор! Все это делают, и никто над этим не смеется. Разделите пополам вашу фамилию. «Дю-Руа». Это великолепно.

Он возразил тоном знатока:

— Это нужно сделать не так. То, что вы предлагаете, слишком просто и банально. Я хотел сначала взять для своего псевдонима название нашей деревни. Потом, постепенно, начать прибавлять его к моей фамилии и затем разделить ее пополам, как вы только что предложили...

Она спросила: — Ваша деревня называется Кантле?

— Да.

Она задумалась: — Нет, мне не нравится окончание. Нельзя ли немножко изменить это название... Кантле?

Взяв на столе перо, она стала набрасывать на бумаге различные фамилии, изучая их со звуковой стороны. Вдруг она воскликнула: — Я придумала, смотрите!

Она протянула ему бумагу; он прочел: «Госпожа Дю-руа де-Кантель».

Он подумал несколько секунд, потом объявил торжественно:

— Да, это очень хорошо.

Она повторяла с восхищением:

— Дюруа де-Кантель, Дюруа де-Кантель, госпожа Дюруа де-Кантель. Это великолепно, великолепно!

Она прибавила с убежденным видом: — Вы увидите, как просто все отнесется к этому.

Но не нужно терять времени, потому что потом будет поздно. С завтрашнего дня вы будете подписываться под хроникой: Д. де-Кантель, а под заметками Дюруа. Это принято среди журналистов, и никто не удивится, что вы пишете под псевдонимом.

— Ко времени нашей свадьбы мы еще кое-что изменим, скажем нашим друзьям, что вы из скромности отказываетесь от частички дю, на которую имеете право. Или даже совсем ничего не скажем. — Как зовут вашего отца?

— Александр.

Она повторила несколько раз: «Александр, Александр», вслушиваясь в созвучие слогов; потом написала на чистом листке: «Господин и госпожа Александр дю-Руа-де-Кантель имеют честь просить вас на бракосочетание своего сына Жоржа дю-Руа-де-Кантель с госпожей Мадленой Форестье».

Когда он вышел на улицу, он уже окончательно решил переименоваться в дю-Руа и даже дю-Руа-де-Кантель. И ему казалось, что это придало ему важности.

Он шел смелей, с высоко поднятой головой, с закрученными усами, как подобало идти дворянину. Ему хотелось радостно объявить всем прохожим:

— Меня зовут дю-Руа-де-Кантель.

Но вернувшись домой, он с беспокойством вспомнил о г-же де-Марсель и сейчас же написал ей, прося ее придти на другой день.

— Это не так-то просто, — подумал он. — Она мне закатит ужасную сцену.

Затем, со свойственной ему беспечностью, помогавшей ему равнодушно относиться к неприятным сторонам жизни, он уселся писать фантастическую статью о новых налогах, необходимых для равновесия бюджета. Годовой налог на дворянское достоинство он оценил во сто франков; налог же на прочие титулы — начиная от баронского и кончая княжеским — от пятисот до тысячи франков в год. Он подписался Д. де-Кантель.

На другой день он получил «синюю бумажку» от своей любовницы; она сообщала, что придет в час.

Он чувствовал себя несколько взволнованным в ожидании ее прихода, и решил сразу же объявить ей обо всем. Когда пройдет первый взрыв негодования, он докажет ей логическими рассуждениями, что не может же он оставаться холостяком на всю жизнь. И что в виду упорной жизнеспособности г. де-Мареля, ему необходимо было подумать о выборе другой — законной подруги... Но, тем не менее, он был расстроен. У него сильно забилося сердце, когда он услышал звонок.

Она бросилась в его объятия: — Здравствуй, Милый Друг!

Удивленная его холодностью, она пристально посмотрела на него и спросила:

— Что с тобой?

— Садись, — сказал он. — Нам нужно поговорить серьезно.

Она села, не снимая шляпы, откинула вуаль и стала ждать. Дюруа опустил глаза, придумывая с чего начать. Потом он медленно заговорил:

— Дорогая моя, я сейчас очень взволнован, опечален и расстроен предметом нашего разговора. Я тебя очень люблю—люблю от всего сердца. Страх причинить тебе горе терзает меня еще больше, чем новость, о которой идет речь.

Она побледнела, дрожа всем телом, и пробормотала:

— Но что же случилось? Говори скорей!

Он произнес грустным и, в то же время, решительным тоном, употребляемым в тех случаях, когда хотят скрыть радость:

— Я женюсь.

Она вздохнула, как вздыхают женщины, готовые упасть в обморок; этот вздох походил на стон, вырвавшийся из глубины души. Она не могла произнести ни одного слова и задыхалась.

Успокоенный ее молчанием, он продолжал: — Ты не можешь себе представить, сколько я выстрадал, прежде чем пришел к этому решению. У меня нет ни положения, ни состояния. Я совершенно один в Париже. И нуждаюсь

в существе, которое утешало бы меня и поддерживало своими советами. Мне нужен товарищ, которого я искал и нашел!

Он замолчал, выжидая ее ответа, приготовившись отражать оскорбления и взрывы негодования. Она приложила руку к сердцу, словно желая успокоить его, и продолжала тяжело дышать, с трепещущей грудью и слегка дрожащей головой.

Он взял ее руку, бессильно упавшую на кресло. Она быстро вырвала ее и прошептала, словно теряя сознание:

— О, Боже мой!

Еслиб она начала осыпать его оскорблениями, на него это не произвело бы никакого впечатления, но ее молчание подействовало на него угнетающе. Он упал перед ней на колени, не осмеливаясь прикоснуться к ее одежде и бормотал:—Кло, моя маленькая Кло, войди в мое положение! Для меня было бы величайшим счастьем, еслиб я мог жениться на тебе. Но, ведь, ты замужем. Что же мне остается делать? Подумай хорошенько! Я должен выйти в люди, а для этого мне нужно жить своим домом. Еслиб ты знала!.. Бывали часы, когда мне хотелось убить твоего мужа...

Он говорил своим мягким, нежным, обольстительным голосом, звучавшим, как музыка.

На глазах его любовницы показались две слезы; когда они скатились по щекам, две другие задрожали на ресницах.

Он шептал:—Не плачь, Кло, не плачь, умоляю тебя! Ты разрываешь мне сердце.

Она напрягла все силы, желая со спокойным достоинством перенести удар. Спросила дрожащим голосом, каким говорят женщины, когда они вот-вот зарыдадут:

— На ком ты женишься?

Он помедлил секунду, но, сознавая, что это неизбежно, ответил:

— На Мадлене Форестье.

Г-жа де-Марель вздрогнула всем телом и затем снова погрузилась в раздумье; она, казалось, совсем забыла о том, что он стоял на коленях перед ней.

На ее ресницы беспрестанно навертывались прозрачные капли, стекавшие по щекам и снова появлявшиеся...

Она встала. Дюруа понял, что она хочет уйти, не сказав ни слова упрека, но и не простив. Он почувствовал себя униженным и оскорбленным до глубины души. Желая удержать ее, он вцепился в ее платье, сжимая сквозь материю округленные, сопротивлявшиеся ноги.

Он умолял:—Заклинаю тебя, не уходи так.

Она смерила его взглядом. В ее заплаканных глазах дрожало все очарование скорби женского сердца. Она прошептала:

— Я... мне нечего сказать... Я... я ничего не могу сделать... Ты... ты прав... Ты... ты... сделал хороший выбор...

Она вырвалась, откинувшись назад, и ушла; он больше не удерживал ее.

Оставшись один, он встал, ошеломленный, словно ему дали пощечину; потом, успокоившись, прошептал:—Ей Богу, не знаю,—хуже это или лучше. Но зато кончено... без сцен. Я предпочитаю это...—Освободившись от страшной тяжести, сознавая себя свободным, как птица, готовым вступить в новую жизнь, он принялся стучать о стену кулаками, опьяненный успехом и подъемом сил, готовый вызвать на бой самую судьбу.

Когда г-жа Форестье спросила его:—Вы предупредили госпожу де-Марель?

Он ответил спокойно:—Да...

Она пристально посмотрела на него своими светлыми глазами:

— Это ее не расстроило?

— Ничуть. Наоборот. Она нашла, что все очень хорошо.

Новость быстро распространилась. Одни изумлялись, другие уверяли, что предвидели это, третьи подсмеивались, давая понять, что их ничем не удивить.

Молодой человек подписывался теперь под хроникой: «Д. де-Кантель», под заметками: «Дюруа» и под передовицами: «Дю-Руа».

Большую часть дня он проводил у своей невесты, относясь к ней с братской фамильярностью, под которой

скрывалась искренняя нежность и плохо замаскированная страсть.

Она решила, что свадьба совершится втихомолку, — будут присутствовать только свидетели. Вечером они уедут в Руан; на следующий день навестят старых родителей журналиста и проведут у них несколько дней.

Дюруа пытался отговорить ее от этого намерения, но когда его старания оказались тщетны—он подчинился.

10-го мая новобрачные, не венчавшиеся в церкви, в виду того, что они никого не приглашали, наскоро покончив в мэрии с необходимыми формальностями, вернулись домой, захватили чемоданы и отправились на Сен-Лазарский вокзал. Вечерний шестичасовой поезд умчал их в Нормандию.

Им не удалось обменяться даже двадцатью словами до той минуты, когда они очутились вдвоем в вагоне. Как только поезд тронулся, они взглянули друг на друга и засмеялись, желая скрыть овладевшее ими смущение.

Поезд медленно обогнул длинный Батиньольский вокзал, потом перерезал унылую равнину, тянущуюся от городских укреплений до Сены.

Дюруа и его жена, от времени до времени, произносили незначительные слова и снова принимались глядеть в окно.

Когда они переехали через Аньерский мост, их охватило радостное волнение при виде реки, покрытой судами, рыбацкими лодками и яликами. Могучее майское солнце отбрасывало косые лучи на лодки и на спокойную реку, казавшуюся неподвижной, застывшей в жаре и блеске умиравшего дня. По середине реки, парусная лодка распустила большие белые треугольники, подстерегавшие трепетание легкого ветерка. Она казалась большой птицей, готовой улечь.

Дюруа прошептал:—Я так люблю окрестности Парижа; у меня с ними соединены все лучшие воспоминания...

Она ответила:—А эти лодки! Как приятно скользить по воде в лучах заходящего солнца!

Они замолчали, словно не осмеливаясь касаться воспо-

минаний о своей прошлой жизни, может быть, растроганные поэзией прошедшего.

Дюруа взял руку жены и поцеловал ее.

— Когда вернемся в Париж, иногда будем ездить в Шату обедать,—сказал он.

Она прошептала:—У нас будет столько дела!

Казалось, она хотела этим сказать: «Нужно жертвовать приятным для полезного».

Он продолжал держать ее руку, с беспокойством спрашивая себя,—каким образом перейти к выражению своей любви. Он не чувствовал бы себя смущенным, если бы жена его была невинной молодой девушкой. Но утонченная опытность Мадлены, которую он угадывал в ней, парализовала его. Он боялся показаться ей неопытным, слишком робким или слишком грубым, слишком медлительным или слишком торопливым.

Он сжимал ее руку, не получая ответа. Сказал:

— Меня очень забавляет мысль, что вы—моя жена.

Она спросила изумленно:

— Почему?

— Не знаю. Это мне кажется забавным. Мне хочется поцеловать вас и меня удивляет, что я имею на это право.

Она спокойно подставила ему щеку и он коснулся ее братским поцелуем.

Он продолжал:—В первый раз, когда я вас увидел (вы помните, во время обеда, на который я был приглашен Форестье), я подумал: «Чорт возьми! Еслиб я мог найти женщину, подобную этой!» И вот: Я нашел ее.

Она прошептала:—Это очень мило,—и пристально поглядела на него со своей неизменной улыбкой.

Он подумал:—«Я слишком холоден. Я глуп. Нужно быть смелее»... Спросил:—Каким образом вы познакомились с Форестье?

Она ответила с лукавым вызовом:—Разве мы едем в Руан для того, чтобы говорить о нем?

Он покраснел:—Я глуп. В вашем присутствии я дурею.

Это ей польстило:—Неужели? Почему это?

Он сел рядом с ней, почти касаясь ее. Она вскрикнула:

— Ах! коза!

Поезд ехал по Сен-Жерменскому лесу, и она увидела испуганную козу, одним прыжком перескочившую через аллею.

Пока она смотрела в раскрытое окно, Дюруа наклонился к ней и впился долгим страстным поцелуем в ее затылок.

Она не двигалась в течение нескольких секунд; потом подняла голову:

— Щекотно... Перестаньте.

Но он не оставлял ее, впиваясь долгими, жадными поцелуями, касаясь завитыми усами ее белой шеи.

Она вырывалась:

— Перестаньте же.

Он обхватил правой рукой ее голову и, повернув к себе лицо, накинудся на ее губы, как ястреб на добычу.

Она продолжала вырываться, отталкивая его, освобождаясь из его объятий. Наконец, это ей удалось и она повторила:

— Перестаньте же.

Он не слушал и опять обнял ее, покрывая страстными поцелуями, стараясь опрокинуть ее на подушки дивана.

Напрягая все силы, она вырвалась и быстро встала:

— Перестаньте, Жорж. Мы, ведь, не дети и можем подождать пока приедем в Руан.

Он сидел, весь красный, охлажденный ее рассудительными словами. Немного успокоившись, он сказал:—Хорошо, я подожду; но до Руана вы не услышите от меня и двадцати слов. Подумайте хорошенько: теперь мы в Пуасси.

Она ответила:—Я буду говорить одна,—и села возле него.

Она подробно объяснила ему, какая жизнь ждет их по возвращении. Они останутся жить в той же квартире, где она жила со своим первым мужем; к Дюруа перейдут обязанности и жалованье Форестье во «Французской Ж и з н и».

Еще до свадьбы она обсудила, с аккуратностью делового человека, мельчайшие подробности финансовой стороны их жизни.

Они соединились на условиях неотчуждаемости иму-

щества. Были приняты в соображение все случайности: смерть кого-либо из супругов, развод, рождение одного или нескольких детей. Молодой человек, по его словам, имел четыре тысячи франков; из них полторы тысячи были взяты в долг, остальные являлись результатом его сбережений в течение этого года. Г-жа Форестье имела сорок тысяч франков, которые, по ее словам, оставил ей Форестье.

Упомянув о своем первом муже, она похвалила его:— Он был очень расчетливый, трудолюбивый человек; и скоро разбогател бы.

Дюруа не слушал больше, — занятый другими мыслями. Она иногда останавливалась, погружаясь в раздумье, потом продолжала:

— Через три или четыре года вы сможете зарабатывать от тридцати до сорока тысяч в год. Столько бы получал и Шарль, если бы он не умер.

Жорж, которому прискучили наставления, ответил:

— Мне кажется, мы едем в Руан не для того, чтобы говорить о нем.

Она засмеялась и слегка ударила его по щеке:— Это правда. Я виновата.

Он сложил руки на коленях, как благонравный мальчик.

— У вас глупый вид, — сказала она.

Он ответил:— Я играю роль, которую вы мне сами навязали. Я из нее не выйду.

Она сказала:— Как так?

— Ну, да. Ведь, вы берете на себя управление домом и даже моей особой. Это, впрочем, приличествует вам, вдове.

Она удивилась:

— Что вы этим хотите сказать?

— То, что вы, в качестве опытной замужней женщины, должны просветить меня, невежественного холостяка. Вот что.

Она воскликнула:— Это уж слишком!

Он ответил:— Но, все же, это так. Я, ведь, не знаю женщин, а вы, как вдова, знаете мужчин, вот вы и займетесь

моим воспитанием... сегодня вечером или даже сейчас, если хотите.

Она развеселилась:

— Если вы полагаетесь в этом на меня!..

Он произнес тоном ученика, отвечающего урок:— Да, да, я полагаюсь на вас. Я надеюсь, что вы дадите мне серьезное образование... в двадцать уроков... десять элементарных... чтение и грамматика... десять высшего курса... по риторике... Ведь, я ничего не знаю...

Это ее забавляло:

— Ты глуп.

Он продолжал:— Если ты говоришь мне «ты», я последую твоему примеру. Я скажу тебе, моя дорогая, что люблю тебя все больше и больше, и с минуты на минуту любовь моя усиливается; я нахожу, что Руан слишком далеко!

Он говорил с актерскими интонациями и гримасами смешившими молодую женщину, привыкшую к непринужденным манерам и шуткам литературной богемы.

Она поглядывала на него искоса, находя его очаровательным, испытывая желание, похожее на то, какое появляется при виде спелого плода на дереве. Но ее удерживала рассудительность, советовавшая ей насладиться этим плодом в свое время, за обедом.

Она сказала, покраснев от волновавших ее мыслей:

— Мой милый ученик, поверьте моей опытности. Не следует целоваться в вагоне. Это портит аппетит.

Покраснев еще больше, она прошептала:— Не следует жать хлеб незрелым.

Дюруа смеялся, возбужденный намеками, которые чувствовались в словах, произносимых ее прелестным ротиком. Он перекрестился, шевеля губами, словно шептал молитву, и объявил: — Отдаю себя под покровительство святого Антония, патрона Искушений. Теперь я как бронзовый.

Ночь мягко спускалась, обволакивая прозрачной тенью, подобной легкой вуали, большую деревню, раскинувшуюся по правой стороне. Поезд ехал вдоль Сены. Молодые люди стали смотреть на реку, развернувшуюся, как широкая лента из полированного металла, с красными

отблесками, упавшими с неба, поревшими пурпуром и огнем—следами заходившего солнца. Эти отблески, мало-по-малу, гасли, темнели, жутко омрачаясь. Деревья потонула во мраке, со зловещим трепетом, трепетом смерти, пробегающим по земле в сумеречные часы.

Сквозь раскрытое окно вечерняя грусть проникла в души, такие радостные за минуту до этого. Супруги замолкли.

Они прижались друг к другу, всматриваясь в агонию прекрасного, светлого, майского дня.

В Манте зажгли лампочку, озарившую серое сукно диванов желтым, дрожащим светом.

Дюруа обнял жену и притянул ее к себе. Острая возбужденность сменилась в нем мягкой нежностью, жадной тихих, ободряющих поцелуев, ласковых слов, которыми убаюкивают детей.

Он прошептал:—Как я буду любить тебя, моя маленькая Мад!

Нежность его тона тронула молодую женщину и заставила ее вздрогнуть. Она протянула ему губы для поцелуя, слегка нагнувшись, потому что он прижался щекой к ее теплой груди.

Этот долгий, молчаливый поцелуй неожиданно прервался безумным объёмом, торопливой, судорожной борьбой двух тел, грубым, неловким актом. Слегка сконфуженные, они держали друг друга в объёмах, усталые и томные, пока свисток локомотива не возвестил близости остановки.

Она объявила, приглаживая концами пальцев растрепавшиеся на висках волосы:

— Это глупо. Мы ведем себя точно школьники.

Он ответил, покрывая судорожными поцелуями ее руки:—Я тебя обожаю, моя маленькая Мад!

До самого Руана они не шевельнулись, прижавшись друг к другу, устремив глаза в окно, подернутое ночным мраком. От времени до времени, мелькали огоньки домов. Они мечтали, счастливые своей близостью, охваченные желанием еще более страстных и полных объятий.

Остановились в отеле, выходившем окнами на набережную, и, после легкого ужина, легли спать. На дру-

гой день горничная разбудила их в восемь часов. Когда они еще в постели пили чай, Дюруа посмотрел на жену, и внезапно, с радостным порывом счастливец нашедшего сокровище, обнял ее, шепча:—Моя маленькая Мад, я чувствую, что очень люблю тебя... очень... очень...

Она улыбалась доверчивой и довольной улыбкой и сказала, возвращая ему поцелуй:—И я тоже... кажется...

Но его смущал визит к родителям... Он уже много говорил с женой по этому поводу, приготавливая ее. И считал нужным предупредить ее еще раз:

— Но только помни:—Они—крестьяне, настоящие, а не те, которых изображают в оперетке.

Она засмеялась:—Я знаю. Ты мне уже довольно говорил об этом.

— Вставай. Я хочу одеваться.

Он сел на постель и сказал, надевая носки:

— Нам будет очень неудобно там. В моей комнате старая кровать с соломенным тюфяком. В Кантле не подозревают о существовании пружинных матрацов.

Она восхитилась:—Тем лучше. Так приятно плохо спать... рядом... рядом с тобой... Нас разбудит пение петуха.

Она надела свободный белый фланелевый пеньюар.

Дюруа узнал его и ему стало неприятно. Почему? Положим, он знал, что у его жены была целая дюжина таких пеньюаров. Но разве она не могла купить новый? Ему хотелось, чтобы у нее было новое белье,—свидетель любви... Казалось, что на мягких, теплых тканях сохранились еще следы прикосновений Форестье...

Он отошел к окну, закулив папиросу.

При виде порта, широкой реки, загроможденной судами, струек дыма, выпускаемых с шумом трубами, он пришел в радостное настроение, хотя картина была ему хорошо знакома. И закричал:

— Чорт возьми! как это красиво!

Мадлена подбежала и, опершись о плечо мужа, наклонилась к нему нежным движением. Она стояла, очарованная и взволнованная, повторяя:—Как это прекрасно! как это прекрасно! Я и не знала, что на реке может быть столько судов!

Через час они выехали, потому что должны были завтракать у стариков. Заржавленная пролетка без верха везла их, оглушительно дребезжа.

Они проехали по длинному, унылому бульвару, пересекли луга, по которым струилась речка, и стали взбираться на холм.

Утомленная Мадлена дремала под горячей лаской солнца, очаровательно пригревавшего ее в уголке экипажа, словно она покоилась в теплых волнах света и воздуха.

Муж разбудил ее:—Посмотри,—сказал он

Они поднялись на две трети холма и остановились на месте, известном живописностью панорамы и посещаемом путешественниками.

Это место возвышалось над обширной долиной, по которой протекала волнующаяся река. Она виднелась вдаль, испещренная бесчисленными островками, потом описывала дугу и пересекала Руан. На правом берегу раскинулся город, слабо подернутый дымкой утреннего тумана, с блестящими на солнце крышами и тысячью колоколен, воздушных, заостренных или срезанных, хрупких, изукрашенных, точно гигантские безделушки, колоколенками, круглыми или квадратными башнями, увенчанными геральдическими коронами. Над верхушками готических церквей поднималась заостренная стрела кафедрального собора, бронзовая игла, странная, уродливая, высочайшая во всем мире.

На другом берегу реки возвышались тонкие, круглые, вздутые на концах, трубы заводов обширного Сен-Северского предместья.

Более многочисленные, чем их сестры колокольни, они исчезали в дали полей своими кирпичными колоннами, испещряя голубое небо черным дыханием.

Самый высокий из всех, почти такой же высокий, как пирамида Хеопса, вторая по высоте вершина, созданная человеческими руками, почти равный своей гордой подруге, стреле кафедрального собора, большой паровой пасос «Фудр» казался царем среди всех трудолюбивых, дымящихся труб заводов.

Ниже, за рабочим городом, расстился сосновый

лес. Сена продолжала здесь свой путь, вдоль высокого холмистого берега, покрытого сверху деревьями и показывавшего местами свой белокаменный остов. Описав длинную округленную дугу, она исчезала на горизонте. По реке плыли суда, увлекаемые буксирными пароходиками, маленькими, как мухи, выпускавшими густой дым. Островки тянулись цепью или следовали один за другим на некотором расстоянии, как неравные зерна зеленых четок.

Кучер ожидал, пока путники прекратят свои восторженные излияния. Благодаря опыту, он мог определять большую или меньшую длительность восторженного настроения у своих господ.

Когда экипаж тронулся, Дюруа увидел, на расстоянии нескольких сотен метров, идущих по дороге старика и старуху. Он выскочил из экипажа, крича:—Вот они. Я их узнал.

Они шли неровной походкой, раскачиваясь и толкаясь. Старик был приземистый, краснолицый, с округлившимся брюшком, крепкий, несмотря на свой возраст. Старуха—высокая, сухая, сгорбленная, печальная—настоящая сельская работница, трудившаяся с детства, никогда не смеявшаяся, в то время, как ее муж непрестанно болтал, выпивая с посетителями.

Мадлена тоже вышла из экипажа и смотрела на этих бедняков, с сжавшимся сердцем, с неожиданной печалью... Они не узнали своего сына в этом красивом щеголе и ни за что на свете не догадались-бы, что эта очаровательная дама в светлом платье—их невестка.

Они шли быстро, молча, навстречу ожидаемому сыну, не обращая внимания на этих горожан, за которыми следовал экипаж.

Они прошли. Жорж засмеялся и закричал:—Здравствуй, батя Дюруа!

Они оба разом остановились, ошеломленные и растерявшиеся от изумления. Старуха первая пришла в себя и пробормотала, не двигаясь с места:—Это ты, сынок?

Молодой человек ответил:—Он самый, мать Дюруа.—Подойдя к ней, он поцеловал ее в обе щеки горячим сы-

новним поцелуем. Потом потерял щеками о щеки отца, снявшего фуражку, сшитую по Руанской моде из черного шелка, очень высокую, вроде шапок мясников.

Жорж представил:—Вот моя жена.

Крестьяне посмотрели на Мадлену. Посмотрели, как на нечто необычайное, с беспокойным страхом, смешанным у отца с одобрительным довольством, у матери—с ревнивой враждебностью.

Старичок, от природы веселый, насыщенный хмелем сидра и алкоголя, осмелился спросить, лукаво подмигнув глазом:

— А поцеловать-то можно?

Сын ответил:—Ну, конечно.—Мадлена должна была подставить щеки звучным поцелуем крестьянина, вытершего затем рот ладонью. Старуха, в свою очередь, поцеловала невестку с ледяной сдержанностью. Она не являлась для нее желанной невесткой. Она мечтала о толстой, краснощекой фермерше, румяной, как яблочко, круглой, как племенная кобыла. Что касается этой дамы, она походила на гулящую девку, с своими фалбарами и «запахом мускуса». По мнению старухи все духи пахли «мускусом».

Пошли пешком за экипажем, везшим чемоданы молодых.

Старик взял сына под руку и, замедляя шаги, спросил его с любопытством:

— Дела идут на лад?

— Да, очень хорошо.

— Отлично, тем лучше. А у жены-то есть деньги?

— Сорок тысяч франков.

Старик слегка присвистнул от удовольствия и только пробормотал: «чорт возьми!» так он был ошарашен этой суммой. И прибавил убежденным тоном:—Чорт возьми, она просто красавица!—Она ему понравилась. В свое время он слыл знатоком по части женского пола.

Мадлена и мать шли рядом, не говоря ни слова. Мужчины догнали их.

Пришли в деревню, маленькую деревушку, тянувшуюся вдоль дороги. Она состояла из двадцати домиков и ферм, кирпичных и глиняных, с соломенными или чере-

пичными крышами. Кафэ отца Дюруа: «У красивого вида»,—одноэтажный домишко с мезонином, находился при входе в деревню, налево. Еловая ветвь, повешанная над дверью, по старинному обычаю, возвещала, что жаждущие могут войти.

Завтрак был накрыт в зале кабачка, на двух столах, составленных рядом и покрытых салфетками. Соседка, явившаяся помогать по хозяйству, приветствовала реверансом вошедшую элегантную даму, потом, узнав Жоржа, воскликнула: — Господи Иисусе, это ты, мальчуган?

Он отвечал весело:—Да, это я, тетка Брюлэн,—и расцеловал ее тотчас так же, как поцеловал отца и мать.

Потом, обернувшись к жене: — Пойдем в нашу комнату, ты там снимешь шляпу.

И повел ее через правую дверь в холодную, унылую комнату, с каменным полом, выбеленными стенами и постелью с холщевыми занавесками. Распятие, над крошечной иконой, и две олеографии, изображавшие Поля и Виргинию под голубой пальмой и Наполеона I на желтой лошади, служили единственными украшениями этого убогого жилища.

Как только они остались одни, он поцеловал Мадлену: — Здравствуй, Мад. Я очень рад повидать стариков. В Париже как то о них забываешь, но когда сводишься, все-таки приятно...

Но отец торопил их, стуча в стенку кулаком: — Скорее, скорее—суп на столе.

Завтрак был бесконечный, — целый ряд блюд, поданных как понало, — рулет после жигу, яичница после рулета. Старик Дюруа, развеселившийся от сидра и нескольких стаканов вина, открыл фонтан своего краспоречия, приберегаемого для больших празднеств, и рассказывал сальные, плоские анекдоты, будто бы приключившиеся с его друзьями. Жорж, знавший их все наизусть, все же хохотал, опыненный родным воздухом, счастливый свиданием с родиной, воспоминаниями, всякими мечтами детства — отметкой ножа на двери, кривым стулом, напоминающим какое-нибудь событие, ароматом земли, смолы и зелени из соседней рощи.

Старуха Дюруа все время молчала, печальная и суровая, рассматривая злыми глазами невестку; в ней пробуждалась ненависть старой труженицы, работницы, с огрубевшими руками и изуродованными тяжелым трудом членами, к этой горожанке, внушавшей ей отвращение нечистого существа, созданного для безделья и греха. Она ежеминутно вставала и выходила будто за кушаньями или чтобы подлить желтый кислый квас или красноватопенистый сидр, вышибавший пробки, точно шипучий лимонад.

Мадлена ничего не ела, ничего не говорила; сидела печальная, со своей обычной улыбкой, теперь унылой и покорной... Она чувствовала горечь, разочарование. Отчего? Ведь она же сама захотела приехать. И знала, что едет к крестьянам, мелким поселянам. Какими же она их себе представляла, она, — вообще не склонная к идеализации?

Знала ли она это? Разве женщины не всегда представляют себе вещи иными, чем они есть! Не представлялись ли они ей более поэтичными? Нет, — но может быть, более живописными, более любезными, более культурными... Хотя она вовсе не желала видеть их приукрашенными, как в романах... Так почему же они шокировали ее тысячью незаметных мелочей, тысячью неуловимых, свойственных их мужицкой натуре, грубостей, — словами, жестами, остротами?

Она вспомнила свою мать, о которой она никогда никому не говорила, — учительницу, соблазненную неизвестным и умершую от горя и нищеты, когда Мадлене было двенадцать лет. Неизвестный воспитал девочку. Был ли то ее отец? Этого она наверное не знала, хотя и подозревала.

Завтраку, казалось, не будет конца. Теперь входили посетители, пожимали руки старику Дюруа, восхищались при виде сына и поглядывали искоса на молодую женщину, лукаво подмигивали, точно хотели сказать: «Чорт возьми, вот так супруга у господина Жоржа Дюруа».

Другие, менее знакомые, садились за деревянные столы и командовали: — Литр! — Полштофа! — Две рюмки! —

и принимались играть в домино, громко стуча маленькими белыми и черными костяшками.

Старуха Дюруа беспрестанно вставала и ходила, прислуживая посетителям со своим унылым видом, получая деньги, вытирая столы концом своего синего передника.

Дым от глиняных трубок и дешевых сигар наполнял залу. Мадлена начала кашлять и сказала: — Если бы нам выйти? Я больше не могу...

Завтрак еще не кончился. Старик Дюруа выразил неудовольствие. Тогда она встала и села на стул у входной двери, ожидая, пока ее муж и свекор кончат кофе и вино.

Жорж скоро подошел к ней: — Хочешь спуститься к Сене? — сказал он.

Она согласилась с радостью: — Да! да, да! Идем.

Они спустились с горы, наняли в Круассе лодку и катались все послеобеденное время вдоль острова, под ивами, убаюкиваемые нежным дыханием весны и качаньем волн... В сумерки они вернулись.

Ужин, при свете свечей, показался Мадлене еще более тягостным, чем завтрак. Отец Дюруа, полупьяный, уже ничего не говорил. Мать продолжала хранить упорное молчание.

Скудный свет бросал на серые стены тени голов с огромными носами и преувеличенными жестами. Иногда показывалась гигантская рука с вилкой, похожей на вилы, и рот раскрывался, точно пасть чудовища, когда кто-нибудь, повернувшись, подставлял свой профиль желтому, колеблющемуся пламени.

Как только ужин кончился, Мадлена увлекла мужа на улицу, чтобы не оставаться в этой мрачной комнате, где все еще витал едкий запах дыма и пролитых напитков.

Когда они вышли, он сказал:

— Ты уже соскучилась.

Она хотела протестовать. Он остановил ее: — Нет, я это заметил. Если хочешь, — мы завтра же уедем.

Она прошептала:

— Да. Я очень этого хочу.

Они тихо подвигались вперед. Ночь была тихая и теплая; ласкающий сумрак, казалось, был полон легких звуков, шорохов, вздохов... Они вошли в узкую аллею,

под высокие деревья, окруженные с обеих сторон непро-
ницаемо-темной чащей.

Она спросила:

— Где мы?

Он ответил:

— В лесу.

— Он велик?

— Очень велик. Один из самых больших лесов Фран-
ции.

Запах земли, деревьев, мха, это свежее постоянное благоухание густого леса, образующееся из распускаю-
щихся почек и гниющей травы, казалось, застоялось в
этой чаще. Подняв голову, Мадлена увидела звезды между
верхушками деревьев и, хотя ветер не шелестил ветвями,
она почувствовала вокруг себя глухой шелест этого моря
листьев.

Станный трепет пробежал у нее внутри; она задро-
жала, и смутная тоска сжала ей сердце. Почему? — она
не понимала. Но ей казалось, что она заблудилась, поте-
рялась, окружена опасностями, всеми покинута, одна,
одна во всем мире, под этим живым, трепещущим над нею
сводом.

Она прошептала: — Мне немного страшно. Я бы хоте-
ла вернуться.

— Ну, чтож, вернемся.

— И... уедем завтра в Париж?

— Да, завтра.

— Завтра утром.

— Завтра утром, если ты хочешь.

Они вернулись домой. Старики уже легли. Она плохо
спала, беспрестанно просыпаясь от всех незнакомых ей
деревенских звуков, — крика совы, хрюканья поросенка,
запертого рядом в чулане, пения петуха, кричавшего с по-
луночи.

Она поднялась и стала собираться к отъезду с первыми
лучами рассвета.

Когда Жорж объявил родителям, что уезжает, они вна-
чале казались ошеломленными, потом поняли, от кого
исходит это желание...

Отец спросил просто: — Скоро мы с тобой свидимся?

— Конечно, — этим же летом.

— Ну, тем лучше.

Старуха пробормотала:

— Желаю тебе не жалеть о том, что ты сделал.

Он подарил им двести франков, чтобы смягчить их
неудовольствие. В десять часов мальчишка привел извоз-
чика, и молодые, поцеловав стариков, уехали...

Когда они спускались с горы, Дюруа начал смеяться:

— Вот, — сказал он, — я тебе предсказывал. Не стои-
ло тебе знакомиться с господами Дюруа-де-Кантель, мо-
ими родителями.

Оча тоже засмеялась и возразила: — Я теперь в во-
сторге. Они славные люди — я уже начинаю их любить.
Я им пошлю гостинцев из Парижа.

Потом прошептала: — «Дюруа-де-Кантель»... Ты уви-
дишь, что никто не удивится нашим пригласительным
письмам... Мы будем рассказывать, что прожили две неде-
ли в имении твоих родителей.

И, приблизившись к нему, она коснулась губами кон-
чика его усов: — С добрым утром, Жоржик!

Он отвечал: — С добрым утром, Мад! — И обнял ее
одной рукой.

Вдали, в глубине долины виднелась река, казавшаяся
серебряной лентой в утренних лучах, и все трубы заводов,
пачкавших небо струями дыма, и все верхушки колоко-
лен, подымавшихся над старым городом.

II.

Два дня прошло с тех пор, как Дюруа вернулись в
Париж. Жорж занимал пока свою прежнюю должность,
ожидая когда его освободят от заведывания хроникой и
возложат на него обязанности Форестье, чтобы всецело
посвятить себя политике.

В этот вечер он возвращался к себе, в квартиру своего
предшественника, веселый, радостный, мечтая обнять тот-
час по приходе жену, которая теперь совсем подчинила
его себе обаянием своей красоты. Проходя мимо цветоч-

ной лавки, на углу улицы Нотр-Дам-де-Лорет, он решил купить букет для Мадлэны, и выбрал большой пучек едва распустившихся, благоухающих роз.

На каждом повороте лестницы он самодовольно поглядывал на себя в зеркало, вспоминая при этом свое первое посещение этого дома.

Он забыл ключ; пришлось позвонить; тот же самый слуга, которого он оставил по совету жены, отворил ему дверь.

Жорж спросил: — Барыня дома?

— Да, сударь.

Проходя через столовую, он очень удивился, увидав на столе три прибора; через неспущенную портьеру салона он увидел Мадлэну, вставлявшую в вазу на камине букет роз, совершенно такой же, какой он принес ей. Ему сделалось досадно, не по себе, как если бы у него украли его намерение, замысел и все ожидаемое от него удовольствие.

Он спросил, входя: — Разве ты кого-нибудь пригласила?

Она ответила не оборачиваясь, продолжая вставлять цветы: — И да, и нет. Это — мой старый друг — граф де-Водрэк, привыкший обедать у нас всегда по понедельникам, и, вследствие этого, пришедший сегодня.

Жорж пробормотал: — Ну что ж! Отлично.

Он стоял перед ней, держа букет в руках; теперь ему хотелось спрятать его, выбросить. Однако, он сказал: — Посмотри, я тебе принес роз!

Она внезапно обернулась и, улыбаясь, воскликнула: — Ах! Как мило, что ты об этом подумал!

И протянула ему губы и руки с такой искренней радостью, что он почувствовал себя утешенным. Она взяла цветы, понюхала их и проворно, точно обрадованный ребенок, поставила их в пустую вазу, напротив первой. Затем прошептала, любуясь:

— Как я рада! Теперь, мой камин весь в цветах...

И прибавила уверенным тоном: — Знаешь, Водрэк очарователен... Ты тотчас с ним подружисься...

Раздался звонок графа. Он вошел, спокойный, развязный, точно к себе в дом. Галантно перещеловав паль-

чики молодой женщины, он обернулся к мужу и, дружески протянув ему руку, спросил: — Как поживаете, мой дорогой Дюруа?

Он уже не имел прежнего высокомерного и недоступного вида; но, наоборот, был очень приветлив, давая понять, что положение дел изменилось... Удивленный журналист старался ответить любезностью на любезность. И через пять минут можно было подумать, что они знакомы и дружны уже с десятков лет.

Тогда Мадлэна, с сияющим лицом, сказала им: — Я оставлю вас одних, мне нужно на минутку сойти в кухню. — И убежала, сопровождаемая взглядом обоих мужчин.

Вернувшись, она нашла их беседующими о театре, по поводу новой пьесы; мнения их так сходились, что они уже смотрели друг на друга дружескими глазами, открыв в себе полное тождество мыслей.

Обед был очарователен, интимный и дружеский; граф оставался до позднего вечера, так он себя хорошо чувствовал в этом доме, у этих милых молодоженов.

Когда он ушел, Мадлэна сказала мужу:

— Неправда ли, он восхитителен? Он страшно выигрывает при ближайшем знакомстве. Вот настоящий друг, — преданный, верный, надежный... Ах! не будь его...

Она не окончила начатой фразы, и Жорж отвечал:

— Да, я нахожу его очень милым. Надеюсь, что мы с ним скоро сойдемся.

Затем она сказала: — Знаешь, нам нужно сегодня вечером поработать перед тем, как ложиться спать. У меня не было времени сказать тебе это до обеда, потому что сейчас же пришел Водрэк. Мне передали важные известия, — последние известия относительно Марокко. Мне их сообщил Ларош-Матье, депутат, будущий министр. Нам нужно написать большую статью, сенсационную статью. У меня есть данные и цифры... Мы тотчас приступим к делу. Подожди, возьми лампу.

Он взял лампу, и они перешли в кабинет.

Те же книги стояли на полках библиотеки: наверху красовались теперь три вазы, купленные Форестье у заливца Жуана, накануне дня его смерти. Под столом, мех

покойного ожидал своего нового хозяина, который, усевшись, взял ручку из слоновой кости, слегка обгрызанную на конце зубами другого.

Мадлена прислонилась к камину, закурила сигаретку и стала рассказывать новости; затем изложила свои мысли и план предполагаемой статьи.

Он внимательно слушал, делая заметки; когда она кончила, он сделал возражения, снова рассмотрел вопрос, развил в свою очередь не план статьи, но проект кампании против существующего министерства. С этого нападения нужно начать. Его жена перестала курить, заинтересованная, увлеченная перспективами, раскрывшись перед ней в словах Жоржа.

От времени до времени она шептала:

— Да... да, да... Это очень хорошо... Это великолепно... Это очень сильно.

Когда он кончил, она сказала:

— Теперь давай писать.

Начало давалось ему всегда трудно, он с усилиями находил слова. Тогда она слегка облокотилась на его плечо и стала подсказывать ему, тихонько, на ухо, готовые фразы.

От времени до времени она спрашивала его нерешительно:

— Ты это хочешь сказать?

Он отвечал: — Да, именно, это.

Со свойственным ей остроумием и язвительностью женщины она издевалась над главою Совета, примешивала насмешки над его наружностью к глумлению над его политикой, так комично, что трудно было удержаться от смеха и не удивиться меткости суждений.

Дюруа, со своей стороны, вставил несколько строк, придавших нападению более значительный и глубокий смысл. Кроме того, он обладал искусством изобретения ядовитых недомолвок, которое он изучил, заведя хроникой; и когда факт, сообщенный Мадленой, казался ему сомнительным или компрометирующим, он старался придать ему еще более вероятия, чем другим положительным данным.

Когда статья была кончена, Жорж перечел ее вслух...

Оба нашли ее превосходной и улыбались, удивленные и восхищенные, будто они только теперь узнали и оценили друг друга. Они посмотрели друг другу в глаза, взволнованные и растроганные, и обнялись в порыве возбуждения, передавшегося от мыслей телу.

Дюруа взял лампу:

— Теперь баиньки, — сказал он с загоревшимися глазами.

Она ответила:

— Вперед, мой повелитель, так как вы освещаете путь...

Он пошел вперед, она за ним, в спальню, щекоча ему шею между воротником и волосами, отчего он торопился, боясь этого прикосновения...

Статья появилась за подписью: «Жорж Дюруа-де-Кантель», и произвела фурор. В Палате заволновались. Вальтер поздравил автора и поручил ему заведывать политическим отделом во «Французской Жизни». Хроника снова перешла к Буаренару.

С этих пор в газете поднялась искусная и яростная кампания против существующего министерства. Нападение, искусно направленное, снабженное данными, — то в ироническом, то в серьезном, то в ядовитом тоне, — велось так наверняка, что все только удивлялись. Другие газеты постоянно цитировали «Французскую Жизнь», приводили из нее целые выдержки, а влиятельные люди осведомлялись, нельзя ли при помощи префектуры заткнуть рот этому рассвирепевшему и неизвестному врагу.

Дюруа сделался известен политическим кругам. Он чувствовал, как возрастало к нему уважение по пожатиям рук и по поклонам. Сверх всего этого, жена его приводила в восторг и изумляла своею находчивостью, искусством добывать сведения и поддерживать влиятельные знакомства...

Возвращаясь домой, он постоянно находил у себя в салоне то сенатора, то депутата, то судью, то генерала, обращавшихся с Мадленой на правах старых знакомых; с серьезной фамильярностью. Откуда брались все эти знакомства? — Из общества, — говорила она. И каким способом приобретала она их доверие и симпатию? Этого он понять не мог.

— Из нее вышел бы великолепный дипломат, — думал он.

Она часто запаздывала к обеду, вбегала запыхавшись, вся красная, взволнованная, и, не успев снять шляпы, говорила: — Ну, сегодня у меня есть для тебя кое-что... Представь себе, — министр юстиции назначил двух судей, принимавших участие в смешанных комиссиях... Мы ему зададим головоломку, — долго будет помнить...

И министру задавали головоломку, на следующий день — другую, еще на следующий — третью... Депутат Ларош-Матье, обедавший у них по вторникам, после графа де-Водрэка, начинавшего неделю, изо всей силы пожимал руки жене и мужу, выражая необычайную радость. Он беспрестанно повторял:

— Господи, какая кампания... Неужели мы и после этого не победим?

В сущности, он надеялся получить портфель министра иностранных дел, что было его давнишней мечтой.

Это был один из тех политических авантюристов, — без определенных убеждений, без больших дарований, без серьезных знаний, провинциальный адвокат, столичный фаг, лавировавший между всеми крайними партиями, — среднее между республиканским иезуитом и сомнительным либералом, — которые вырастают сотнями на гнилой почве благоприятствующего им всеобщего голосования.

Своим дешевым маккиавелизмом он снискал популярность среди своих сотоварищей, среди всякого рода отбросов, из которых выходят депутаты. Он был достаточно благовоспитан, корректен, любезен и хитер для того, чтобы добиться успеха. И пользовался им в обществе, в мутной разночинной среде фаворитов минуты. О нем постоянно говорили: — Ларош будет министром, — и он сам был в этом убежден больше, чем все остальные.

Он был один из главных пайщиков газеты Вальтера, — его товарищем и союзником во многих финансовых предприятиях.

Дюруа поддерживал его, смутно надеясь и ожидая от него чего-то в будущем... Впрочем, он только продолжал тактику Форестье, которому Ларош обещал крестик, если

победа будет одержана... Теперь этот орден украсит грудь нового мужа Мадлэны, — вот и все. В общем, ведь, ничего не изменилось...

Всем было так ясно, что ничего не изменилось, что сотоварищи Дюруа придумали острогу, начинавшую его раздражать. Его стали называть «Форестье». Как только он входил в редакцию, кто-нибудь кричал: — Послушай, Форестье.

Он делал вид, что не слышит, разбирая письма в своем ящике. Голос повторял еще громче: — Эй! Форестье! — и слышался заглушенный смех. Но когда Дюруа направлялся к столу редактора, звавший его останавливал, говоря: — Ну! извини, пожалуйста; ведь, это мне с тобой нужно поговорить. Какая глупость, — я тебя постоянно смешиваю с этим злосчастным Шарлем. Это от того, что твои статьи чертовски похожи на его... Все смешивают...

Дюруа ничего не отвечал, но злился; и в нем зарождалась глухая ненависть к покойному.

Сам Вальтер однажды заявил, когда разговор зашел об удивительном сходстве оборотов речи и мыслей в статьях нового заведующего политическим отделом и его предшественником:

— Да, это Форестье, но Форестье — более энергичный, более деятельный и более живой.

В другой раз Дюруа случайно открыл шкаф с бильбоке и увидел, что бильбоке Форестье было обмотано крепом, а его, на котором он упражнялся под руководством Сен-Потэна, было перевязано розовой ленточкой.

Все они стояли в ряд, под рост, на одной полке: тут же на билетике, точно в музее, была надпись: «Бывшая коллекция Форестье и К^о, Форестье-Дюруа, преемник, патент Sg Dg. — Изделия прочные, могущие служить при всяких обстоятельствах, даже в путешествии».

Он хладнокровно закрыл шкаф, сказав нарочно громко, чтобы его слышали:

— Везде есть дураки и завистники.

Но он был уязвлен в своем самолюбии и гордости — в этих неотъемлемых свойствах литераторов, делающих их, будь то репортер или гениальный поэт, всегда одинаково щепетильно-настороженными.

Слово: «Форестье» резало ему ухо; он боялся его усылать, и чувствовал, что краснеет при одном звуке его...

Для него это имя сделалось язвительной насмешкой — более того, почти ругательством. Ему слышалось в нем: «Это твоя жена делает за тебя работу также, как она делала за другого. Без нее из тебя ничего не вышло бы».

Он признавал, конечно, что из Форестье ничего не вышло бы без Мадлены; что же касается его, то это еще вопрос!

Навязчивый образ преследовал его и по возвращении домой. Все в доме напоминало ему покойного, — вся обстановка, все мелочи, все, до чего он касался. В первое время он как-то совсем об этом забыл; но острота, पुष्ценная его сослуживцами, причинила ему рану, растреваемую всякими пустяками, которых он до сих пор не замечал.

Он не мог теперь взять ни одной вещи без того, чтобы не вспомнить, что она находилась в руках Шарля. Он смстрел и трогал все те вещи, которые раньше служили ему, которые он покупал, любил, приобретал. И Жорж начинал раздражаться, даже думая о прежних отношениях его друга к своей жене...

Иногда он сам удивлялся своему раздражению, которого не понимал, и спрашивал себя: «Какого чорта все это? ведь я не ревную же Мадлену к ее приятелям. Я никогда не беспокоюсь относительно того, что она делает. Она возвращается и уходит, когда хочет, а вот напоминания об этом подлом Шарле приводят меня в бешенство!» Он мысленно прибавлял: «В сущности, ведь, это был идиот; без сомнения это-то меня и оскорбляет. Меня возмущает, как могла Мадлена выйти замуж за подобного дурака». Беспреданно он повторял себе: «Как могла эта женщина прельститься хоть на минуту подобным скотом?»

Ненависть его возрастала с каждым днем, разжигаемая тысячами мелочей, коловших его точно иглами, беспрестанным напоминанием о другом, в словах Мадлены, горничной, лакея...

Однажды вечером Дюруа, любивший сладкое, спросил:

— Почему у нас не делают сладкого? Ты никогда его не заказываешь...

Молодая женщина весело ответила:

— Это, правда, я об этом не думаю. Это оттого, что Шарль терпеть не мог...

Он прервал ее нетерпеливым движением, вырвавшимся у него почти против воли...

— Ну! знаешь, этот Шарль мне начинает надоедать, Постоянно — Шарль, — Шарль здесь, — Шарль там, Шарль любил это, Шарль любил то. Раз он посколел, — уж оставим его в покое.

Мадлена посмотрела на мужа с изумлением, не понимая причины этого внезапного раздражения. Потом, подумав, она отчасти догадалась, что в нем происходит; поняла эту ревность к мертвому, возрастающую ежеминутно ото всего, что напоминало покойного. Ей показалось это ребячеством, но, вместе с тем, это ей польстило, и она ничего не возразила.

Он сам злился на себя за это раздражение, которого не мог скрыть. В этот вечер, когда они после обеда занялись статьей для следующего дня, он запутался ногами в мехе под столом... Не сумев выпутаться, он отшвырнул его ногою... и спросил насмешливо:

— У Шарля, должно быть, всегда мерзли лапы?

Она ответила тоже смеясь:

— О! Он всегда жил под страхом простуды... Ведь у него были неважные легкия...

Дюруа злобно возразил:

— Да, он это доказал. — Потом прибавил галантно:

— К счастью для меня. — И поцеловал руку жены.

Ложась спать, все еще преследуемый той же мыслью, он спросил:

— А что Шарль не надевал на ночь чепчика, чтобы не простудить ушей?

Она обернула дело в шутку и ответила: — Нет, он повязывал голову платком.

Жорж пожал плечами и сказал пренебрежительно, с чувством превосходства:

— Вот болван!

С этих пор Шарль сделался для него предметом постоянного разговора. Он упоминал о нем по всякому поводу, называя его не иначе, как: «Этот злосчастный Шарль», с оттенком безмерного пренебрежения.

Вернувшись из редакции, где ему приходилось несколько раз в день слышать имя Форестье, он вознаграждал себя, преследуя покойного злобными насмешками и в могиле... Он вспоминал его недостатки, его слабости, смешные стороны, перечисляя и преувеличивая их с удовольствием, точно хотел парализовать в душе жены воздействие опасного соперника.

Он говорил: — Скажи, Мад, — помнишь, как этот прыщ Форестье нам однажды старался доказать, что полные мужчины мужественнее худых?

Потом он захотел узнать о покойном целую массу интимных и секретных подробностей, на которые молодая женщина, возмущенная, отказалась отвечать. Но он настаивал, упорствовал.

— Ну же, ну, расскажи мне это. Он, должно быть, имел дурацкий вид в этот момент. Да?

Она шептала одними губами:

— Да, ну, оставь его, наконец, в покое.

Он продолжал: — Нет, признайся! ведь правда, сп, должно быть, лежал, как колода, в постели, животное!

Разговор всегда кончался заключением: — Что это было за скотина!

Однажды вечером, в конце июня, он курил сигаретку у окна; вечер был душный, и ему вдруг захотелось на воздух.

Он спросил:

— Моя маленькая Мад, не хочешь ли прокатиться в лес?

— Конечно, хочу.

Они взяли открытый экипаж, проехали по Елисейским полям, затем по Авеню Булонского леса. Ночь была душная, жаркая, одна из тех парижских ночей, когда раскаленный воздух вливается в легкие, точно нагретый пар. Вереница экипажей мчала под тень деревьев мно-

жество влюбленных. Экипажи тянулись один за другим, беспрерывно.

Жорж и Мадлена забавлялись, рассматривая обнявшиеся парочки, проезжавшие в каретах, — дама — в светлом, мужчина — в черном. Было похоже, точно огромный поток любовников стремился в лес под знойным звездным небом. Ничего не было слышно, кроме глухого стука колес о землю. Мелькали, исчезали, снова появлялись, эти парочки в экипажах, вытянувшиеся на подушках, безмолвные, прижавшиеся друг к другу, охваченные властным желанием, трепещущие в ожидании близких объятий. Горячий сумрак, казалось, был наполнен поцелуями. Воздух казался еще тяжелее, еще душливее от разлитой в нем томительной неги чувственной любви...

Все эти люди, прижавшиеся друг к другу, опьяненные одною мыслью, одним желанием, распространяли вокруг себя атмосферу страсти... Все эти экипажи, нагруженные любовниками, оставляли за собой волну чувственного дыхания, нежного и волнующего...

Жорж и Мадлена чувствовали себя также охваченными атмосферой влюбленности. Они безмолвно держались за руки, слегка подавленные духотой воздуха и охватившим их волнением...

Доехав до поворота, который начинается за укреплениями, они поцеловались, и она пробормотала, слегка сконфуженная: — Мы также шалим, как тогда, по дороге в Руан.

При въезде в аллею, поток экипажей разделелся... По дороге к Озерам, куда направились молодые люди, экипажи попадались реже; но здесь мрак деревьев, свежести зелени и ручейков, журчавших под ветвями, широта необъятного небосклона, украшенного звездами, придавали поцелуям катающихся острое и таинственное очарование.

Жорж прошептал:

— О! Моя маленькая Мад, — и прижал ее к себе.

Она сказала ему:

— Помнишь лес, там, у тебя, — как там было мрачно... Мне казалось, что он был полон ужасных зверей и тянулся

без конца. Зато здесь очаровательно. Ветерок точно целует, и, знаешь, что за лесом находится Севр.

Он отвечал:

— О! в нашем лесу ничего не найдешь, кроме оленей, лисиц, диких коз, кабанов, да еще изредка домиков форестьеров *).

Это слово, — имя покойного, нечаянно слетевшее у него с уст, поразило его, точно кто-то крикнул из глубины чащи, и он сразу замолчал, охваченный этим непонятным раздражением, мучительной и непобедимой ревностью, отравлявшей ему жизнь с некоторых пор.

Помолчав с минуту, он спросил: — Бывала ли ты здесь иногда по вечерам с Шарлем?

Она ответила: — Конечно, часто.

Внезапно у него явилось желание вернуться домой, настолько сильное, что у него сжалось сердце. Образ Форестье проник в его мысли, завладел ими, терзал их. Он уже не мог ничего говорить, ничего думать, кроме, как о нем.

Он спросил злым тоном:

— Скажи, Мад...

— Что, милый?

— Скажи, — ты наставляла рога этому злосчастному Шарлю?

Она прошептала пренебрежительно: — Ты становишься глуп с твоими приставаниями...

Но он не оставлял своего намерения.

— Ну, моя маленькая Мад, будь откровенна, признайся? Ты, ведь, ему наставляла рога? Признайся, что наставляла?

Она молчала, задетая этими словами, как оскорбляются все женщины.

Он продолжал упорствовать: — Чорт возьми, если кто на это годился, так это, конечно, он. О! конечно, конечно... Вот я был бы рад услышать, что Форестье носил рога. Вот так отличная подставка для рог!

Он чувствовал, что она улыбалась, как бы что-то вспоминая, и продолжал: — Ну, скажи же... Что тебе это

стоит? Наоборот, мне будет только приятно узнать от тебя, что ты ему изменяла.

И, в самом деле, он дрожал от желания узнать, что этот ненавистный Шарль, постылый покойник, носил это поворное украшение... И в то же время... еще другое, смутное чувство обостряло его желание узнать.

Он повторял: — Мад, моя маленькая Мад, прошу тебя, скажи мне. Ведь, он этого заслужил, ты была бы не права, если бы лишила его этой возможности. Ну же, Мад, признавайся.

Должно быть, она находила забавной эту настойчивость, потому что все время смеялась тихим, отрывистым смехом.

Он коснулся губами уха своей жены: — Ну же, ну... признайся.

Она отодвинулась и резко заметила: — Как ты глуп! Разве отвечают на подобные вопросы?

Она сказала это таким странным тоном, что мурашки пробежали по спине ее мужа, и он сидел пораженный и растерянный, точно после тяжелого потрясения.

Экипаж ехал вдоль озера, по поверхности которого небо, казалось, рассыпало свои звезды.... Два лебедя, едва заметные во мраке, медленно плыли по воде.

Жорж закричал кучеру: — Поворачивай назад! — И коляска повернула, обгоняя другие, ехавшие шагом, фонари которых сверкали, точно глаза, во мраке леса.

Каким странным тоном она это сказала! Дюруа задавал себе вопрос: — Не признание ли это? И эта почти уверенность, что она обманывала своего первого мужа, доводила его теперь до бешенства. Ему хотелось избить ее, задушить, вырвать у нее волосы!

О! еслиб она ответила: — Нет, мой дорогой, — если бы я его обманывала, то только с тобой. Как бы он ее обнял, поцеловал, полюбил за это!

Он неподвижно сидел, сложив руки, смотря на небо, слишком взволнованный для того, чтобы размышлять. Он чувствовал, как внутри его накатывала злоба и рос гнев, просыпающийся в сердце каждого самца от причуд женского желания. Первый раз он чувствовал смутную горечь

*) Форестье — лесничий.

мужа, который сомневается! Теперь он ревновал, ревновал за покойного, за счет Форестье! Ревновал странным и мучительным образом, с примесью ненависти к Мадлэне. Раз она обманывала другого, — мог ли он ей теперь доверять?

Мало-по-малу мысли его успокоились, и, ожесточившись против своих страданий, он подумал: — «Все женщины — проститутки, надо их брать, но ничего не давать им из своей души».

Горечь его настроения подсказывала ему злые и презрительные слова. Однако, он не позволял им сорваться. Он повторял: — Мир принадлежит сильным. Нужно быть сильным. Нужно быть выше всего. — Экипаж быстро катился. Проехали укрепления. Дюруа видел перед собой красноватый отблеск неба, подобный зареву от огромной кузницы; слышал смутный, необъятный, непрерывающийся гул бесчисленных и разнообразных звуков, глухой, близкий и отдаленный шум, гигантское дыхание жизни, вздохи колосса Парижа, изнемогавшего в эту жаркую летнюю ночь.

Он подумал: «Было бы очень глупо с моей стороны огорчаться этим. Всякий живет по своему. Смелый побеждает и все сводится к борьбе эгоизмов. Но эгоизм, ведущий к наживе и почету, выше, чем эгоизм из-за женщин и любви...».

Триумфальная арка Звезды показалась при в'езде в город; со своими чудовищными ногами, она походила на гиганта, готового зашагать по широким улицам, раскинувшимся перед ним.

Жорж и Мадлэна очутились в ряду экипажей, везущих домой в желанную постель, безмолвных и обнявшихся любовников. И казалось, что все человечество катится рядом с ними, опьяненное радостью, наслаждением, счастьем.

Молодая женщина, угадывавшая, что происходит в душе мужа, спросила его нежно: — О чем ты думаешь, друг мой? — В продолжение получаса ты не сказал ни слова...

Он ответил с усмешкой: — Я думаю обо всех этих

обнимающихся болванах, и говорю себе, что, право, есть в жизни вещи, более ценные...

Она прошептала: — Да... но иногда и это недурно...

— Да... недурно... недурно... за неимением ничего лучшего!

Мысли его продолжали работать, беспощадно разоблачая, в порыве злобы, всю поэзию жизни... — Я был бы идиотом, если бы стеснялся, лишал себя чего-нибудь, беспокоился, терзал себе душу, как я это делаю с некоторых пор. И вдруг представил себе Форестье, но уже без всякого раздражения. Ему показалось, что они помирились, — снова сделались друзьями. Захотелось даже крикнуть: — Добрый вечер, дружище.

Мадлэна, которую тяготило это молчание, попросила: — Заведом к Тортони с'есть мороженого перед возвращением домой.

Он взглянул на нее сбоку. Ее тонкий, белый профиль мелькнул перед ним на фоне освещенной вывески кафе-шантана.

Он подумал: «Она хорошенькая. Ну, тем лучше. По Сеньке и шапка. Но если снова придется из-за тебя мучиться — небу станет жарко». Потом ответил: — Конечно, моя дорогая. — И, чтобы скрыть от нее свои мысли, поцеловал ее...

Молодой женщине показалось, что губы ее мужа были холодны, как лед.

Впрочем, он улыбался своей обычной улыбкой, подавая ей руку и помогая выйти у под'езда кафе.

III.

Придя в редакцию на следующий день Дюруа подошел к Буаренару.

— Мой дорогой друг, — сказал он, — я попрошу у тебя одной услуги. С некоторых пор пошляки находят забавным называть меня «Форестье». Я начинаю находить это глупым. Будь любезен, — возьми на себя предупредить под шумок моих товарищей, что я дам оплеуху первому, кто позволит себе эту шутку... Это уже их дело подумать

стоит ли эта забава удара шпаги... Обращаюсь к тебе, зная тебя за хладнокровного человека, могущего устранить печальные крайности, а так же потому, что ты уже оказал мне услугу в моем деле...

Буаренар взял на себя поручение.

Дюруа отлучился по делам, и через час вернулся. Никто не называл его больше Форестье.

Вернувшись домой, он услышал в зале женские голоса. Спросил: — Кто там?

Слуга ответил: — Г-жа Вальтер и г-жа де-Марель.

У него слегка забилося сердце, потом он подумал: «Ну чтож, будь, что будет». И открыл дверь.

Клотильда сидела возле камина, освещенная светом, падавшим из окна. Жоржу показалось, что она слегка побледнела, увидав его. Он сначала поклонился г-же Вальтер и ее двум дочерям, сидевшим точно двое часовых по бокам матери, потом обратился к своей прежней возлюбленной. Она протянула ему руку; он взял ее и выразительно пожал, как бы говоря: «Я вас люблю попрежнему». Она ответила на это пожатие.

Он спросил: — Как вы поживаете? — Ведь с нашей последней встречи прошло целое столетие?

Она ответила непринужденно: — Хорошо, а как вы, Милый Друг?

Потом, обернувшись к Мадлэне, прибавила: — Ты разрешишь называть мне его Милым Другом?

— Конечно, моя дорогая, — разрешаю тебе все, что тебе вздумается...

Последние слова прозвучали слегка иронически.

Г-жа Вальтер рассказывала о празднестве, которое Жак Риваль устраивал в своей холостой квартире, — большой фехтовальный турнир, где будут присутствовать дамы высшего общества. Сказала: — Это будет очень интересно. Но я в отчаянии, — нас некому туда проводить: муж будет занят в этот день.

Дюруа предложил свои услуги. Она согласилась. — Мы будем вам очень признательны, — я и мои дочери.

Он посмотрел на младшую Вальтер и подумал: «А ведь она вовсе недурна, эта маленькая Сюзанна, совсем недурна». Она походила на изящную белокурую куколку,

своей миниатюрной фигуркой и голубыми эмалевыми глазами, очень белой и выхоленной кожей, и взбитыми, завитыми волосами, окружавшими ее очаровательной дымкой, похожей на прическу дорогих кукол, которые дарят девочкам меньше их ростом.

Старшая Роза была некрасива, худая... Незначительная наружность, на которую, обыкновенно, не обращают внимания, с которой не говорят, о которой не вспоминают...

Мать поднялась и обратилась к Жоржу: — Итак, я рассчитываю на вас в будущий четверг, в два часа.

Он ответил: — Сочту своим долгом, сударыня.

Как только она вышла, г-жа де-Марель тоже поднялась. — До-свиданья, Милый Друг.

Теперь она пожала ему руку очень долго и крепко. Его взволновало это молчаливое признание и, внезапно охваченный страстью к этой милой цыганочке, искренно привязанной к нему, он подумал: — «Завтра же пойду к ней».

Как только он остался вдвоем с женой, Мадлэна принялась хохотать от всей души и, смотря ему прямо в глаза: — Тебе известно, что ты внушил страсть г-же Вальтер?

Он недоверчиво сказал: — Рассказывай!

— Ну да, уверяю тебя. Она говорила о тебе со страшным воодушевлением. Так странно слышать это от нее! Ей хотелось бы найти таких мужей своим дочерям!.. К счастью, с нею эти вещи не опасны...

Он не понял, что она хотела сказать: — Что значит — не опасны?

Она ответила тоном женщины, убежденной в своем суждении: — О! г-жа Вальтер одна из тех, о которых никогда не услышишь никакой сплетни. Она неприступна во всех отношениях. Мужа ее ты так же знаешь, как я. Но она другое дело, — хотя она и много выстрадала, выйдя замуж за еврея, но осталась ему верна. Это честная женщина.

Дюруа удивился: — Я ее тоже считал еврейкой.

— Ее? Нисколько. Она — дама патронесса всех благотворительных учреждений имени Марии Магдалины

Она даже венчалась в церкви. Но я не знаю, крестился ли ее муж, или на это посмотрели сквозь пальцы.

Жорж прошептал: — Значит! она... она в меня влюблена?

— Окончательно и положительно. Если бы ты не был женат, я бы тебе посоветовала просить руки... Сюзанны... не правда ли, — ведь она лучше Розы?

Он ответил, покручивая ус: — Гм? И мате еще недурна...

Мадлена рассердилась...

— Знаешь, мой милый, за мать-то я не боюсь, в ее возрасте не изменяют первый раз. Этому нужно было учиться раньше.

Жорж подумал: «Неужели я бы, и в самом деле, мог жениться на Сюзанне...?» Потом пожал плечами: «Что за чепуха!.. Разве отец ее согласился бы на это».

Однако, он решил с этих пор обратить внимание на отношение к себе г-жи Вальтер, не спрашивая себя, какая из этого может произойти выгода.

Весь вечер его преследовали воспоминания о любви к Клотильде. Нежные и чувственные образы... ее проказы, милые шутки, их похождения... Думал: «В самом деле, очень мила. Завтра же пойду к ней».

На следующий день после завтрака, он отправился на улицу де-Вернейль. Та же самая горничная отворила ему дверь и, с фамильярностью прислуги в буржуазных домах, спросила: — Как поживаете, сударь?

Ответил: — Отлично, дитя мое.

Вошел в залу, где чья-то неопытная рука брала гаммы на рояле. Это была Лорина. Он думал, что она бросится ему на шею. Но она важно встала, церемонно поклонилась, как взрослая, и с достоинством удалилась.

У нее был вид оскорбленной женщины. Это поразило его... Вошла мать. Он взял и поцеловал у нее руку.

— Сколько раз я о вас вспоминал, — сказал он.

— И я тоже, — сказала она.

Они сели. Улыбались, глядя друг другу в глаза, чувствуя желание поцеловаться в губы.

— Моя дорогая, маленькая Кло, я люблю вас...

— И я тоже...

— Значит... ты на меня не очень сердилась?

— И да, и нет... Я была очень огорчена, а потом я поняла твои побуждения и сказала себе: «Ну! не сегодня, завтра, он вернется ко мне».

— Я не осмеливался придти; я не знал, как меня примут. Я не смел, но страшно хотел. Кстати, скажи мне, что с Лориной? Она со мной едва поздоровалась и ушла с рассерженным видом.

— Не знаю, но со времени твоей женитьбы с ней нельзя говорить о тебе. Мне, право, кажется, что она тебя ревнует.

— Рассказывай!

— Уверяю тебя, мой милый. Она больше не называет тебя Милый Друг, а зовет г-м Форестье.

Дюруа покраснел, приблизившись к молодой жемчужине:

— Дай твои губы.

Она протянула их.

— Где бы нам встретиться? — спросил он.

— Да... на Константинопольской улице.

— Как! квартира разве не сдана?

— Нет... Я ее оставила за собой.

— Оставила за собой?

— Да, я думала, что ты вернешься.

Его охватил порыв безумной радости. Значит, она любила его постоянной и настоящей любовью.

Он прошептал: — Я тебя обожаю. — Затем спросил: — Как поживает твой муж?

— Отлично. Он провел здесь месяц; уехал третьего дня.

Дюруа не мог удержаться от смеха: — Как это кстати.

Она наивно ответила: — Да! очень кстати. Впрочем, его присутствие меня никогда не стесняет. Ты заметил?

— Заметил. Вообще это прекрасный человек.

— Ну, а ты, — спросила она, — как сложилась твоя новая жизнь?

— Так себе... Жена моя — хороший товарищ, сотрудница...

— Больше ничего?

— Ничего... Что касается любви...

— Я понимаю. Впрочем, она хорошенькая...

— Да, но меня она не волнует...

Он приблизился к Клотильде и прошептал: — Когда мы увидимся?

— Да... завтра... если хочешь.

— Хорошо, завтра в два часа?

— В два часа! — Он поднялся, чтобы уходить, потом пробормотал, слегка смущенный: — Знаешь, я хочу взять на себя квартиру на Константинопольской улице. Мне так хочется. Тебе платить за нее совершенно не к чему.

Она поцеловала ему руку в порыве умиления и прошептала: — Делай, как хочешь, с меня довольно того, что я ее сохранила до новой встречи...

И Дюруа ушел, вполне удовлетворенный.

Проходя мимо витрины фотографа, он увидал портрет полной женщины, с большими глазами, напоминавший ему г-жу Вальтер: «Пустяки, — подумал он, — она еще должна быть недурна. Как это случилось, что я ее до сих пор не замечал. Страшно интересно, как она будет себя держать со мною в четверг». Он потирал руки, весь переполненный тайной радостью, радостью успеха во всех его видах, эгоистическою радостью человека, которому везет, торжеством польщенного тщеславия и удовлетворенной чувственности—последствий женской благосклонности.

В четверг он сказал Мадлене:—Ты не пойдешь на это состязание к Ривалю?

— О, нет, во-первых, мне это совершенно не интересно; во-вторых, я поеду в Палату депутатов.

Он заехал за г-жею Вальтер в открытой коляске, так как погода была восхитительная.

Увидав ее, он был поражен, такой она выглядела молодой и интересной. На ней было светлое платье; прозрачный корсаж позволял угадывать под белым кружевом пышно вздымающуюся грудь... Никогда она не казалась ему такой еще свежей... Он нашел ее вполне достойной любви... Она держала себя спокойно, вполне корректно, как подобает благоразумной матери, и это делало ее неза-

метной в глазах флиртующих мужчин. К тому же, она говорила только об определенных вопросах, сдержанно и осторожно, так как все ее мысли были методичны, благонамеренны, чужды всяких крайностей.

Сюзанна, вся в розовом, походила на картинку Ватто; старшая сестра имела вид гувернантки, сопровождающей эту хорошенькую куколку.

У дома Риваля уже стояла целая вереница экипажей; Дюруа предложил руку г-же Вальтер, и они вошли.

Празднество давалось в пользу сирот шестого округа Парижа, при участии всех жен депутатов и сенаторов, имевших отношение к «Французской Жизни».

Г-жа Вальтер обещала приехать с дочерьми, отказавшись от участия в устройстве, так как поддерживала только предприятия духовенства; не потому, чтобы была слишком набожна, но потому, что считала, что ее брак с евреем вынуждает ее покровительствовать религии; между тем, празднество, организованное журналистами, носило скорее республиканский характер и могло показаться антиклерикальным.

В течение трех недель в газетах всевозможного направления появлялись заметки:

«Наш почтенный сотоварищ Жак Риваль возымел столь же остроумное, сколь и великодушное намерение устроить, в пользу сирот шестого округа Парижа, большое состязание в своей прекрасной фехтовальной зале, находящейся при его холостой квартире.

Празднество устраивается при благосклонном участии г-ж Лалюань, Ремонтель, Рисолэн,—супруг сенаторов, и г-ж Ларош-Матье, Персероль, Фирмин,—супруг известных депутатов. В антракте будет сделан сбор, и пожертвования немедленно переданы мэру шестого округа или его заместителю».

Это была грандиозная реклама, придуманная ловким журналистом для своей выгоды.

Жак Риваль встречал гостей у входа в квартиру, где был устроен буфет, расходы на устройство которого должны были быть вычтены из валового сбора. Затем он указывал на маленькую лестницу, ведущую в подвал, где находился фехтовальный вал, говоря:—Прошу вас вниз,

сударыни. Состязание будет происходить в подземном помещении.—Бросился навстречу жене своего редактора; потом, пожимая руки Дюруа:—Здравствуйте, Милый Друг.

Тот удивился:—Кто вам сказал, что...

Риваль его прервал:—Госпожа Вальтер, здесь присутствующая, которая находит это прозвище очень милым...

Г-жа Вальтер покраснела:—Да, я признаюсь, что если бы я была с вами больше знакома, я бы поступила как маленькая Лорина и называла бы вас Милый Друг. Это к вам очень идет.

Дюруа рассмеялся:—Пожалуйста, сударыня, прошу вас, называйте меня так.

Она опустила глаза:—Нет, я недостаточно для этого с вами знакома.

Он прошептал:—Вы мне позволите надеяться, что мы познакомимся ближе?

— Хорошо, тогда посмотрим,—сказала она.

Он посторонился у спуска узкой лестницы, освещенной газовым рожком; внезапный переход от дневного света к этому желтому огню производил унылое впечатление. По лестнице подымался подвальный запах,—запах прелой сырости, заплесневелых, вымытых стен, вместе с запахом ладана, напоминавшего церковную службу, и запахом дамских духов, вервены, ириса, фиалки.

В подвале слышался громкий гул голосов, чувствовалось волнение возбужденной толпы.

Весь подвал был освещен гирляндами газовых рожков и венецианскими фонариками, скрытыми в зелени, покрывавшими каменные стены. Все было сплошь покрыто ветвями, потолок—папоротником, пол—листьями и цветами.

Убранство находили очаровательным. В глубине подвала возвышалась эстрада.

Вдоль всего подвала были расставлены скамейки по десяти с правой и с левой стороны, где могло поместиться двести человек. Приглашенных, однако, было четыреста.

Перед эстрадой, на виду у публики, уже красовались молодые люди в фехтовальных костюмах, стройные, худые, с закрученными усами... Их называли по именам, указывали на профессионалов и любителей, знаменитостей ре-

мсла. Вокруг них беседовали мужчины в сюртуках, молодые и старые, которые держались как хорошие знакомые с фехтовальщиками, готовившимися к состязанию. Они также выставались напоказ, желали быть узанными и названными; это были лучшие фехтовальщики, известные борцы.

Почти все скамейки были заняты женщинами, производившими шум шелестом платьев и громким шопотом. Они обмахивались веерами, как в театре, так как в этом зеленом гроте уже образовалась адская атмосфера. Какой-то шутник время от времени выкрикивал:—Оршад! Лимонад! Пиво!

Г-жа Вальтер и ее дочери, наконец, добрались до своих мест, в первом ряду. Дюруа усадил их и, собираясь уходить, прошептал:

— Я должен вас оставить,—мужчины не имеют права занимать скамеек.

На что г-жа Вальтер ответила нерешительно:

— Мне очень хочется, что бы вы остались с нами. Вы будете нам называть состязающихся. Слушайте, если вы останетесь стоять здесь возле скамейки, вы никого не стесните.

Она посмотрела на него своими большими молящими глазами. Повторила:

— Ну же, останьтесь с нами... господин... Милый Друг... Вы нам нужны.

Он отвечал:

— Я повинуюсь... С удовольствием, сударыня.

Со всех сторон слышалось:—Очень забавно в этом подземельи, очень мило...

Жорж хорошо знал эту залу со сводами! Он вспомнил утро, которое провел там, накануне дуэли, в полном одиночестве, наедине с кружком белого картона, глядевшим на него из глубины второго подвала, точно страшный чудовищный глаз...

Голос Жака Риваля раздался с лестницы!

— Сейчас начнется, сударыни!

И шесть мужчин, очень затаенных в сюртуки, чтобы лучше обрисовывался корпус, взошли на эстраду и уселись на стулья, предназначенные для судей.

Их имена тотчас облетели зал: генерал де-Райнальди, председатель, маленький человек с большими усами; художник Жозефин Рудэ, высокий плешивый мужчина с длинной бородой; Матео де-Дюжар, Симон Рамонсель, Пьер де-Карвэн—три молодых щеголя, и Гаспар Мерлерон, преподаватель.

Два плаката висели по обеим сторонам подземелья. На правом было написано: «г. Кревке», на левом—«г. Юмо».

Это были двое учителей,—двое хороших перворазрядных учителей. Они вошли, оба сухощавые, держась по военному, с несколько деревянными жестами. Сделав механическое приветствие оружием, они начали атаку, похожие в своих полотняных и замшевых костюмах на балаганных солдатиков, дерущихся для забавы.

От времени до времени слышалось: «Удар!» И шесть судей наклоняли голову вперед с видом знатоков. Зрители не видели ничего, кроме живых марионеток, жестикулирующих руками; никто ничего не понимал, но все были довольны. Эти два субъекта казались им, однако, довольно смешными и не особенно грациозными. Вспоминались деревянные борцы, продающиеся на Новый год на бульварах.

Два первых фехтовальщика сменились г-дами Плантон и Карапэн, штатским и военным преподавателями. Г-н Плантон был маленького роста, а г-н Карапэн очень толст. Можно было подумать, что первый же удар выпустит весь пар из этого шарика, похожего на гуттаперчивого слона. Зрители хохотали. Г-н Плантон прыгал, как обезьяна. Г-н Карапэн шевелил только рукой, весь же его корпус не двигался, вследствие грузности; через каждые пять минут он наклонялся вперед с таким усилием и так тяжело, точно принимал энергическое решение... Потом ему стоило большого труда выпрямиться.

Знатоки находили его манеру очень выдержанной и верной. И публика верила им на слово.

Потом появились гг. Порион и Ла-Пальм,—учитель и любитель, пустившиеся в ожесточенную борьбу, бросающиеся яростно друг на друга, заставлявшие судей убеждать вместе со стульями, летавшие по всей эстраде, догоняя один другого смешными и мощными прыжками. Они от-

ступали маленькими скачками, вызывавшими хохот у дам; наоборот, наступали большими — возбуждавшими зрителей. Это состязание в гимнастике было охарактеризовано каким-то острьяком, закричавшим:—Не старайтесь, — все равно больше не получите!—Зрители, задетые этою плоскостью, шикнули. Мнения экспертов передавались из уст в уста. Фехтовальщики выказали много отваги, но действовали не всегда удачно.

Первое отделение закончилось блестящим состязанием на шпагах между Жаком Ривалем и известным бельгийским профессором Лебегом. Риваль произвел большую сенсацию среди дам. Он, действительно, был очень красив, хорошо сложенный, гибкий, подвижной и более грациозный, чем все его предшественники. В его манере сражаться и нападать было известного рода изящество, которое подкупало, в особенности в сравнении с энергичной, но вульгарной манерой его противника.—Сейчас видно хорошо воспитанного человека, — говорили о нем.—Он имел успех. Ему аплодировали.

Но уже в течение нескольких минут из верхнего этажа доносился странный шум, беспокоивший зрителей, громкое топотанье, сопровождаемое оглушительным хохотом. Двести приглашенных, которые не смогли спуститься в подземелье, должно быть, забавлялись по своему... На маленькой винтовой лестнице толпилось около пятидесяти мужчин. Внизу же становилось невыносимо. Раздавались крики:—Воздуху! Пить!—Тот же остряк кричал пронзительным голосом, заглушавшим голоса разговаривающих:— Оршад! Лимонад! Пиво!

Риваль появился, весь красный в своем фехтовальном костюме:—Я вею принести прохладительного,—сказал он.—И побежал к лестнице. Но всякое сообщение с первым этажом было прервано. Казалось, что одинаково трудно проломить потолок или продаться сквозь стену зрителей, столпившихся на ступеньках.

Риваль закричал:—Велите принести мороженого для дам!

Пятьдесят голосов повторило:—Мороженого!—Наконец, появился поднос, но стаканы на нем были пустые, так как прохладительное было уничтожено по дороге.

Кто-то громко заревел:—Здесь задохнешься, кончайте скорей и уйдем.

Другой голос крикнул:—Сбор!—И вся публика, задыхающаяся от жары, но все же весело настроенная, подхватила:—Сбор! Сбор! Сбор!..

Шесть дам начали обходить скамейки, и послышался легкий звон серебра, падающего в кошельки.

Дюруа называл г-же Вальтер всех известных людей. То были светские щеголи, журналисты, сотрудники больших старых газет, смотревших на «Французскую Жизнь» свысока, с осторожностью опытных людей; они уже столько видели безвременно скончавшихся газет, основанных на политико-финансовых операциях, рушащихся вместе с переменной министерства. Были здесь также художники и скульпторы, которые все любят спорт, поэт-академик, которого показывали, два музыканта и множество знатных иностранцев, к фамилии которых Дюруа прибавлял слог «рас» (что означало расканалья), в подражание, по его словам, англичанам, которые ставят на своих карточках слог «еск». Кто-то закричал:—Здравствуйте, Милый Друг!—Это был граф де-Водрэк. Дюруа извинился перед дамами и пошел с ним поздороваться. Возвратясь, он заявил:—Этот Водрэк очарователен. Как в нем чувствуется порода!

Г-жа Вальтер ничего не ответила. Она немного устала, и грудь ее усиленно вздымалась при каждом вздохе, на что Дюруа обратил внимание. От времени до времени он встречал беспокойный взгляд «патронессы», явно избежавший его взгляда. И говорил себе:—Неужели, неужели, неужели... неужели я и эту победил?

Сборщицы кончили обход. Кошельки их были полны золота и серебра. На эстраде появился новый плакат с объявлением: «Грандиозный сюрприз». Судьи снова заняли свои места. Все ждали.

Появились две женщины с рапирами в руках, одетые в темное трико и коротенькие до половины бедер юбки с такими накрахмаленными пластронами, что они должны были все время держать голову кверху. Они были молоды

и красивы. Улыбались, раскланивались с публикой. Им много аплодировали.

Стали в позицию среди одобрительного шума и острот, произносимых шопотом.

На губах судей застыла любезная улыбка; они одобряли удары дам еле слышным «браво».

Публика отнеслась очень сочувственно к этому состязанию, выражая свое одобрение состязующимся, зажавшим желание в мужчинах и пробуждавшим в женщинах природный вкус парижан ко всему легкомысленному, мнимо-изящному и мнимо-грациозному, вроде кафэ-шантановых певиц и опереточных куплетов.

Всякий раз, когда одна из нападающих делала выпад, в публике пробегало радостное оживление... Та, которая стояла спиной к публике, заставляла рты открываться и глаза вытаращиваться; и нельзя было определить,—следили ли зрители за движениями ее руки или мясистой спины?

Им неистово аплодировали

Затем последовало состязание на саблях, но никто уже не смотрел,—все внимание было поглощено тем, что происходило наверху. В течение нескольких минут слышался шум передвигаемой мебели, точно переезжали с квартиры. Потом вдруг над потолком раздались звуки фортепьяно и ясно послышался ритмический топот ног, прыгающих в такт. Посетители наверху открыли бал, чтобы вознаградить себя за то, что им ничего не пришлось видеть.

Сначала зрители в фехтовальной зале расхохотались, потом у женщин явилось желание танцевать; они перестали обращать внимание на то, что происходило на эстраде, и принялись громко разговаривать.

Находили забавной эту мысль устроить танцы для запоздавших. Теперь они, вероятно, не скучали... И всем захотелось идти наверх.

Но появились два новых борца, наступавших друг на друга с такой уверенностью, что внимание всех невольно обратилось на них.

Они нападали и отбивались с такою изворотливой

грацией, с такой рассчитанной силой, с такой уверенностью манер, с таким чувством меры, что невежественная толпа была ошеломлена и поражена.

Их спокойная живость, их тактичная находчивость, их быстрые движения, рассчитанные до того, что казались медленными, привлекали и пленяли глаз своим совершенством. Зрители почувствовали, что перед ними прекрасное и редкое зрелище, что два великих артиста показывают ей все, что может быть лучшего, что только возможно показать мастерам в искусстве физической ловкости, изворотливости и тактичности.

Никто не говорил,—на столько все были заняты ими. Потом, когда они после последнего удара обменялись друг с другом рукопожатиями, раздались крики «браво»... Ревели, топали ногами. Имена их были у всех на устах: Сержан и Равеньяк.

Все были возбуждены, и хотели спорить... мужчины посматривали на своих соседей, ища предлога для спора. Иные смотрели с вызывающей улыбкой... Те, которые никогда не держали в руке рапиры, изображали при помощи тросточек нападения и отражения.

Постепенно толпа стала убывать—все направились пить. Но каково было негодование, когда узнали, что танцоры опустошили весь буфет и удалились, заявив, что нечестно было созывать двести человек, чтобы ничего им не показать.

Не осталось ни одного пирожка, ни капли шампанского, сиропа или пива, ни одной конфетки, ни одного фрукта, ничего, решительно ничего. Разграбили, опустошили, уничтожили все.

Заставили рассказывать прислугу, которая старалась принять негодующий вид, еле удерживаясь от смеха. «Дамы возмущались больше мужчин, и с такою яростью набросились на угощение, что могли заболеть». Можно было подумать при этом, что речь идет о разграблении целого города во время нашествия неприятеля.

Оставалось только уйти. Мужчины жалели о двадцати франках, данных при сборе, и возмущались тем, что посетители наверху попиrowали, ничего не заплатив.

Дамы патронессы собрали более трех тысяч франков.

За покрытием всех расходов оставалось двести восемьдесят франков в пользу сирот шестого округа.

Дюруа, сопровождавший семейство Вальтер, поджидал свою коляску... Провожая патронессу и сидя против нее, он еще раз встретился с ее ласковым и беспокойным взглядом... Подумал: «Чорт возьми, кажется, клюет», и улыбнулся при мысли, что он действительно имеет успех у женщин, так как г-жа де-Марель, после возобновления их связи, проявляла свою любовь самым пылким образом..

Вернулся домой очень веселый.

Мадлена ожидала его в гостиной.

— У меня есть новости,—сказала она.—Дела в Марокко осложняются. Вполне возможно, что Франция пошлет туда через несколько месяцев экспедицию. Во всяком случае, этим можно воспользоваться для свержения министерства, что даст Ларошу возможность захватить портфель иностранных дел.

Дюруа, желая подразнить жену, притворился, что он ничему не верит.—Они не будут на столько глупы, чтобы снова повторить Тунисскую чепуху...

Но она нетерпеливо пожала плечами:—Я тебе говорю, что будет так, я тебе говорю, что—да. Ты значит, не понимаешь, что здесь для них пахнет большим кушем денег... Теперь, мой милый, в политических комбинациях не говорят: «Ищите женщину», но говорят: «Ищите выгоды».

Он прошептал:—Чепуха!—с презрительным видом, чтобы ее раззадорить...

Она возмутилась:—Слушай, ты такой же дурак, как Форестье.

Она хотела его уязвить и ожидала, что он рассердится. Но он улыбнулся и ответил:—Как этот роконосец Форестье?

Это ошеломило ее. Она прошептала:—О! Жорж!

У него был дерзкий и вызывающий вид. Он снова начал:—Ну, чтож? Разве ты мне не призналась тогда вечером, что Форестье носил рога?..

И прибавил:—Бедный малый!—тоном искреннего сожаления...

Мадлена повернулась к нему спиной, не удостоив от-

ветом. Потом, минуто помолчав, сказала:—Во вторник у нас будут гости: г-жа Ларош-Матье приедет обедать с виконтессой де-Персемюр. Хочешь пригласить Риваля и Норбера де-Варрена? Я буду завтра у г-жи Вальтер и г-жи де-Марель. Может быть, приедет также г-жа Рисолен.

С некоторых пор она стала заводить знакомства, пользуясь политическим влиянием мужа, чтобы тем или иным способом привлечь к себе жен сенаторов и депутатов, нуждавшихся в поддержке «Французской Жизни».

Дюруа ответил:—Отлично,—я приглашу Риваля и Норбера.

Он был доволен, потирал руки, потому что нашел чем изводить жену, мстя ей за смертельную ревность, зародившуюся в нем после их поездки в лес. Теперь он не иначе говорил о Форестье, как называя его роконосцем. Он чувствовал, что в конце концов это должно взбесить Мадлену. В продолжение вечера он раз десять упоминал с добродушной иронией об этом «роконосце Форестье».

Он уже не сердился на покойного, он мстил за него.

Жена притворялась, что не слышит, и сидела против него с равнодушным и улыбающимся видом.

На следующий день, когда она собиралась ехать приглашать г-жу Вальтер, он поехал раньше ее, в надежде застать ее одну и убедиться, действительно ли она к нему расположена. Это забавляло его и льстило ему... К тому же... почему бы и нет... Если это возможно.

Он явился на бульвар Малерб к двум часам. Его попросили в гостиную. Он стал ожидать.

Вошла г-жа Вальтер, поспешно и радостно протягивая ему руку.

— Какой добрый ветер вас занес?

— Не ветер, а желание вас видеть. Какая то сила повлекла меня к вам, не знаю почему, не знаю для чего... И вот я пришел! Надеюсь, что вы простите мне этот ранний визит и откровенность моего объяснения?

Сказал все это галантным и шутливым тоном, с улыбкой на губах, но с серьезной нотой в голосе.

Она казалась удивленной, слегка покраснела, пробормо-

мotala:—Но... право... Я не понимаю... Вы меня удивили...

Он прибавил:—Я объясняюсь вам в любви веселым тоном, чтобы вас не испугать.

Они сидели близко рядом... Она хотела обратить дело в шутку.

— Так значит это объяснение? Серьезное?

— Разумеется! Уже давно я хотел вам признаться, давным давно... Но я не смел... Я столько слышал о вашей строгости и недоступности...

Она овладела собою, приняла свой обычный вид. Сказала:

— Почему вы выбрали именно сегодняшний день?

— Не знаю.—Потом понизив голос:—Вернее потому, что со вчерашнего дня я только и думал о вас.

Она пробормотала, внезапно побледнев:—Полно дурачиться, поговорим о чемнибудь другом.

Но он упал перед ней на колени так неожиданно, что она испугалась. Она хотела встать; но он удержал ее силой, обняв за талию обеими руками и говоря страстным голосом:

— Да, это правда, что я вас люблю, люблю безумно, люблю давно. Не отвечайте мне. Что же делать, я сумасшедший! Я вас люблю! О! Если бы вы знали, как я вас люблю!

Она задыхалась, тяжело дыша, старалась что-то сказать и не могла выговорить ни одного слова. Она отталкивала его обеими руками, ухватившись за его волосы, чтобы отклонить его губы, приближавшиеся к ее губам. И поворачивала голову справа налево и слева направо, быстрым движением, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть.

Он прикасался к ней сквозь платье, трогал, ощущивал ее; она изнемогала от этих грубых, чувственных прикосновений. Вдруг он поднялся и хотел заключить ее в свои объятия, но, освободившись на минуту, она быстро вырвалась и стала перебегать с кресла на кресло...

Он решил, что преследовать ее будет смешно, и упал в кресло, закрыв лицо руками, притворяясь, что сдерживает рыдания...

Потом поднялся, закричал:—Прощайте, прощайте!—

и исчез. В передней он преспокойно разыскал свою трость и вышел на улицу, думая:—Чорт возьми! Кажется дело в шляпе.—И зашел на телеграф, чтобы послать Клотильде телеграмму, назначив ей свиданье на следующий день.

Вернувшись домой, в обычный час, он спросил жену:—Ну, что все твои гости будут к обеду?

Она ответила:—Да, только г-жа Вальтер не уверена, будет ли она свободна. Она колеблется; говорила мне о чем-то,—о долге, о совести, вообще имела забавный вид. Все равно, я уверена, что она придет.

Он пожал плечами:—Ну, конечно, придет.

Однако, в глубине души, он не был уверен и беспокоился до самого дня обеда.

Утром в этот день Мадлена получила записку от г-жи Вальтер: «Мне удалось с большим трудом освободиться и я буду у вас. Но мой муж лишен возможности меня сопровождать».

Дюруа подумал: «Я отлично сделал, что не был больше у нее. Теперь она успокоилась. Нужно действовать исподволь».

Однако, он ожидал ее появления с легким беспокойством. Она появилась, очень спокойная, немного высокомерная и сдержанная. Он принял скромный и почтительный вид.

Г-жи Ларош-Матье и Риссоллин явились в сопровождении своих мужей. Виконтесса де-Персемюр повествовала о большом свете... Г-жа де-Марель была восхитительна в оригинальном испанском туалете, желтом с черным, превосходно облегавшем ее тонкую талию, развитую грудь, руки и характерно оттенявшем ее маленькую птичью головку.

Дюруа сидел по правую сторону г-жи Вальтер и в продолжение обеда говорил только о серьезных вещах, с увеличенной почтительностью. От времени до времени он посматривал на Клотильду. «Конечно она красивее и интереснее», думал он. Потом его взгляд останавливался на жене, которую он тоже находил недурной, хотя продолжал чувствовать против нее глухое затаенное раздражение.

Г-жа Вальтер возбуждала его трудностью победы и новизной, всегда так привлекающей мужчин.

Она собралась рано домой.—Я вас провожу, сказал он.

Она отказалась. Он настаивал:—Почему вы не хотите? Вы меня жестоко оскорбляете. Не заставляйте меня думать, что вы мне еще не простили. Вы видите, я спокоен.

Она ответила:—Вам неудобно оставлять ваших гостей.

Он улыбнулся:—Пустяки! Я отлучусь всего на двадцать минут. Никто даже не заметит. Ваш отказ оскорбит меня до глубины души.

Она прошептала:—Ну хорошо, я соглашаюсь...

Как только они очутились в карете, он схватил ее руку, и, страстно целуя ее:—Я люблю вас, люблю вас. Позвольте мне это сказать. Я вас не трону... Я только хочу повторить вам, что люблю вас.

Она пробормотала:—О... После того, что вы мне обещали... Это дурно, очень дурно...

Он притворился, что с трудом владеет собой, затем продолжал сдержанно:—Видите, как я владею собою, и в то же время... Но позвольте мне, по крайней мере, вам сказать... Я люблю вас... И буду это повторять вам каждый день... Да, позвольте мне приходить к вам на пять минут, становиться на колени и говорить эти три слова, глядя на ваше обожаемое лицо.

Она не отнимала у него руки и ответила, тяжело дыша:—Нет я не могу, не хочу... Подумайте, что будет говорить прислуга, мои дочери... Нет, нет, это невозможно.

Он продолжал:—Я не могу больше жить, не видя вас. Пусть это будет у вас или где в другом месте, но я должен вас видеть, хотя бы каждый день на минуту, прикасаться к вашей руке, дышать одним воздухом с вами, любоваться очертаниями вашего тела, и вашими дивными большими глазами, которые сводят меня с ума...

Она слушала, вся трепеща, эту банальную музыку любви и бормотала:—Нет, нет, это невозможно. Замолчите!

Он стал шептать ей на ухо, поняв, что ее нужно брать исподволь, что нужно принудить ее назначить ему свидание,—сначала, где она хочет,—потом, где он захочет.

—Послушайте... Мне это необходимо... Я должен

видеть... Я буду вас ожидать у двери, как нищий... Если вы не выйдете, я подымусь к вам... Но я увижу вас... Увижу вас... завтра.

Она повторяла:—Нет, нет, не приходите. Я вас не прииму. Подумайте о моих дочерях...

— В таком случае скажите, где я могу вас встретить... вне дома... Где хотите, когда хотите, мне все равно, лишь бы вас видеть... Я поклонюсь вам... Шепну: «Люблю вас», и уйду.

Она колебалась, окончательно растерявшись. И так как экипаж подъезжал к ее дому, она быстро прошептала:—Ну, хорошо, я буду завтра в половине четвертого у церкви Св. Троицы.

Затем она вышла, кликнув кучеру:—Отвезите г-на Дюруа домой.

Когда он вернулся, жена спросила его:—Ты где был?

Он ответил, понизив голос:—Заходил на телеграф, отправить спешную депешу.

Г-жа де-Марель подошла к нему:—Вы меня проводите, Милый Друг? Ведь я езжу обедать так далеко только на этом условии...—Затем, обратившись к Мадлене:—Ты не ревнуешь?

Г-жа Дюруа ответила.—Нет, не слишком...

Гости разошлись. Г-жа Ларош-Матье держала себя как провинциальная горничная. Она была дочерью нотариуса, когда вышла за Лароша, тогда еще неизвестного адвоката. Г-жа Риссоллин, пожилая претенциозная особа, походила на бывшую акушерку, получившую сомнительное образование... Виконтесса де-Персемюр смотрела на них свысока. Ее «белая лалка» с отвращением притрагивалась к рукам простых смертных.

Клотильда, закутавшись в кружева, сказала Мадлене, прощаясь с нею у лестницы:—Твой обед был шикарен. Скоро у тебя будет первый политический салон в Париже.

Как только они остались вдвоем, она заключила Жоржа в объятия...

— О, мой дорогой Милый Друг, я люблю тебя с каждым днем все больше!

Экипаж, увозивший их, качался, как корабль.

— В нашей комнате лучше,—сказала она.

Он ответил:—О! да. — Но мысли его были заняты г-жею Вальтер.

IV.

Был жаркий июльский день, и площадь Св. Троицы совершенно пустынна. Над Парижем стояла удушливая жара, как будто весь раскаленный воздух спустился с высот на город, нагрев его до того, что тяжело было дышать.

Перед церковью лениво били фонтаны. Они казались утомленными, изнемогающими, а вода бассейна, где плавали листья и клочки бумаги,—зеленоватой, мутной и густой...

Собака, перепрыгнувшая через каменный барьер, купалась в этой подозрительной мути. Несколько человек, сидевших на скамьях круглого палисадника перед входом, смотрели с завистью на животных.

Дюруа вынул часы: Было только три часа. Оставалось еще целых полчаса.

Он улыбался, думая об этом свидании. «Церковь служит ей во всех случаях,—подумал он.—Утешает в замужестве с евреем, придает вид протестантки в политическом мире, поднимает в глазах высшего общества и укрывает в любовных похождениях. Вот, что значит привычка обращаться с религией, как с зонтиком... В случае хорошей погоды он заменяет трость, в случае жары—служит зонтиком, в случае дождя—укрывает; если же не выходят—оставляют его в передней. На свете сотни таких женщин, которым ровно нет никакого дела до Господа Бога, но которые не хотят, чтобы Его бранили, и при случае берут Его в посредники... Если им предложат пойти в меблированные комнаты, они сочтут это позором, находя в то же время совершенно естественным вести шашни у подножья алтаря.

Он медленно ходил вдоль бассейна; потом снова посмотрел на башенные часы, которые шли впереди его часов на две минуты. Теперь на них было пять минут четвертого.

Решил, что лучше будет войти в церковь и подождать там. При входе, его обдало прохладой подвала. Он вздох-

нул с удовольствием, потом обошел церковь кругом, чтобы лучше ознакомиться с местом.

Из глубины обширного здания навстречу его шагам, гулко раздававшимся под высоким сводом, звучали другие мерные шаги, то удалявшиеся, то приближавшиеся... Ему захотелось посмотреть на ходившего. Увидал его. Это был полный, лысый господин, прогуливавшийся с беспечным видом, держа шляпу за спиной. Кое-где молились на коленях старики, закрыв лицо руками.

Чувствовалась тишина, уединенность, замкнутость... Свет, задерживаемый цветными стеклами, был приятен для глаз...

Дюруа нашел, что здесь «чертовски хорошо».

Он вернулся к двери и снова посмотрел на часы. Было только четверть четвертого. Он сел у главного входа, жалея, что здесь нельзя закурить сигаретку. На другом конце церкви, близ хор, все еще слышались неторопливые шаги полного господина.

Кто-то вошел. Жорж быстро обернулся. Это была простая женщина, в шерстяной юбке, упавшая на колени возле первого стула и оставшаяся неподвижной со сложенными руками, устремив глаза к небу, вся поглощенная молитвой.

Дюруа смотрел на нее с любопытством, спрашивая себя, какое горе, какая печаль надрывали эту простую душу. Может быть нищета, заметная по ее одежде... Может быть, муж, колотивший ее, или умирающий ребенок...

Подумал: «Несчастливые существа. Ведь есть же такие, которые непрестанно страдают». И вдруг почувствовал злобу против безжалостной судьбы. Потом стал размышлять, что эти бедняки, по крайней мере, верят в то, что о них заботятся на небе, и что их земная жизнь уравновесится на мировых весах справедливости. «Там, наверху». — Но где же?

И Дюруа, которого тишина церкви располагала к размышлениям, решил, что все на свете нелепо, и прошептал: — Как все это глупо построено.

Шелест платья заставил его вдрогнуть. Это была она. Он встал, быстро подошел к ней.

Она не протянула ему руки и только тихо сказала:

— Я располагаю всего несколькими минутами. Я должна тотчас вернуться; встаньте на колени возле меня, чтобы нас не заметили.

И она направилась в самую середину, отыскивая личное и надежное место, с видом женщины, хорошо знакомой с помещением... Лицо ее было закрыто густой вуалью, ноги еле касались пола...

Дойдя до хор, она обернулась и пробормотала таинственным тоном, которым говорят в церквях: — Пожалуй, в боковых приделах лучше, — здесь слишком на виду.

Перед дарохранительницей главного алтаря она преклонила голову и слегка присела, повернула направо, в сторону выхода, потом, наконец, решившись, взяла нагой для моления и опустилась на колени.

Жорж встал рядом с нею и в ожидании проповеди сказал: — Благодарю вас, благодарю. Я вас обожаю. Я бы хотел это вам постоянно повторять, рассказать вам, как я начал вас любить, как я влюбился в вас с первого же раза... Позвольте ли вы мне когданибудь излить мою душу, высказать вам все это?

Она слушала его, погруженная в свои мысли, точно ничего не понимая. Наконец, ответила еле слышно: — Я совершила безумие, позволив вам так говорить, — безумие, что пришла, безумие то, что я делаю, подавая вам надежду, что этот случай может иметь последствия. Забудьте это, пожалуйста, и никогда не говорите мне об этом.

Она замолчала. Он подыскивал ответ, — решительные, пламенные слова, но, не будучи в состоянии подкрепить их жестами, не знал, что сказать.

Он начал снова: — Я ничего не ожидаю... ни на что не надеюсь. Я люблю вас. Чтобы вы ни делали, я буду вам повторять это так часто, с такой настойчивостью и страстью, что, в конце концов, вы поймете меня. Я хочу, чтобы вся моя нежность передалась вам, чтобы она проникла в душу, слово за словом, изо дня в день, из часу в час, чтобы она смягчила ваше сердце и заставила вас когданибудь ответить мне: «Я вас тоже люблю».

Он чувствовал, как дрожало ее плечо, прикасаясь к его, как вздымалась ее грудь; она прошептала скороговоркой: «Я вас тоже люблю».

Он привскочил, словно его ударили по голове, и испустил вздох: — О, Господи, Боже мой!..

Она продолжала, задыхаясь: — Зачем я вам это сказала? Я чувствую себя преступницей, презренной... Я... имеющая двух дочерей... но я не могу... не могу... Я бы никогда не поверила, никогда не подумала... Но это сильнее... сильнее меня. Слушайте... Слушайте... Я никогда никого не любила, кроме вас... клянусь вам... И люблю вас уже целый год, тайно, в глубине моего сердца... О! сколько я страдала, если бы вы знали, и больше не в силах... Я люблю вас...

Она плакала, закрыв лицо руками, и все ее тело вздрагивало, потрясенное волнением.

Жорж пробормотал: — Дайте мне коснуться вашей руки, погладить ее...

Она медленно отняла руки от лица. Он увидел всю ее щеку мокрую, и слезинку, готовую скатиться с ресницы.

Он взял ее руку, сжал ее: — О! как бы я хотел осушить ваши слезы...

Она сказала тихим, упавшим голосом, похожим на стон: — Не выводите меня из себя... Я и так уж погибла...

Он едва удержался от улыбки.

Что мог он с нею сделать в этом месте? Он прижал к сердцу ее руку и спросил: — Слышите, как оно бьется? Потому что весь запас его страстных излияний иссяк.

Уже несколько минут слышались шаги приближающегося господина. Он обошел все алтари и уже, по крайней мере, во второй раз спускался по маленькому правому приделу. Г-жа Вальтер, услышав, что он приближается, вырвала свою руку у Жоржа и снова закрыла ею лицо.

Они оба стояли неподвижно на коленях, как будто возносили к небу пламенные мольбы. Полный господин прошел мимо них, равнодушно поглядел и направился к выходу, продолжая держать шляпу за спиной.

Но Дюруа, мечтавший о свидании где-нибудь в другом месте, прошептал: — Где я вас увижу завтра?

Она не отвечала. Казалась безжизненной, застывшим изваянием, олицетворявшим молитву.

Он продолжал: — Хотите, завтра встретимся в парке Монсо?

Она повернула к нему теперь свое открытое лицо, искаженное ужасным страданием, и прерывистым голосом: — Оставьте меня... Оставьте меня, теперь... уходите... уходите... Оставьте меня на пять минут одну... Я слишком страдаю в вашем присутствии, я хочу молиться... и не могу... Уйдите... Дайте мне помолиться... одной... пять минут... Я не могу... дайте мне умолить Бога, чтобы он меня простил... меня спас... Оставьте меня... на пять минут...

У нее был такой взволнованный вид, такое страдальческое лицо, что он встал, не говоря ни слова, потом, после минутного колебания, спросил: — Вернуться мне через несколько минут?

Она кивнула головой, точно хотела сказать: «Да, сейчас же». Он направился к хорам.

Тогда она попробовала молиться. Сделала над собой невероятное усилие, чтобы призвать Бога, и, трепеща всем телом, не помня себя, воскликнула, обращаясь к небу: — Милосердия!

Она закрывала глаза, словно обезумев, чтобы не видеть больше того, который только что ушел! Она гнала от себя мысль о нем, боролась с искушением, но вместо небесного видения, которого жаждало ее измученное сердце, продолжала видеть закрученные усы молодого человека.

В течение целого года она дни и ночи боролась с этим, все возрастающим искушением, с этим образом, волновавшим ее мечты, терзавшим тело, нарушавшим сон. Она чувствовала себя как зверь, попавший в силки, знавала, что она в его власти, брошена в объятия этого самца, пленившего и победившего ее цветом своих глаз, пушистыми усами...

Теперь, в этой церкви, так близко от Бога, она чувствовала себя еще слабее, еще более покинутой и потерянной, чем дома. Она была не в состоянии молиться, думая беспрестанно о нем. И уже страдала от того, что он ушел. В то же время она отчаянно боролась, напрягала все силы для того, чтобы противостоять искушению. Она предпочла бы умереть, чем пасть, так как никогда не изменяла. Бормотала безумные слова мольбы, но прислушивалась к шагам Жоржа, замиравшим вдалеке.

И поняла, что все кончено, что сопротивляться бесполезно! Но все же не хотела сдаться; ее охватило нервное истощение, бросающее женщин, рыдающих, корчащихся, на землю. Все ее тело дрожало, как в лихорадке, и она чувствовала, что может упасть и кататься между стульев, испуская пронзительные крики.

Кто-то приближался быстрыми шагами. Она повернула голову. Это был священник. Тогда она встала, подбежала к нему и, протягивая сложенные руки, пробормотала: — О, спасите меня!

Он остановился в изумлении: — Что вам угодно, сударыня?

— Я хочу, чтобы вы меня спасли. Сжальтесь надо мной, если вы не поможете мне, я погибла.

Он посмотрел на нее, спрашивая себя, — не сумасшедшая ли она. Снова спросил: — Что я могу для вас сделать?

Это был молодой человек, высокий, немного полный, с толстыми отвисшими щеками, с черным налетом от тщательного бритья на лице, видный городской викарий, из состоятельного квартала, привыкший к богатым прихожанам.

— Выслушайте мою исповедь, — сказала она, — и посоветуйте мне, поддержите меня, скажите, что мне делать!

Он отвечал: — Я исповедую по субботам, от трех до шести часов.

Она схватила его руку и, сжимая ее, повторяла: — Нет! нет! нет! Я хочу сейчас! сейчас же! Это необходимо! Он здесь! В этой церкви! Он ждет меня!

Священник спросил: — Кто вас ждет?

— Человек... который меня погубит... который мною овладеет, если вы меня не спасете... Я не в состоянии больше скрываться от него... Я слишком слаба... слишком слаба... так слаба... так слаба!..

Она бросилась перед ним на колени, рыдая: — О! сжальтесь надо мной, отец мой! Спасите меня, во имя Господа, спасите меня!

Она ухватила за его черную сутану, чтобы он не мог уйти; а он, обеспокоенный, глядел по сторонам, не наблюдает ли чей-нибудь злокозненный или благочестивый взгляд эту женщину, распростертую у его ног.

Наконец, поняв, что она не отстанет, он сказал: — Встаньте, сегодня, как нарочно, ключ от исповедальни при мне. — И, порывшись в кармане, вынул связку ключей, выбрал один из них, и направился быстрыми шагами к маленьким деревянным клеткам, похожим на ящики, где верующие облегчаются от своих прегрешений...

Он вошел в среднюю дверь, которую запер за собою. Г-жа Вальтер, бросившись в узкую клетку рядом, страстно прошептала, охваченная экстазом надежды:

— Благословите меня, отец мой,—я согрешила.

Дюруа, обойдя вокруг хор, дошел до левого придела. Дойдя до середины, он встретил полного лысого господина, все время прогуливавшегося спокойным шагом, и подумал: — Что этот чудака здесь делает?

Господин тоже замедлил шаги, и посмотрел на Жоржа с явным желанием заговорить. Подойдя к нему, он поклонился, и очень вежливо сказал: — Извините, сударь, что я вас беспокою, но не можете ли вы мне сказать, к какому времени относится постройка этого здания?

Дюруа ответил:

— Право, я и сам не знаю. Думаю, что лет двадцать или двадцать пять тому назад. Впрочем, я здесь сам в первый раз.

— И я тоже. Раньше я здесь никогда не бывал.

Тогда журналист, подстрекаемый любопытством, сказал:

— Кажется, вы осматриваете его очень тщательно. Изучаете во всех подробностях.

Тот ответил: — Я его не осматриваю, сударь, я ожидаю мою жену, которая назначила мне здесь свидание, но сильно запоздала.

Потом он замолчал, и спустя несколько минут: — На улице чертовски жарко.

Дюруа, рассмотрев его, нашел, что он недурен, и вдруг ему показалось, что он похож на Форестье.

— Вы провинциал? — спросил он.

— Да. Я из Ренн. А вы, сударь, зашли в эту церковь ради осмотра?

— Нет, я ожидаю одну даму. — И, раскланявшись, журналист удалился с улыбкой на губах...

Приблизившись к главному входу, он снова увидал женщину на коленях, все еще погруженную в молитву. Подумал: «Однако! она прилежно молится». Теперь он уже не волновался и ему не было ее жаль. Он прошел мимо и стал не спеша подвигаться к правому приделу, чтобы встретиться с г-жею Вальтер.

Еще издали он увидал место, где он ее оставил. И удивился, что ее там нет. Подумал, что ошибся наложом, прошел мимо остальных, и снова вернулся. Значит, она ушла! Он был поражен и взбешен. Потом ему представилось, что она его ищет, и он снова обошел церковь. Не найдя ее нигде, он вернулся и сел на стул, на котором она сидела, в надежде, что она вернется, и стал ждать.

Вскоре легкий попот привлек его внимание. Но в этом углу церкви он никого не видал. Откуда же исходил этот попот? Он поднялся, чтобы посмотреть, и увидал в соседней часовне дверцу исповедальни. Из под двери виднелся кончик платья женщины, лежавшей на полу. Он приблизился, чтобы рассмотреть женщину, и узнал ее. Она исповедывалась!

Он почувствовал сильное желание схватить ее за плечи и вытащить из этого ящика. Потом подумал: «Ну! сегодня очередь священника, завтра — моя». И спокойно уселся против исповедальни, выжидая время и подсмеиваясь над приключением.

Ему пришлось долго ждать. Наконец, г-жа Вальтер поднялась, обернулась, увидела его и подошла к нему. Лицо ее было холодно и сурово.

— Милостивый государь, — сказала она, — прошу вас не провожать меня, не следовать за мною и не приходить ко мне больше без кого-либо. Вас не примут. Прощайте! — И с достоинством удалилась.

Он дал ей уйти, так как принципиально не считал нужным насиловать события. Потом, увидав священника, слегка смущенного, выходящего из своего убежища, он подошел прямо к нему и, глядя ему в глаза, пробормотал под нос:

— Если бы вы не носили этой юбки, я бы вам охотно надавал пощечин по вашей скверной морде. — Затем повернулся и, посвистывая, вышел из церкви.

На паперти, полный господин, в шляпе, заложив руки за спину, устав от ожидания, оглядывал обширную площадь и все прилегавшие к ней улицы. Когда Дюруа проходил мимо него, они раскланялись.

Журналист, почувствовав себя свободным, направился в редакцию. Как только он вошел, он заметил по озабоченным лицам лакеев, что случилось что-то необычайное, и поспешно вошел в кабинет издателя.

Старик Вальтер, стоя, возбужденный, диктовал статью отрывистыми фразами, давая в промежутки между двумя предложениями поручения окружавшим его репортерам, делал указания Буаренару и распечатывал письма.

Увидя Дюруа, патрон радостно воскликнул:

— Ах, какое счастье! Вот и наш Милый Друг!

Вдруг остановился, слегка сконфуженный и извинился: — Прошу прощения, что назвал вас так, я слишком взволнован обстоятельствами... К тому же я постоянно слышу дома, как жена и дети называют вас с утра до вечера Милым Другом, и, в конце концов, я и сам привык к этому. Вы за это на меня не сердитесь?

Жорж засмеялся: — Нисколько. В этом прозвище для меня нет ничего неприятного.

Вальтер продолжал: — Отлично, в таком случае я буду вас называть Милым Другом, так же, как все остальные. Ну! Дело вот в чем. Мы накануне крупных событий. Министерство свергнуто большинством трехсот десяти голосов против ста двух. Вакансии отложены, а сегодня уже двадцать восьмое июля. Испания сердится за Марокко, что и послужило причиной падения Дюрана де-Лена и его приверженцев. У нас дел по горло... Маро поручили составить новый кабинет. Он приглашает генерала Бутэн-д'Акра военным министром, а нашего друга Лароша-Матье министром иностранных дел. Себе он оставляет портфель внутренних дел и председательство в Совете. Наша газета становится официозом. Я составляю пере-

довую статью, излагаю нашу программу и указываю на предстоящие реформы министрам.

Он улыбнулся и продолжал:—Разумеется, я предпринимаю им то, на что они способны. Но мне нужно что-нибудь интересное относительно Марокко, что-нибудь имеющее злободневный характер, сенсационную заметку, статью... Найдите мне что-нибудь...

Дюруа подумал секунду, потом сказал:—Нашел. Я вам дам заметку о политическом положении нашей африканской колонии,—Туниса, Алжира и Марокко, историю племен, населяющих эту территорию, описание экскурсий на Мароккскую границу до большого оазиса Фигуиг, куда еще не проникал ни один европеец. Это вам подойдет?

Вальтер воскликнул:—Превосходно! А какое заглавие?

— «От Туниса до Танжера!»

— Великолепно!

И Дюруа отправился разыскивать в комплекте «Французской Жизни» свою первую статью: «Воспоминания африканского охотника», которая, иначе озаглавленная, подновленная и измененная, отлично пригодится теперь, раз дело идет о колониальной политике, об алжирском населении и экскурсии в Оранскую провинцию.

В три четверти часа статья была переделана, подправлена и подана под свежим соусом, состоящим из злободневности и похвал новому кабинету...

Редактор, прочитав статью, заявил:—Отлично, отлично, отлично... Вы драгоценный человек. Выше всяких похвал...

Дюруа вернулся домой обедать, очень довольный этим днем, несмотря на неудачу в церкви Св. Троицы, так как чувствовал, что дело в шляпе.

Жена ожидала его с нетерпением... Увидя его, она воскликнула:

— Ты знаешь, что Ларош—министр иностранных дел?

— Да, я только что написал статью об Алжире по этому поводу.

— Какую статью?

— Ты ее знаешь, это первая, которую мы писали вместе: «Воспоминания африканского охотника», пере-

смотренная и исправленная согласно с обстоятельствами...

Она улыбнулась:—Ах! И правда, ведь она очень подходящая.

Потом, подумав несколько минут:—Я думаю о продолжений, которое ты должен был написать тогда и которое... бросил, не окончив. Мы бы могли теперь за него приняться. Это составило бы превосходный ряд статей по этому вопросу...

Он отвечал, усаживаясь перед тарелкой супа:—Отлично, теперь этому ничто не мешает, раз этот рогоносец Форестье поколел...

Она живо ответила сухим, обиженным тоном:

— Эта шутка переходит все границы, и я прошу тебя положить этому конец. Я терплю ее и так слишком долго.

Он хотел иронически возразить, но в это время принесли телеграмму, содержавшую всего одну фразу без подписи: «Я совершенно обезумела,—простите меня и приходите завтра в парк Монсо».

Он понял, и, внезапно обрадовавшись, сказал жене, опуская телеграмму в карман:

— Я больше не буду этого делать, дорогая. Это глупо. Я сознаю это.—И принялся за обед.

Во время еды он повторял про себя эти слова: «Я обезумела, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо». Значит, она сдается. Ведь, это означало: «Я сдаюсь, делайте со мной, что хотите, где хотите и когда хотите».

Он засмеялся. Мадлена спросила:

— Что с тобой?

— Ничего особенного, я вспомнил одного священника, которого только что встретил и у которого была презабавная физиономия.

Дюруа явился на другой день в назначенное время на свидание. На всех скамьях парка сидели люди, изнемогавшие от жары, и равнодушные няньки, которые, казалось, дремали, пока дети валялись по песку на дорожках.

Он нашел г-жу Вальтер в маленькой античной развалине, где бьет источник. Она ходила вокруг колонок, с

беспокойным и подавленным видом. Как только он с ней поздоровался, она сказала:

— Сколько народу здесь!

Он обрадовался предлогу...

— Да, это правда; хотите, пойдем куда-нибудь в другое место.

— Но куда же?

— Все равно, куда... Сядем хотя бы в карету. Вы опустите штору с вашей стороны и будете в безопасности.

— Да, пожалуй, так лучше; здесь я умираю от страха.

— Хорошо, через пять минут вы найдете меня у выхода на бульвар. Я вернусь с экипажем.

И он быстро удалился. Как только они очутились в карете, она тщательно занавесила стекло со своей стороны и спросила:

— Куда вы вели кучеру нас везти?

Жорж ответил:— Не думайте ни о чем, он знает.

Он дал кучеру адрес своей квартиры в Константинопольской улице.

Она продолжала: — Вы не можете себе представить, как я страдаю из-за вас, как я терзаюсь и мучаюсь. Вчера я обошлась с вами жестоко в церкви, но я хотела во что бы то ни стало избавиться от встречи с вами. Я так боялась остаться наедине с вами. Простили ли вы меня?

Он сжал ее руку: — Да, да, чего бы я вам не простил, любя вас так, как я вас люблю...

Она смотрела на него умоляющим взглядом:— Послушайте, вы должны мне обещать, что будете меня уважать... что вы не... Иначе я не смогу с вами больше видаться, не смогу...

Сначала он ничего не ответил; на губах его играла тонкая улыбка, так волнующая женщин. Потом он прошептал:— Я ваш раб.

Тогда она начала ему рассказывать, как поняла, что любит его, узнав, что он собирается жениться на Мадлене Форестье; припоминала обстоятельства, мельчайшие подробности чисел и интимных вещей...

Вдруг она замолчала. Карета остановилась. Дюруа отворил дверцу.

— Где мы?—спросила она.

Он ответил:— Выходите и входите в этот дом. Там нам будет спокойнее.

— Но где мы?

— У меня. Это моя холостая квартира, которую я снова нанял... на несколько дней... чтобы иметь уголок, где мы могли бы встречаться.—Она ухватила за дверцу экипажа, испуганная при мысли о свидании с ним наедине, и прошептала:

— Нет, нет, я не хочу!

Он энергично сказал:— Клянусь вам, что буду вас уважать. Входите. Видите—на нас смотрят. Вокруг уже собирается народ. Скорее, скорее, выходите.

И повторил:— Клянусь вам, что буду вас уважать.

Хозяин винной лавки рассматривал их с любопытством, стоя у двери... Ее охватил страх, и она бросилась в под'езд. Хотела подняться по лестнице. Он удержал ее за руку.— Это здесь, внизу.—И почти втолкнул ее в свою квартиру.

Как только он запер дверь, он схватил ее, как хищник добычу. Она отбивалась, боролась, лепетала:—О, Боже мой!... О, Боже мой!...

Он целовал ей шею, глаза, губы, с такой страстью, что она не смогла противостоять его бешеным ласкам; и, отталкивая его, уклоняясь от его поцелуев, она против воли возвращала ему их.

Вдруг она перестала отбиваться и, побежденная, покорная, позволила ему раздеть себя... Он быстро и проворно снял с нее одну за другой все принадлежности костюма с ловкостью искусной горничной.

Она вырвала у него из рук корсаж, чтобы спрятать в нем лицо, и стояла, бледная, посреди сброшенной к ногам одежды. Он оставил на ней только ботинки, и перенес на руках в постель. Тогда она прошептала ему на ухо, упавшим голосом:—Клянусь вам... клянусь вам... что у меня никогда не было любовника...—Точно молоденькая девушка, которая говорит: «Клянусь вам, что я невинна».

А он подумал:— Вот уж это мне, право, совершенно все равно.

V.

Наступила осень. Дюруа провели в Париже все лето и вели в пользу нового кабинета энергичную кампанию в газете во время роспуска Палаты.

В первых числах октября, Палата депутатов должна была возобновить заседания, так как положение дел в Марокко принимало угрожающий оборот.

В сущности, никто не верил в занятие Танжера, хотя в день закрытия Парламента, депутат правой, граф де-Ламбер-Саразэн, в очень умной речи, вызвавшей аплодисменты даже центра, предложил поставить на пари свои усы, как однажды сделал вице-король Индии, против бакенбард президента Совета, что новый кабинет должен будет поступить по примеру предшествовавшего и послать в Танжер войска, подобно Тунису — из любви к симметрии, — как ставят по бокам камина две вазы. Он прибавил: «И в самом деле, Африка служит для Франции камином, милостивые государи, — камином, в котором сгорают наши лучшие дрова. — камином, который разжигают банковыми ассигнациями... Вам пришла фантазия украсить левый угол тунисской безделушкой, стоящей вам дорого, — вы увидите, что г-н Марро захочет уподобиться своему предшественнику и украсит правый угол Мароккской игрушкой».

Эта речь, произведшая сенсацию, послужила Дюруа темой для десятка статей об алжирской колонизации; это была та самая серия статей, которая прервалась его дебутом в газете, и он энергично поддерживал идею посылки армии, хотя и был убежден, что это не осуществится... Он задел патриотическую струнку и бомбардировал Испанию целым арсеналом презрительных выражений, употребляемых против нации, интересы которой идут в разрез с нашими.

«Французская Жизнь» сделалась влиятельным органом, благодаря своим связям с правительством. Она помещала прежде всех остальных газет политические новости; между строк намекала на намерения дружественных ей министров; все парижские и провинциальные газеты чер-

пали из нее сведения. На нее ссылались, ее побаивались, начинали с ней считаться... Это уже не был подозрительный орган шайки политических аферистов, но официальный орган кабинета. Ларош-Матье был душою газеты, Дюруа его правой рукой. Вальтер, бессловесный депутат и изворотливый издатель, умевший стусевываться, занимался втихомолку грандиозными операциями в Мароккских медных рудниках.

Салон Мадлены сделался влиятельным центром, где собирались каждую неделю несколько членов кабинета. Даже президент Совета два раза обедал у нее; а жены государственных людей, не решавшиеся прежде переступить ее порога, хвастались теперь ее дружбой и посещали ее чаще, чем она их.

Министр иностранных дел распоряжался у нее в доме, точно он был хозяин. Он приходил во всякое время, приносил депеши, сведения, справки, которые диктовал то мужу, то жене, точно они были его секретарями.

Когда Дюруа, после ухода министра, оставался наедине с Мадленой, он возмущался, ядовито высмеивая все слова и поступки этого посредственного выскочки.

Но она презрительно пожимала плечами, повторяя:

— Добейся того же, чего добился он. Сделайся министром; тогда и задирай нос. А до тех пор — помалкивай.

Он закручивал усы, поглядывая на нее сбоку. — Еще неизвестно, на что я способен, — говорил он, — в один прекрасный день это обнаружится...

Она отвечала фисософски: — Поживем — увидим.

В день открытия парламента, молодая женщина еще с утра, в постели, надавала мужу тысячу поручений. Он собирался завтракать к Ларош-Матье, чтобы получить от него еще до заседания инструкции для завтрашней передовицы, в которой должна была заключаться официальная программа действительных намерений кабинета.

Мадлена говорила: — Главное, не забудь спросить, послан ли генерал Бель-Онкль в Оран, как предполагалось... Это будет иметь огромное значение.

Жорж, взволнованный, отвечал: — Я не хуже тебя знаю, что мне делать. Избавь меня от своей болтовни.

Она ответила спокойно: — Мой милый, ты постоянно забываешь половину поручений, которые я тебе даю.

Он проворчал: — В конце концов, мне надоел твой министр! Какой-то болван...

Она спокойно возразила: — Он столько же мой министр, сколько и твой. Тебе он больше нужен, чем мне.

Он слегка обернулся к ней и насмешливо:

— Извини, он за мной не ухаживает.

Она заявила: — И за мной также; но чрез его посредство мы создаем себе положение...

Он замолчал, потом чрез несколько минут: — Если бы мне предстоял выбор между твоими поклонниками, я скорее предпочел бы этого старого кретина де-Водрэка. Что с ним случилось? я его не видал уже с неделю.

Она ответила равнодушно: — Он болен; написал мне, что подагра держит его в постели. Тебе бы следовало съездить узнать об его здоровье. Ты знаешь, как он тебя любит; это ему будет приятно.

Жорж ответил: — Да, конечно, я к нему заеду.

Он кончил одеваться и, надев шляпу, осмотрелся, — все ли в порядке. Кончив осмотр, подошел к постели, поцеловал жену в лоб: — До свиданья, моя дорогая, я не вернусь раньше семи часов.

Он вышел. Г. Ларош-Матье ожидал его, так как в этот день он завтракал в десять часов утра. Совет должен был собраться в двенадцать, перед открытием Парламента.

Усевшись за стол с личным секретарем министра, — так как г-жа Ларош-Матье не пожелала изменить час своего завтрака, — Дюруа заговорил о своей статье, наметил главные положения, заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках; потом спросил: — Находите ли вы нужным что-либо изменить, мой дорогой министр?

— Почти ничего, мой милый друг. Пожалуй, вы слишком определенно высказываетесь о Мароккском деле. Говорите об экспедиции, что она должна состояться, но дайте понять между строк, что этого не будет, и что вы сами меньше всех этому верите. Дайте читателям понять, что мы не будем мешаться в это предприятие.

— Отлично. Понимаю и постараюсь дать это понять

другим. Между прочим, жена просила меня узнать, послан ли генерал Бель-Онкль в Оран? Из того, что вы сейчас сказали, я заключил, что нет.

Государственный муж ответил: — Нет.

Потом заговорили об открывающейся сессии. Ларош-Матье принялся ораторствовать, упражняясь в красноречии, которое он изольет на своих коллег, несколько часов спустя. Жестикулировал правой рукой, потрясая в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, не глядя ни на кого, обращался к невидимому Собранию, щеголяя своим слащавым красноречием, и своей парикмахерской наружностью... Маленькие закрученные усы вздымались над его губой, точно два хвостика скорпиона, а его напомаженные волосы, с пробором посередине, спускались на виски двумя волнами, придавая ему сходство с провинциальным сердцеедом. Несмотря на свою молодость, он заметно полнел; брюшко подпирало ему жилет. Личный секретарь преспокойно ел, без сомнения, уже привыкший к этим потокам красноречия; но Дюруа, мучимый завистью к достигнутому им успеху, думал: «Замолчи, кретин! Что за идиоты эти политические мужи!»

Он сравнивал в уме себя с этим напыщенным болтуном и думал: «Чорт возьми, если бы у меня было налицо сто тысяч франков, чтобы баллотироваться в моем родном Руане и вершать судьбы моих тяжеловесных и славных соотечественников, каким бы я был полезным деятелем, рядом с этими недалекими пройдохами».

Г-н Ларош-Матье ораторствовал вплоть до самого кофе; потом заметив, что уже поздно, позвонил, чтобы ему подали экипаж, и протягивая руку журналисту:

— Вы меня хорошо поняли, Милый Друг?

— Отлично, мой дорогой министр, — положитесь на меня.

И Дюруа не спеша отправился в редакцию, чтобы писать статью, так как до четырех часов ему нечем было заполнить время. В четыре часа он должен был отправиться в Константинопольскую улицу, где встречался каждую пятницу и каждый понедельник с г-жею де-Марель.

Лишь только он вошел в редакцию, ему послали телеграмму от г-жи Вальтер:

«Мне необходимо с тобой сегодня поговорить. Дело очень, очень важное. Жди меня в два часа в Константинопольской улице. Я могу тебе оказать большую услугу. Верная тебе до гроба Виргиния».

Он выругался:—Чорт возьми! Вот прилипла.—И, придя в дурное настроение, тотчас ушел, так как был слишком раздражен, чтобы работать.

В продолжение шести недель он старался порвать с нею, не будучи в состоянии охладить ее безумной страсти.

После своего падения, она начала терзаться, и в продолжение трех свиданий подряд осыпала своего возлюбленного упреками и проклятиями. Утомленный этими сценами и пресытившись этой пожилой и склонной к драматизму женщиной, он стал уклоняться, надеясь, таким образом, покончить с этим приключением. Но тогда она отчаянно уцепилась за него, кинулась в эту страсть, как бросаются в реку с камнем на шее. И он снова позволил ей овладеть собою, по слабости, по неосмотрительности; и теперь она преследовала его своею обезумевшею страстью, надоедала ему своими нежностями.

Она хотела его видеть ежедневно, беспрестанно вызвала его телеграммами, назначала свидания на углах улиц, в магазинах, в общественных садах.

Постоянно повторяла ему, в одних и тех же выражениях, что она его обожает, боготворит, потом уходила, говоря, что «бесконечно счастлива его видеть».

Теперь она казалась ему другой, чем он ее себе представлял. Старалась обольстить его ребяческими нежностями, приемами любви, смешными в ее возрасте. До сих пор она оставалась строго честною, невинной сердцем, недоступной никакому чувству, незнакомой с чувственностью; но вдруг все это прорвалось у этой благоразумной женщины, сороковые годы которой походили на бледную осень после холодного лета, вроде поблекшей весны, с плохо распутившимися побегами; странный расцвет перезрелой девической любви, пылкой и наивной, выражавшейся в взрывах страсти, вскрикиваниях

шестнадцатилетней девочки, утомительных ласках и устарелых, запоздалых нежностях. Она писала ему по десяти раз на день до глупости сумасшедшие письма, странным, витиеватым, поэтическим слогом, пестревшим названиями птиц и животных...

Как только они оставались одни, она начинала его целовать, резвясь тяжеловесно и неуклюже, гримасничая толстыми губами и подпрыгивая, от чего сотрясалась ее полновесная грудь под тканью корсажа. Ему особенно было противно, когда она называла его: «Моя мышка», «Моя собачка», «Моя кошечка», «Моя драгоценность», «Мой голубок», «Мое сокровище», или когда она всякий раз перед тем, как отдаться, разыгрывала комедию девической стыдливости, с робкими ужимками, которые казались ей трогательными, и фортелями развращенной гимнастки...

Она спрашивала:—Чей этот ротик?—И когда он не сразу отвечал:—Мой!—она приставала до тех пор, пока он зеленел от раздражения.

Ему казалось, что она должна понимать, что в любви нужно соблюдать известные границы, что отдаваясь ему, она, зрелая мать семейства, светская женщина, должна была вести себя сдержанно и строго, и если уже плакать, то слезами Дидоны, а не Джульетты.

Она повторяла беспрестанно:—Как я люблю тебя, моя крошка! Скажи, ты меня также любишь, деточка?

Он уже не мог слышать этих слов «крошка», «деточка» без того, чтобы у него не являлось желания назвать ее «моя старушка».

Она говорила ему:—Как глупо я сделала, что уступила тебе... Но я об этом не жалею. Любить так хорошо!

Все это в ее устах раздражало Жоржа. Она шептала: «Любить так хорошо», точно театральная любовница.

Кроме того, она раздражала его своею неопытностью в любовных делах... В ней проснулась чувственность от поцелуев этого красивого малого, зажегшего в ней кровь, но она приступала к ласкам с таким неумением и серьезным старанием, что это доводило Дюруа до смеха, и ему приходило на ум старички, пробующие учиться грамоте.

И когда она душила его в своих объятиях, страстно

глядя на него глубоким и значительным взглядом женщин балзаковского типа, великолепных в своей последней любви,—когда она стискивала его безмолвно-трепещущими губами, прижимая к своему полному горячему телу, утомленному, но ненасытному, она трепыхалась, как девчонка, и сюсюкала, желая ему понравиться:—Я тебя так люблю, моя крошка. Так люблю. Люби меня также, свою маленькую женку!—Тогда у него являлось желание выругаться, схватить шляпу, и уйти, хлопнув дверью.

В первое время они часто встречались в Константинопольской улице, но Дюруа, опасавшийся встречи с г-жею де-Марель, находил теперь тысячи предлогов, чтобы избегать этих свиданий.

Он должен был являться к ней чуть не ежедневно, то завтракать, то обедать. Она жала ему руку под столом, срывала поцелуй за дверями. Но ему гораздо больше нравилось шутить с Сюзанной, забавлявшей его своими проказами. Под ее наружностью куколки скрывался живой и лукавый ум, непосредственный и находчивый, умевший во время выскочить, подобно ярмарочной марионетке. Она смеялась надо всем и над всеми, язвительно и находчиво. Жорж подзадоривал ее веселость, поощрял иронию, и они отлично ладили друг с другом.

Она беспрестанно обращалась к нему:—Послушайте, Милый Друг. Подите сюда, Милый Друг.—И он тотчас покидал мамашу, чтобы бежать к дочери, шептавшей ему на ухо какую-нибудь злую шутку, и они смеялись от всей души.

В тоже время, пресыщенный любовью матери, он начал чувствовать к ней непреодолимое отвращение; и не мог уже ее видеть, ни слышать, ни думать о ней без злости. Перестал ходить к ней, отвечать на ее письма и уступать ее мольбам.

Наконец, она поняла, что он ее больше не любит, и это ее жестоко уязвило. Но все же преследовала его, подсматривала за ним, поджидала его в экипаже со спущенными шторами у дверей редакции, на улицах, где она надеялась его встретить.

Ему хотелось сделать ей какую-нибудь неприятность,

оскорбить ее, ударить, сказать ей откровенно:—Брысь, с меня довольно,—вы мне надоели.—Но он тянул эту канитель, главным образом из-за газеты, и старался при помощи холодности, сухости, жестких слов, дать ей понять, что всему конец.

Она в особенности упорствовала в стараниях заманить его в Константинопольскую улицу, и он постоянно дрожал при мысли, что обе женщины встретятся когда-нибудь носом к носу у входа.

Наоборот, привязанность его к г-же де-Марель в течение лета возрасла; он называл ее «мальчишкой» и положительно она ему нравилась. У них было много общего в природе; у обоих в крови была склонность к авантюризму, свойственная великосветским прохвостам и цыганам, кочующим на больших дорогах.

Лето они провели очаровательно, точно кутящие студенты, едzące позавтракать или пообедать в Буживаль, в Аржантейль, в Пуасси; проводили целые часы в лодке, рвали и собирали цветы. Она обожала Сенскую жареную рыбу, разные фрикассе и матлоты, беседки загородных кабачков, окрики лодочников... Он любил уезжать с ней, в хорошую погоду, на империале пригородного поезда, и, болтая разный вздор, объезжать окрестности Парижа, где разбросаны безвкусные дачи богатей. Но когда ему нужно было возвращаться и идти обедать к г-же Вальтер, он проклинал свою надоевшую стареющуюся любовницу, вспоминая молодую, с которой он только что расстался и в объятиях которой он оставил весь свой пыл.

Он уже думал, что, наконец, развязался с патронессой, которой он ясно, почти грубо заявил о своем желании порвать, когда получил в редакцию телеграмму, призывавшую его к двум часам в Константинопольскую улицу. Он перечел ее на ходу: «Мне необходимо с тобой сегодня переговорить. Дело очень, очень важное. Жди меня в два часа в Константинопольской улице. Я могу тебе оказать большую услугу. Верная тебе до гроба—Виргиния».

Подумал: «Что ей еще от меня нужно, этой старой сове? Держу пари, что никакого дела нет. Она будет мне повторять, что обожает меня. Впрочем, посмотрю. Она говорит о каком-то важном деле и большой услуге.

Может быть, это и правда. А Клотильда, которая должна прийти в четыре часа? Нужно мне отправить первую никак не позже трех часов. Чорт поberi! Только бы они не встретились. Наказание с этими женщинами!»

И он подумал, что, в сущности, только его жена никогда его не мучила. Она жила своею жизнью, и, казалось, очень любила его в часы, предназначенные для любви, так как не допускала нарушения неизменного хода их обычных занятий.

Он медленно направлялся к своей квартире, мысленно негодуя на патронессу:—Ну! Я же и встречу ее любезно, если ей нечего мне сказать. Язык Камброна покажется академическим после моего... Объявлю ей, что никогда больше нога моя не будет у ней.

И он вошел, чтобы подождать г-жу Вальтер.

Она вошла почти вслед за ним, и, увидав его, воскликнула:

— Ах, ты получил мою телеграмму! Какое счастье!

Он сделал злое лицо:

— Чорт возьми, мне ее подали в редакции, в момент, когда я направлялся в Палату. Что тебе еще от меня нужно?

Она приподняла вуалетку, чтобы поцеловать его, и приближалась с робким и покорным видом часто наказываемой собаки.

— Как ты со мной жесток... Как грубо говоришь со мной? Что я тебе сделала? Ты не можешь себе представить, как я страдаю из-за тебя.

Он проворчал: — Ты опять начинаешь?..

Она стояла возле него, дожидаясь улыбки, жеста, который бы бросил ее в его объятия.

Прошптала: — Не нужно было сходиться со мною, чтобы так издеваться; нужно было оставить меня счастливой и спокойной, какой я была. Помнишь, что ты мне говорил в церкви, и как ты заставил меня войти насильно в этот дом? А теперь, как ты со мной говоришь? Как ты меня встречаешь! Господи, Боже мой! как ты меня терзаешь!

Он толкнул ногою и яростно:

— Ну! Перестань! С меня довольно. Я не могу ви-

деть тебя ни одной минуты без того, чтобы не начиналась эта волюнка. Можно подумать, что я тебя соблазнил в двенадцать лет, и что ты была невинна, как ангел. Нет, моя милая, восстановим факты. Здесь не было развращения малолетней... Ты мне отдалась в полном уме и здравой памяти. И тебе за это очень признателен, бесконечно признателен; но не могу же я быть привязанным к твоей юбке до самой смерти. У тебя есть муж, у меня есть жена, мы не свободны, ни я, ни ты. Мы позволили себе каприз, благо он прошел незамеченным, но теперь—баста.

Она сказала:—О! какой ты скот! Какой нахал, бесстыжий! Нет, я не была молоденькой девочкой. Но до тебя я никого не любила, никогда не изменяла...

Он прервал ее: — Ты мне это уже повторяла двадцать раз. Я это знаю. Но у тебя было двое детей, значит, не я лишил тебя невинности...

Она возмутилась: — О! Жорж, это подло!

И, закрыв обеими руками грудь, она начала всхлипывать, готовясь разрыдаться.

Когда он увидел, что начинаются слезы, он схватил шляпу с камина: — А, ты собираешься плакать, — в таком случае, до свидания. Ради этого зрелища ты меня заставила сюда прийти?

Она сделала шаг, чтобы преградить ему дорогу; вынув из кармана носовой платок, быстрым движением вытерла глаза, сделала над собой усилие и более твердым голосом, прерываемым горестными всхлипываниями:

— Нет... я пришла для того, чтобы тебе сообщить новость... политическую новость... которая даст тебе возможность заработать пятьдесят тысяч франков... или даже больше... если ты захочешь.

Он спросил, внезапно смягчившись:—Каким образом? Что ты хочешь сказать?

— Я случайно подслушала несколько слов из разговора моего мужа с Ларошем. Впрочем, они не особенно скрывали это от меня. Но Вальтер советовал министру не посвящать тебя в тайну, так как ты можешь проговориться.

Дюруа положил шляпу на стул. Он слушал с большим вниманием.

— Ну, так в чем же дело?

— Они собираются захватить Марокко!

— Рассказывай!.. Я завтракал с Ларошем, который мне почти продиктовал проекты кабинета.

— Нет, мой дорогой, они тебя провели, опасаясь как бы ты не разоблачил их комбинаций.

— Садись;—сказал Жорж.

И сел сам на кресло. Она придвинула низенькую скамеечку и уселась на нее у ног молодого человека. Начала вкрадчивым голосом:—Так как я всегда думаю о тебе, то я прислушиваюсь теперь ко всему, о чем вокруг меня шепчутся.

И она стала тихо объяснять ему, как она догадалась, что с некоторого времени готовится какое-то дело помимо его, что им пользуются, опасаясь его соперничества.

Сказала:—Ты знаешь, когда любишь, делаешься хитрой.

Наконец, вчера она все поняла. Дело шло о большом, грандиозном предприятии, подготовлявшемся втихомолку. Теперь она улыбалась, радуясь своей хитрости, говорила с увлечением, как жена финансиста, привыкшая к биржевым спекуляциям, эволюциям ценностей, повышению и понижению курса, разоряющим в какие нибудь два часа тысячи мелких обывателей, вложивших свои сбережения в предприятия, гарантированные известными именами уважаемых политических и финансовых деятелей.

Она повторяла:—О! Они хватили широко, очень широко. Руководит всем Вальтер, а уж он понимает дело. И, действительно, дело стоящее.

Его начинали выводить из себя эти предисловия.

— Ну же, говори скорей.

— Ну, слушай. Экспедиция в Танжер была ими решена в тот день, когда Ларош получил портфель министра. Затем постепенно они скупили все мароккские акции, которые упали до шестидесяти четырех или шестидесяти пяти франков. Они совершили эту покупку очень искусно при посредстве ловких агентов, не возбудивших ни малейшего недоверия. Им даже удалось провести Ротшильдов, удивлявшихся такому спросу на мароккские акции. В от-

вет на это, им называли скупщиков с плохой репутацией стоявших в стороне. Это успокоило крупных банкиров. Теперь туда пошлют войска, и как только наши будут там, французское правительство гарантирует долг. Наши друзья выиграют пятьдесят, шестьдесят миллионов. Понимаешь в чем дело? Понимаешь также, почему они боятся решительно всех, боятся малейшей огласки?

Она положила голову на колени к молодому человеку, прижалась к нему, чувствуя, что теперь она его заинтересовала, готовая сделать все, пойти на все, за одну ласку, за одну улыбку.

Он спросил:—Ты в этом уверена?

Она ответила с уверенностью:—Я думаю!

Он заявил:—Действительно, это широко хватено. Что касается этого негодяя Лароша, пусть он мне попадется! О! Подлец! Пусть он бережется! Пусть он бережется! Я ему пересчитаю его министерские ребра!

Затем он погрузился в размышления и прошептал:—Нужно, однако, этим воспользоваться.

— Ты можешь еще купить акции, теперь они стоят только семьдесят два франка.

Он возразил:—Да, но у меня нет свободных денег.

Она подняла на него умоляющие глаза.—Я об этом подумала, мой котик, и если бы ты был милый, если бы ты меня немного любил, ты позволил бы мне тебе одолжить...

Он ответил резко, почти грубо:—Что касается этого, не может быть и речи.

Она прошептала с мольбой:—Слушай, можно устроить это так, что тебе не придется занимать деньги. Я хотела купить себе этих акций на десять тысяч франков, чтобы запастись маленьким капиталом. Ну, так вот,—я куплю их на двадцать тысяч! Тебе будет принадлежать половина. Ты понимаешь, что я не стану отдавать их Вальтеру. Тебе же не придется ничего платить. Если дело выгорит, ты получишь семьдесят тысяч франков. Если не выгорит, ты будешь мне должен десять тысяч франков, которые заплатишь, когда захочешь.

Он повторил еще раз:—Нет, мне не нравится подобная комбинация.

Тогда она стала его уговаривать, доказывать ему, что он, в сущности, занимает десять тысяч на слово, и таким образом, ничем не рискует, что она не даст ему ничего вперед, так как платить будет банк Вальтера...

Кроме того, она указала ему, что благодаря его политической кампании в газете, осуществление этого проекта сделалось возможным, и что он поступил бы непростительно глупо, не воспользовавшись этим.

Он все еще колебался. Она прибавила:—Ну, представь себе, будто Вальтер выдал тебе авансом десять тысяч, а ведь ты оказал ему услуг на гораздо большую сумму.

— Ну, хорошо! Пусть будет так,—сказал он,—я буду твоим пайщиком. Если деньги пропадут, я тебе верну десять тысяч франков.

Она была так рада, что вскочила, схватила обеими руками его голову и принялась его страстно целовать.

Сначала он не сопротивлялся, но видя, что она становится все смелее, сжимая его в объятиях и осыпая ласками, и вспомнив, что сейчас придет другая, и если он уступит, то истратит весь пыл, предназначенный для молодой, на старую, тихонько оттолкнул ее:—Ну же, будь благодарна.

Она посмотрела на него с отчаянием:—О! Жорж! Ты мне уже больше не позволяешь себя целовать.

Он ответил:—Нет, не сегодня, у меня болит голова, и это мне неприятно.

Тогда она послушно села снова у его ног. И спросила:—Придешь завтра к нам обедать? Какое ты мне этим доставишь удовольствие!

Он колебался, но не решил отказаться.

— Ну да, конечно.

— Благодарю тебя, милый.

Она медленно терлась щекой о грудь молодого человека и ее длинный черный волос зацепился за пуговку жилета. Она заметила это, и ей пришла в голову одна из тех сумасбродных фантазий, заполняющих иногда вдруг разум женщины. Она принялась тихонько обматывать этот волос вокруг пуговицы. Потом обмотала другой

вокруг следующей, третий, и так далее вокруг каждой пуговицы.

Он встанет и вырвет их одним движением. Он причинит ей боль, какое счастье! И он, сам не зная того, унесет с собою частицу ее, маленькую прядку волос, попросить которую ему никогда не придет в голову. Это будет таинственная нить, связывающая их,—невидимые, тайные узы! Талисман, который она оставит ему... И, помимо своей воли, он будет думать о ней, вспоминать, мечтать и, может, завтра, вследствие этого, будет с ней нежнее...

Вдруг он сказал:—Мне придется тебя оставить, потому что меня ждут в Палате к концу заседания; я не могу сегодня пропустить.

Она вздохнула:—О! уже.—Потом покорно:—Иди, мой милый, и завтра приходи обедать.

И быстро поднялась, почувствовала острую мгновенную боль, точно ей вонзили в тело иглы. Сердце ее билось; но она была счастлива, что пострадала ради него.

— До свиданья,—сказала она.

Он обнял ее с снисходительной улыбкой и холодно поцеловал в глаза.

Но она, обезумевшая уже от одного прикосновения, прошептала:—Так скоро?—И ее умоляющий взгляд указывал на комнату, дверь в которую была открыта...

Он отстранил ее и сказал, торопясь:—Я должен идти, не то опоздаю.—Тогда она протянула ему губы, которых он едва коснулся: подал ей зонтик, который она оставила, говоря:—Идем, идем скорее,—уже больше трех часов.

Она вышла, повторяя:—Завтра в семь часов.

Он ответил:—Завтра в семь часов.

Они расстались. Она повернула направо, он—налево. Дюруа дошел до бульвара. Потом спустился на бульвар Малерб и медленно пошел вниз... Проходя мимо кондитерской, он увидел глазированные каштаны в хрустальной вазе и подумал: «Возьму фунт для Клотильды». И купил пакет этих засахаренных фруктов, которые она любила до безумия. В четыре часа он был уже дома, и ожидал свою молоденькую возлюбленную.

Она немножко опоздала, так как муж ее приехал на неделю. Спросила:—Можешь придти к нам завтра обедать? Он будет в восторге повидать тебя.

— Нет, я обедаю у патрона. У нас теперь масса всяких дел, политических и финансовых.

Она сняла шляпу. Расстегивала лиф, который ее стеснял.

Он указал ей пакет на камине:—Я купил тебе глазированных каштанов.—Она захлопала в ладоши.—Какое счастье! Какой ты душа!—Взяла, попробовала и объявила:—Они восхитительны, я чувствую, что не оставлю ни одного.—Потом прибавила, глядя на Жоржа загоревшимся взглядом:

— Ты, значить, поощряешь даже мои недостатки?

Она медленно ела, беспрестанно заглядывая в пакет, как бы для того, чтобы удостовериться, что там еще есть каштаны.

Сказала:—Ну, садись в кресло, а я устроюсь у твоих ног, буду грызть конфеты, и мне будет очень хорошо.

Он улыбнулся, сел и усадил ее у своих ног, точь-в-точь также, как только что сидела г-жа Вальтер.

Она поднимала голову, чтобы разговаривать с ним, и болтала с набитым ртом:

— Ты знаешь, мой милый, я видела тебя во сне; видела, что мы вдвоем едем куда-то далеко, на верблюде. У него два горба, и мы сидим верхом на них и проезжаем через пустыню. У нас с собою в бумаге сандвичи и бутылка вина, и мы закусываем, сидя на горбах. Но мне это надоело, так как мы ничего другого не могли делать; мы были слишком далеко друг от друга и мне захотелось сойти.

Он ответил:—Мне тоже хочется «сойти».

Он смеялся, забавляясь этой чепухой, заставлял ее говорить глупости, болтать, нести весь этот вздор, который занимает влюбленных. И вся эта чепуха, которую он находил милой в устах г-жи де-Марель, раздражала бы его в устах г-жи Вальтер.

Клотильда также называла его: «Мой милый, мой мальчик, мой котик». Эти названия он находил милыми. Но как только их произносила другая, это раздражало и вы-

водило его из себя. Ибо слова любви всегда принимают отпечаток уст, которыми произносятся.

Но забавляясь всеми этими проделками, он не переставал думать о семидесяти тысячах франков, которые ему предстояло выиграть, и вдруг, прервал болтовню своей подруги, слегка дотронувшись пальцами до ее головы:— Слушай, моя кошечка. Я дам тебе поручение к твоему мужу. Скажи ему от меня, чтобы он завтра же купил на десять тысяч франков мароккских акций, которые теперь по семьдесят два франка; я обещаю ему, что меньше, чем через три месяца, он выиграет на этом от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков. Но посоветуй ему об этом никому не говорить. Передай ему также от меня, что экспедиция в Танжер решена, и что французское правительство гарантирует мароккский заем. Только смотри, никому не проболтайся. Я доверяю тебе государственную тайну.

Она серьезно слушала. Потом прошептала:—Благодарю тебя. Я передам это моему мужу сегодня же вечером; ты можешь положиться на него; он не проболтается. Это человек надежный, его опасаться нечего.

Она покончила с каштанами, скомкала пакет и бросила его в корзину. Потом сказала:—Идем в постель. И, не вставая, начала растегивать жилет Жоржа.

Вдруг она остановилась и, вытащив длинный волос, запутавшийся за пуговицу, рассмеялась:—Вот так штука... Ты притащил волос Мадлэны. Вот верный муж! Потом с серьезным лицом долго исследовала на руке найденный волос и прошептала:—Это волос не Мадлэны,—это волос брюнетки.

Он улыбнулся:—Это, вероятно, волос горничной.

Но она продолжала рассматривать жилет с внимательностью сыщика и нашла другой волос, обмотанный вокруг пуговицы; затем третий; и, побледнев, слегка дрожа, воскликнула:—О! Ты валялся с женщиной, которая обмотала тебе волосы вокруг пуговиц.

Он удивился, забормотал:—Да, нет же, ты с ума сошла.—Потом вдруг он вспомнил, понял, сначала смутился, потом начал смеясь отрицать, в глубине души польщенный тем, что она его ревнует...

Она продолжала искать и все находила волосы, которые разматывала быстрым движением и бросала на ковер. Инстинктом женщины она угадала, в чем дело, и бормотала, взбешенная, раздраженная, готовая заплакать:

— Она тебя любит! И хотела, чтобы ты унес частичку ее... О! какой ты неверный.

Вдруг она вскрикнула, с дикой радостью:—О! О! вот седой волос! А! ты теперь возишься со старухами! Разве они тебе платят?.. Скажи, разве они тебе платят?.. А! Так ты взялся за старух! В таком случае я тебе больше не нужна. Оставайся с тою...

Она вскочила, схватила корсаж, брошенный на стул и начала быстро одеваться.

Он хотел ее удержать, бормоча:—Но, нет же Кло, как ты глупа, я не знаю откуда это... Послушай... Оставайся. Ну же... Оставайся...

Она повторяла:—Возись со своей старухой, оставайся с ней, закажи себе кольцо из ее волос, из ее седых волос... У тебя их достаточно.

Она быстро, порывисто оделась и надела шляпу; а когда он хотел ее удержать, она залепила ему изо всей силы пощечину. Пока он стоял, ошеломленный, она открыла дверь и исчезла.

Как только он остался один, его охватила бешеная злоба к этой старой кобыле—Вальтерше. «Ну! Теперь уж я ее пошлю к чорту. Уж будет помнить».

Он обмыл водой свою раскрасневшую щеку. Потом тоже вышел, обдумывая, как бы ему отомстить. На этот раз он не простит. Ну, нет!

Он спустился на бульвар и, прогуливаясь, остановился перед магазином ювелира посмотреть на хронометр, который ему давно хотелось купить и который стоил тысячу восьмьсот франков.

Вдруг он вспомнил и подумал с радостью: «Если я выиграю семьдесят тысяч, я могу его купить. И стал мечтать обо всех вещах, которые он приобретет на эти семьдесят тысяч. Прежде всего, он сделается депутатом, затем купит хронометр, потом будет играть на бирже, потом... потом еще...

Ему не хотелось идти в редакцию; он хотел поговорить

с Мадленю до свидания с Вальтером и составления статьи и направился домой. Дойдя до улицы Дрюо, он остановился; вспомнил, что забыл узнать, как здоровье графа де-Водрэка, который жил в шоссе д'Антен. Вернулся, продолжая фланировать, думая о тысяче вещей, приятных, сладостных, о скором богатстве, а также об этом негодяе Лароше и старой карге Вальтерше. Впрочем, ссора с Клотильдой не беспокоила его; он знал, что она скоро забывает...

Спросил у привратника дома, в котором жил граф де-Водрэк.

— Как здоровье графа де-Водрэка? Я слышал, что последние дни он чувствует себя плохо...

Человек ответил:—Графу очень плохо, сударь. Предполагают, что он не переживет и ночи. Подагра подступила к сердцу...

Дрюа был так поражен, что не знал, что ему делать. Водрэк умирает! В голове его пронесся целый рой смутных и тревожных мыслей, в которых он боялся сам себе признаться.

Пробормотал:—Благодарю, я еще зайду...—не отдавая себе отчета в том, что он говорит.

Потом вскочил в фиакр и приказал везти себя домой. Жена его была дома. Он вбежал, запыхавшись в ее комнату, и выпалил:

— Ты знаешь,—Водрэк умирает?

Она сидела и читала письмо. Подняла на него глаза и три раза подряд спросила:—Что? Что ты говоришь... ты говоришь... ты говоришь?

— Я тебе говорю, что Водрэк умирает от припадка подагры, подступившей к сердцу.—Потом прибавил:—Что ты думаешь теперь делать?

Она поднялась бледная, с подергивающимися щеками, потом вдруг зарыдала, закрыв лицо руками. И стояла, потрясаемая рыданиями, подавленная горем.

Вдруг она овладела собой, отерла глаза:—Я поеду туда... Не беспокойся обо мне. Я не знаю, когда вернусь. Не жди меня...

Он отвечал:—Хорошо, иди.

Они пожали друг другу руки, и она вышла так стремительно, что позабыла захватить перчатки.

Жорж пообедал один и принялся писать статью. Написал ее согласно указаниям министра, давая понять читателям, что экспедиция в Марокко не состоится. Затем отнес статью в редакцию, поболтал несколько минут с патроном и направился домой, покуривая, с облегченным сердцем, сам не зная почему...

Жена его еще не возвращалась. Он лег и заснул.

Мадлена вернулась около полуночи. Жорж, разбуженный ее приходом, сел на постель. Спросил:—Ну, что?

Он никогда не видел ее такой бледной и взволнованной. Прошптала:

— Он умер.

— А! и... ничего тебе не сказал?

— Ничего. Он был уже без сознания, когда я пришла.

Жорж задумался. На губах его вертелись вопросы, которые он не осмеливался предложить.

— Ложись,—сказал он. Она быстро разделась и улеглась рядом с ним. Он спросил:

— Был ли кто из родных при его кончине?

— Только один племянник.

— А! Он часто видался с этим племянником?

— Никогда. Они не встречались в течение десяти лет.

— Были ли у него другие родные?

— Нет... не думаю.

— Значит... этот племянник является наследником?

— Не знаю.

— Водрэк был очень богат?

— Да, очень богат.

— Не знаешь, приблизительно, какое у него состояние?

— Наверное не знаю. Один или два миллиона...

Он замолчал. Она задула свечу. И они лежали рядом в тишине ночи, молча, погружившись каждый в свои мысли.

Ему не хотелось спать. Ничтожными казались теперь ему семьдесят тысяч франков, обещанные г-жею Вальтер. Вдруг ему показалось, что Мадлена плачет. Он окликнул ее, чтобы удостовериться в этом.

— Ты спишь?

— Нет.

Голос ее дрожал, в нем слышались слезы. Он продолжал:

— Да, я забыл тебе сказать, что твой министр нас ловко надул.

— Как так?

И он рассказал ей со всеми подробностями комбинацию, подготовляемую Ларошем и Вальтером.

Когда он кончил, она спросила:—Как ты это узнал?

Он отвечал:—Я тебе не могу этого сказать. У тебя есть свои источники для справок, которых я не касаюсь. У меня есть свои, которые я тоже желаю сохранять в тайне. Во всяком случае, я ручаюсь за точность моих сведений.

Тогда она прошптала:—Да, это возможно... Я тоже подозреваю, что они что-то задумывают помимо нас...

Жоржу не хотелось спать; он пододвинулся к жене и нежно поцеловал ее в ухо. Она резко оттолкнула его:—Прошу тебя, оставь меня в покое... Я совершенно не расположена дурачиться.

Он покорно повернулся к стене, закрыл глаза и вскоре заснул.

VI.

Церковь была обтянута черным сукном; на дверях красовалась корона, в знак того, что хоронили дворянина. Церемония кончилась; присутствующие медленно расходились, проходя мимо гроба. Племянник графа де-Водрэка благодарил всех и любезно раскланивался.

Жорж Дюруа и жена его вышли из церкви и направились домой, молчаливые, озабоченные.

Наконец, Жорж сказал, как бы самому себе:

— Однако это странно!

— Что, мой друг?—спросила Мадлена.

— Что Водрэк нам ничего не оставил.

Она покраснела; казалось, легкая розовая вуаль покрывала ее бледную кожу; краска залила ей лицо:—По-

чему он должен был нам что-нибудь оставить? У него не было на это никаких оснований.

Через некоторое время она прибавила:

— А может и есть завещание у какого-нибудь нотариуса. Но мы еще не знаем об этом.

Он сказал:

— Да, это возможно, он был наш лучший друг. Он обедал у нас два раза в неделю, приходил во всякое время. У нас он чувствовал себя, как дома. Он любил тебя, как отец; у него не было семьи, детей, братьев, сестер; один только этот племянник, да и с ним он не был близок. Должно быть есть завещание. Я не хотел бы много, но хоть какой-нибудь пустяк, в знак того, что он подумал о нас, любил нас, ценил нашу привязанность.

Она сказала задумчиво и равнодушно:

— Возможно, конечно, что есть завещание.

Когда они вернулись домой, лакей подал Мадлене письмо. Она прочла его и передала мужу.

«Контора нотариуса Ламанера. 17, улица де-Вож.

Милостивая Государыня! Имею честь просить вас пожаловать ко мне в контору с двух до четырех во вторник, среду или четверг, по делу, касающемуся вас. Примите и пр. Ламанер».

Жорж покраснел:— Это то и есть. Однако, странно, что он зовет тебя, а не меня, законного главу семейства.

Она не ответила, потом, подумав, сказала:— Хочешь, пойдем туда сегодня.

— Да, пойдем.

Они позавтракали и отправились.

Когда они вошли в контору Ламанера, главный писец встал с преувеличенной поспешностью и проводил их к патрону.

Нотариус был маленький, толстый человек, совершенно круглый. Голова его напоминала шар, лежащий на другом шаре, к которому были прикреплены короткие, толстые ножки, тоже похожие на шары.

Он поклонился, попросил их сесть и сказал Мадлене:— Милостивая государыня, я вас пригласил, чтобы передать вам завещание графа Водрэка, касающееся вас

Жорж не мог удержаться и пробормотал:—Я догадывался об этом.

Нотариус добавил:—Я вам сообщу сейчас его содержание. Это недолго.

Он взял из папки, лежащей перед ним завещание и прочел его:

— «Я, нижеподписавшийся, Поль-Эмиль-Киприен-Гоптран, граф де-Водрэк, в здравом уме и твердой памяти, сим выражаю последнюю волю свою.

На случай смерти своей составляю сие духовное завещание, которое должно храниться у нотариуса Ламанера.

Не имея прямых наследников, я оставляю все свое имущество, состоящее из ценных бумаг на шестьсот тысяч франков и недвижимости на пятьсот тысяч франков, Кларе-Мадлене Дюруа, без всяких с ее сторон обязательств.

Прошу ее принять этот дар от умершего друга, в знак преданности и глубокой привязанности».

Нотариус сказал:—Вот и все. Это завещание составлено в августе месяце и заменило собой другое, такое же, составленное два года тому назад, на имя Клары-Мадлены Форестье. У меня сохранено первое завещание; в случае протестов со стороны родственников, оно может служить доказательством того, что воля графа была неизменна.

Мадлена сидела побледневшая, не поднимая глаз. Жорж нервно крутил усы. Нотариус, после нескольких минут молчания, сказал:—Само собою разумеется, что жена ваша не может принять этого дара без вашего согласия.

Дюруа встал и сухо ответил:—Я должен это обдумать.

Нотариус улыбнулся и любезно сказал ему:—Я понимаю вашу щепетильность и ваши колебания. Я должен сообщить вам, что племянник графа де-Водрэка ознакомился сегодня утром с последней волей своего дяди и готов ей подчиниться, если ему будут предоставлены сто тысяч франков. Завещание это неоспоримо, но процесс наделал бы много шума, которого вы, может быть, захотите избежать. В обществе так легко возникают неблаго-

желательные толки. Во всяком случае, попрошу вас дать мне ответ по всем пунктам до субботы.

— Хорошо,—ответил Жорж, поклонился, пропустил жену, которая за все время не сказала ни слова, и вышел такой сердитый и суровый, что нотариус перестал улыбаться.

Когда они вернулись домой, Дюруа захлопнул дверь, бросил шляпу на постель и крикнул:

— Ты была любовницей Водрэка?

Мадлена, снимавшая вуаль, вздрогнула и повернулась к нему:—Я? О!

— Да, ты. Никто не оставляет всего своего состояния женщине, без того...

Руки ее дрожали, и она не могла найти булавок, которыми была прикреплена ее вуаль.

Понемногу она пришла в себя и взволнованным голосом сказала:

— Но опомнись... что с тобой... ты сходишь с ума... ты... ты... Разве ты сам... только что... ты не... не надеялся... что он тебе что-нибудь оставит.

Жорж стоял около нее и следил за малейшими проявлениями ее чувств и волнения, как следовательно, который старается уловить промахи подсудимого. Он сказал, делая ударение на каждом слове:

— Да... он мог оставить что-нибудь мне... мне, моему мужу... мне, моему другу... но, не тебе... моему другу... тебе, моей жене. В этом громадная, существенная разница, с точки зрения обычая... и общественного мнения.

Мадлена тоже пристально смотрела на него. Своим пытливым, странным взглядом она старалась заглянуть в самую глубину его глаз. Казалось, она хотела прочесть в них что-то, хотела проникнуть в те неведомые тайники души, которые открываются на мгновение в минуты полной беспомощности и растерянности, когда человек теряет способность владеть собой. Как в полуоткрытые двери смотрела она в глубину его души. Медленно и раздельно она сказала:

— Однако, мне кажется, что если... что нашли бы также странным, если бы он завещал все свое состояние... тебе.

— Почему же?—спросил он резко.

— Потому что...—Она замаялась, потом сказала:—Потому что ты мой муж... что ты его знаешь так мало... что я его старый друг... что в своем первом завещании, составленном еще при жизни Форестье, он оставлял все мне.

Жорж нервно ходил взад и вперед. Он объявил:

— Ты не можешь принять этого наследства.

Она ответила спокойно:

— Хорошо; тогда не стоит ждать до субботы, можно сейчас же предупредить Ламанера.

Он подошел к ней вплотную. Они стояли молча и упорно смотрели друг другу в глаза, стараясь проникнуть в самые сокровенные тайники души, добраться до самой сути оголенной мысли. Они страстно, без слов, вопрошали друг друга, надеясь в этом безмолвном созерцании прочесть сокровенные мысли: это была скрытая борьба двух существ, которые жили вместе, но не знали друг друга, вечно подозревали, следили, подстерегали, не умея постичь скрытые помыслы друг друга.

Он нагнулся к ней и прошептал ей прямо в лицо:

— Скажи, признайся, ты была любовницей де-Водрэка?

Она пожала плечами:—Что за глупости... Водрэк был очень привязан ко мне, очень, но не более... вот и все.

Он топнул ногой:—Ты лжешь. Это не так.

— А между тем это так,—ответила она спокойно.

Он стал бегать по комнате, потом остановился и сказал:

— Так объясни мне, почему он оставил все свое состояние тебе...

Она ответила безучастно и небрежно:—Это очень просто. Как ты только что говорил, у него не было друзей, кроме нас, или, вернее, меня; он, ведь, знал меня еще ребенком. Мать моя была компаньонкой у его родственников. Он постоянно бывал у нас; у него не было прямых наследников, он и подумал обо мне. Возможно, что он любил меня немного. Но какая женщина не была так любима? Быть может, эта тайная, скрытая любовь подсказала ему мое имя, когда он взялся за перо, чтобы выразить свою последнюю волю. Он каждый понедельник приносил

мне цветы. Ты же не удивлялся этому? Тебе, ведь, он не приносил цветов? Не правда ли? Теперь он завещает мне свое состояние по той же причине, и еще потому, что ему некому оставить его. Наоборот, было бы странно, если бы он завещал все тебе. С какой стати? Что ты ему?

Она говорила так естественно и непринужденно, что Жорж смутился.

— Однако, мы не можем принять этого наследства при данных условиях. Это произвело бы неприятное впечатление. Каждый стал бы подозревать; все сплетничали бы и смеялись надо мной. Мои товарищи и так завидуют мне и нападают на меня. Я должен, больше чем кто-либо, дорожить своею честью и репутацией. Я не могу допустить, чтобы жена моя приняла такой дар от человека, которого общественная молва навязала бы ей в любовники. Форестье, быть может, согласился бы на это, но я — нет, ни за что.

Она ответила спокойно: — Хорошо, мой друг, откажемся, одним миллионом будет у нас меньше. Вот и все.

Он ходил по комнате и говорил, не обращаясь к жене, как бы размышляя вслух.

— Ну, да! одним миллионом меньше... Бог с ним... И неужели он не понимал, в какое смешное и ложное положение он меня ставил... Конечно, все зависит от того, какой оттенок придать делу. Стоило только завещать половину мне, и все было бы хорошо.

Он сел, положил ногу на ногу и стал крутить усы, как он это делал в минуты волнения, досады и затруднений.

Мадлена взяла работу и стала вышивать.

— Я буду молчать, — спокойно сказала она. — Предоставляю тебе решить.

Он долго не отвечал, потом сказал нерешительно: — Общество никогда не поймет, почему Водрэк сделал тебя своей единственной наследницей и как я допустил это. Принять это наследство таким образом, значит сознаться... сознаться, с твоей стороны, в преступной связи, с моей — в позорной снисходительности... Понимаешь ли ты, как истолковали бы наше согласие? Надо придумать какую-нибудь уловку, найти выход из этого положения. Следо-

вало бы распустить, например, слух, что он разделил свое состояние между нами, завещая половину мне, половину тебе.

Она спросила: — Я не понимаю, как можно это сделать, раз существует завещание и при составлении его были соблюдены все формальности.

Он ответил: — О, это очень просто! Ты можешь передать мне половину наследства по дарственной записи. У нас нет детей: это вполне возможно. Таким образом, мы положили бы конец всем сплетням.

Она возразила несколько нетерпеливо:

— Я не понимаю, как этим мы положили бы конец сплетням, раз существует документ, подписанный Водрэком.

Он рассердился: — Кто же заставляет нас показывать всем завещание и вывешивать его на стенах? Ты не понимаешь? Мы скажем, что Водрэк оставил нам обоим свое состояние... Вот и все... Ты не можешь, ведь, принять это наследства, без моего разрешения. Я даю тебе его только при условии, если ты согласишься на раздел. Так, по крайней мере, я не стану посмешищем для всех.

— Как хочешь. Я согласна.

Тогда он встал и начал ходить по комнате. Казалось он колеблется и избегает пронизывающего взгляда жены. Он сказал: — Нет... решительно нет... пожалуй, лучше совсем отказаться... это будет достойнее... честнее... почетнее... При таком повороте дела не будет места разным предположениям. Самые подозрительные люди не смогут ни к чему придраться.

Он подошел к Мадлене: — Ну, дорогая моя, хочешь я пойду сейчас один к Ламанеру, посоветуюсь с ним и объясню ему, в чем дело. Я поделюсь с ним своими сомнениями и скажу, что мы решились на этот раздел из приличия, чтобы избежать всяких толков. Раз я принимаю половину этого наследства, то никто уже не будет сплетничать. Это значит объявить во всеуслышание: «Моя жена принимает это наследство, потому что принимаю я, ее муж, законный судья того, что она может делать, не компрометируя себя». Иначе это был бы скандал.

Мадлена сказала спокойно: — Делай, как хочешь.

Потом он стал говорить поспешно, захлебываясь.

— Да, этот раздел делает все ясным, как день. Мы получили наследство от друга, который не хотел делать различия между нами, не хотел, казалось сказать: «Я отдаю предпочтение одному перед другим после смерти, как я это делал при жизни». Он любил больше жену, конечно, но оставил свое состояние и тому, и другому, он хотел подчеркнуть, что это предпочтение было чисто платоническим. И будь уверена, если бы он подумал об этом, он так бы и сделал. Это не пришло ему в голову, он не предвидел последствий. Как ты только что совершенно верно говорила, он каждую неделю приносил тебе цветы, он захотел оставить свой последний дар, не давая себе отчета...

Она перебила его с некоторым раздражением: — Уже решено. Я понимаю. Не нужны все эти объяснения. Иди сейчас к нотариусу.

Покраснев, он пробормотал: — Ты права. Я иду.

Он взял шляпу, потом, выходя: — Я постараюсь покончить с племянником на пятидесяти тысячах франков. Не правда ли?

Она ответила высокомерно: — Нет. Дай ему сто тысяч франков, как он просит. Возьми их из моей доли, если хочешь.

Пристыженный, он прошептал: — Ах нет, мы поделим. Если мы дадим по пятидесяти тысяч, нам останется ровно миллион.

Потом прибавил: — До свидания, моя маленькая Мад.

Он пошел к нотариусу сообщить ему комбинацию, придуманную яко бы его женой. На другой день они подписали дарственную запись на пятьсот тысяч франков, которые Мадлена Дюруа передавала своему мужу.

Погода была прекрасная. Выйдя из конторы, Жорж предложил жене пройтись пешком по бульварам. Он старался быть любезным, нежным, внимательным. Он смеялся, радовался всему, был счастлив; она шла молчаливая, задумчивая.

Был холодный, осенний день. На улице было много

народу, все шло быстро, казалось, спешили куда-то. Дюруа подвел жену к магазину и показал ей хронометр, который давно уже нравился ему.

— Я куплю тебе какую-нибудь вещицу, — сказал он.

Она ответила безучастно:

— Как хочешь.

Они вошли в магазин. Он спросил:

— Что хочешь, ожерелье, браслет, серьги?

При виде золотых вещей ее напускная холодность исчезла, глаза заблестели, и она с увлечением стала рассматривать витрины.

— Вот хорошенький браслет, — сказала она. Видно было, что ей хочется иметь его. Это была причудливая золотая цепь, усыпанная драгоценными камнями.

Жорж спросил: — Что стоит этот браслет?

Ювелир ответил: — Три тысячи франков.

— Уступите за две тысячи пятьсот, я возьму сейчас же.

Тот, подумав, сказал: — Нет. Это невозможно.

— Вот что, — сказал Дюруа, — я возьму еще этот хронометр, дайте мне его за полторы тысячи франков, всего будет четыре тысячи. Я заплачу сейчас же. Согласны? Если нет, я ухожу.

Ювелир постоял в нерешительности, но потом согласился.

— Пусть будет по вашему.

Журналист дал свой адрес и сказал:

— Прикажете вырезать на хронометре мои инициалы: Ж. Р. К., а сверху баронскую корону.

Мадлена, удивленная, улыбнулась.

— Вы можете положиться на меня, барон, — сказал ювелир, — в четверг все будет готово.

Когда они вышли, она нежно взяла его под руку. Она находила, что он очень остроумный и ловкий. Теперь, когда у него были деньги, ему нужен был титул.

Они проходили мимо театра «Водевиль». Там была объявлена новая пьеса.

— Пойдем сегодня вечером в театр, — сказал он. — Возьмем сейчас ложу.

Они зашли в кассу и взяли ложу.

— Пообедаем в ресторане,—предложил он.

— Отлично,—сказала она.

Он был счастлив, чувствовал себя всемогущим и старался еще что-нибудь придумать.

— А если бы мы зашли за мадам де-Марель и пригласили бы ее провести с нами вечер? Мне говорили, что муж ее здесь. Я буду очень рад его повидать.

Они пошли к ней. Жорж боялся первой встречи со своей любовницей и был рад, что жена с ним; так можно избежать всяких объяснений. Но Клотильда сделала вид, что ничего не помнит, и сама уговорила мужа принять их приглашение.

За обедом было весело; вечер они провели очень мило.

Жорж и Мадлена поздно вернулись домой. Газ был потушен. Журналист освещал путь, зажигая время от времени восковые спички.

На площадке первого этажа свет случайно упал на зеркало; в нем отразились их фигуры. Они были похожи на призраки, явившиеся неизвестно откуда и готовые исчезнуть во мраке ночи.

Дюруа высоко поднял спичку, осветил их лица и торжественно произнес:

— Вот идут миллионеры.

VII.

Прошло два месяца со дня покорения Марокко. Франция, захватившая Танжер, владела всем африканским побережьем Средиземного моря до Триполиса и взяла на себя гарантию долгов нового завоеванного государства.

Говорили, что двое министров заработали на этом до двадцати миллионов и почти открыто называли Лароша-Матье.

Что касается Вальтера, весь Париж знал, что он выгадал на этом деле вдвойне: взял тридцать-сорок миллионов на займе и получил от восьми до десяти миллионов с рудников и больших участков земли, купленных за бесценок до завоевания и перепроданных колонизационным компаниям сейчас же после французской оккупации.

В несколько дней он стал одним из тех властелинов

мира, одним из всемогущих финансистов, могущественнее царей, которые заставляют безмолвно сгибаться перед собою спины и вызывают на свет всю низость, подлость и зависть, тающиеся в глубине человеческого сердца.

Это уже не был жид Вальтер, владелец подозрительного банка, редактор сомнительной газеты, депутат, подозреваемый в низких проделках. Это был господин Вальтер, богатый еврей.

И он захотел показать это.

Он знал, что князь Карлсбургский находится в затруднительном положении; он владел одним из лучших отелей предместья Сент-Оноре, с садом, выходящим на Елисейские поля. Вальтер предложил ему продать в двадцать четыре часа весь дом со всей обстановкой, не переставая даже ни одного стула. Предложил ему три миллиона. Князь, соблазненный этой суммой, согласился.

На следующий день Вальтер устроился в своем новом жилище.

Тогда ему пришла в голову другая идея, настоящая мысль победителя, который хочет овладеть Парижем, мысль, достойная Бонапарта.

Весь город ходил смотреть большую картину венгерского художника Карла Марковича: «Иисус, идущий по волнам», выставленную у эксперта Жака Ленобля. Художественные критики были в восторге и объявили эту картину лучшим произведением века.

Вальтер купил ее за пятьсот тысяч франков и перевез к себе; этим он лишил публику возможности удовлетворить свое любопытство и заставил весь Париж говорить о себе; одни ему завидовали, другие осуждали, третьи оправдывали.

Потом он объявил в газетах, что пригласит к себе, как никуда вчером, всех более или менее видных представителей парижского общества посмотреть великое произведение иностранного художника. Тогда никто не будет обвинять его в том, что он секвестровал произведение искусства.

Двери его дома будут открыты. Каждый может войти

Достаточно будет пред'явить при входе пригласительное письмо.

В нем говорилось: «Господин и Госпожа Вальтер просят Вас оказать им честь пожаловать к ним тридцатого декабря, между девятью и двенадцатью часами вечера, посмотреть при электрическом освещении картину Карла Марковича: «Иисус идущий по волнам».

В пост-скриптуме мелким шрифтом было напечатано: «После двенадцати часов ночи танцы».

Таким образом, кто пожелает останется, и среди них Вальтеры выберут своих будущих знакомых. Другие посмотрят с любопытством—наглым или безразличным—картину, отель, хозяев и уйдут, как пришли.

Старик Вальтер знал, что к нему придут, как придут ко всем его собратиям евреям, разбогатевшим, также как он.

Надо было, чтобы все титулованные особы, имена которых упоминались в газетах, посетили его дом; и он знал, что они придут посмотреть на человека, который в шесть недель нажил пятьдесят миллионов, придут поглазеть на тех, кто будет у него; придут потому, что у него хватило умения и находчивости позвать их любоваться христианской картиной у себя, сына Израиля.

Казалось, он им говорил: «Смотрите, я заплатил пятьсот тысяч франков за религиозный шедевр Марковича «Иисус, идущий по волнам», и этот шедевр останется у меня, останется навсегда в доме еврея Вальтера».

В высшем свете долго обсуждали это приглашение и решили, что оно, в сущности, ни к чему не обязывает. Каждый пойдет, как ходили смотреть акварели в галерею Пти. Вальтерам принадлежало одно из лучших произведений искусства; они открывали свои двери на один вечер всем тем, кто желал любоваться им. Чего же лучше?

В течение двух последних недель каждое утро появлялись во «Французской Жизни» заметки о вечере тридцатого декабря, заметки, имевшие целью возбудить общее любопытство.

Успех патрона бесил Дюруа.

Жорж стал считать себя богатым, когда ему удалось

выманить у жены пятьсот тысяч франков, а теперь, сравнивая свое жалкое состояние с тем потоком миллионов, который заливал все вокруг него и не приносил ему никакой выгоды, он считал себя бедным, нищим. Раздражение и злоба росли в нем с каждым днем. Он был зол на весь мир, на Вальтеров, у которых перестал бывать, на жену, которая, под влиянием Лароша, отсоветовала ему купить мароккские акции и, главным образом, на самого министра, который обманул, подвел его, обедая у него аккуратно два раза в неделю.

Жорж служил ему секретарем, агентом, и когда он писал под диктовку министра, им овладевало безумное желание задушить этого торжествующего фата. Ларош, как министр, не имел успеха и, чтобы сохранить за собой портфель, должен был скрывать, что этот портфель туго набит золотом. Но Дюруа знал это; золото чувствовалось в более высокомерном тоне этого адвоката-выскочки, в манерах его, ставших более развязными, в более смело выраженных мнениях, в его самодовольстве.

Ларош царил теперь в доме Дюруа, занял место графа Водрэка и обращался с прислугой, как второй хозяин.

Жорж едва выносил его и бесился, как собака, которая готова укусить, но не смеет. Он бывал часто груб и резок с Мадлэной, которая пожимала плечами и обращалась с ним, как с невоспитанным ребенком. Она удивлялась, что он всегда в дурном настроении и говорила:—Я тебя не понимаю. Ты постоянно недоволен, а между тем твое положение прекрасно.

Он поворачивал спину и ничего не отвечал.

Он объявил сперва, что ни за что не пойдет на вечер к Вальтеру и что нога его не будет у этого презренного жида.

В течение двух месяцев м-м Вальтер ежедневно писала ему, умоляла его придти, назначить ей, где угодно, свидание, чтобы она могла передать ему семьдесят тысяч франков, выигранных ею для него.

Он не отвечал на эти письма, полные отчаяния, и сжигал их. Он и не думал отказываться от своей доли в общем выигрыше, но хотел измучить ее, извести своим

презрением, бросить ее к своим ногам. Она была богата. Он хотел быть гордым.

Когда в день осмотра картины, Мадлена сказала ему, что он должен пойти к Вальтерам, он ответил:

— Оставь меня в покое. Я не пойду.

После обеда он вдруг объявил:

— Мне придется, однако, отбыть эту повинность. Одевайся!

Она ждала этого.

— Я буду готова через четверть часа.

Одеваясь, он все время ворчал и даже в карете продолжал злиться и брюзжать.

Подъезд Карлсбургского отеля был освещен четырьмя электрическими фонарями, которые стояли по углам и были похожи на четыре маленьких голубоватых луны. Роскошный ковер покрывал ступени лестниц, и на каждой площадке неподвижно, как статуи, стояли лакеи в ливреях.

Дюруа пробормотал:—Что за безобразие.

— Он презрительно пожимал плечами; но зависть мучила его.

Жена сказала ему:—Помалкивай: постарайся сам добиться того же.

Они вошли и передали свои шубы лакеям. Тут уже было довольно много народу, все раздевались, и слышен был шопот:—Как красиво, как великолепно.

Огромный вестибюль был обит роскошными коврами, на которых была изображена любовь Марса и Венеры. Справа и слева возвышались крылья гигантской лестницы, которые сходились в первом этаже. Перила тонкой и изящной работы были сделаны из кованого железа, старая слегка потемневшая позолота их бросала бледные отблески на красный мрамор ступеней.

При входе в залы две маленькие девочки—одна в розовом, другая в голубом—раздавали дамам цветы. Все находили это очень милым.

Уже собралось довольно много народу. Большая часть женщин были в темных выходных платьях, они хотели этим подчеркнуть, что пришли сюда, как на частную

выставку. Те, которые думали остаться на танцы, были декольтированы.

Мадам Вальтер, окруженная друзьями, сидела во второй комнате и благосклонно отвечала на приветствия посетителей. Многие не знали ее и осматривали отель, как музей, не обращая внимания на хозяев дома.

Увидев Дюруа, она взволновалась, изменилась в лице, и готова была броситься к нему. Но не сдвинулась с места и ждала его. Он ей низко и вежливо поклонился, а Мадлена осыпала ее ласками и комплиментами. Оставив жену с хозяйкой дома, Жорж постарался слиться с толпой и прислушаться ко всем неприятным толкам, которые должны были раздаваться со всех сторон.

Пять зал следовали одна за другой; они были обиты дорогими материями, итальянскими вышивками, восточными коврами всевозможных оттенков и стилей; на стенах висели картины старинных мастеров. Особенный восторг вызывала комната в стиле Людовика XVI, маленький будуар, обитый голубым шелком с розовыми цветами. Мебель из золоченого дерева удивительно тонкой работы была обита тем же шелком.

Жорж увидел тут всех знаменитостей: герцогиню де-Террасин, графа и графиню де-Равенель, генерала князя д'Андреомон, прекрасную маркизу де-Дюн и всех тех, кто бывает на первых представлениях.

Кто-то схватил его за руку и радостно прошептал ему на ухо:—Ах, вот и вы, Милый Друг. Почему не приходили к нам?

Это была Сюзанна Вальтер, смотревшая на него из-под облака кудрявых белокурых волос своими эмалевыми глазами.

Он обрадовался, увидев ее, и искренно пожал ей руку. Потом извинился:—Я не мог, я был так занят эти два месяца, почти не выходил.

— Это очень, очень нехорошо,—ответила она серьезно.—Вы нас очень огорчаете, ведь, мы вас обожаем, мама и я. Я не могу жить без вас. Когда вас нет, я смертельно скучаю. Я говорю вам это откровенно, чтобы этим лишить вас права исчезать. Пойдем, я сама хочу вам показать «Иисуса, идущего по волнам». Папа поместил картину

в конце за оранжереей, чтоб гости должны были пройти через все комнаты. Прямо смешно, как папа носится с этим отелем.

Они медленно пробирались сквозь толпу. Все любовались красивым молодым человеком и этой очаровательной куколкой.

Один из известных художников сказал:—Вот чудная пара. Просто прелесть.

Жорж думал:—Вот на ком я должен был жениться. А ведь это было возможно. Как я не подумал об этом. Как я увлекся той? Что за глупость! Всегда поступаешь слишком быстро, необдуманно.

И зависть, горькая зависть, проникала ему в душу, отравляла радость и окрашивала все в тусклый цвет.

— О, приходите почаще,—Милый Друг,—сказала Сюзанна. Теперь, когда папа так разбогател, мы будем поселиться, будем безумствовать.

— Теперь вы выйдете замуж за какогонибудь князя, красивого и разорившегося, и мы не будем больше видеться.

— О нет, нет еще, я буду ждать, чтобы мне кто-нибудь понравился, очень понравился, совсем понравился. Я достаточно богата—за двоих.

Он улыбнулся слегка насмешливо и высокомерно и стал указывать ей в толпе тех, которые продали свои ветхие, ржавые титулы дочерям богатых финансистов, а теперь живут с женами или отдельно, свободно и беспутно, всеми чтимые и уважаемые.

— Через шесть месяцев и вы попадетесь на эту удочку,—сказал он.—Вы, станете маркизой, графиней княгиней и будете смотреть на меня свысока.

Она возмутилась, ударила его слегка веером по руке и клялась ему, что выйдет замуж только по любви.

Он расхохотался:—Увидим. Вы слишком богаты для этого.

— Но ведь и вы получили наследство.

— Помилуйте, стоит ли об этом говорить. Двадцать тысяч годового дохода. Это такие пустяки.

— Но ваша жена получила столько же.

— Да. Миллион на двоих. Сорок тысяч годового дохода. Мы не имеем даже возможности держать лошадей.

Так они дошли до последнего зала и увидели великолепный зимний сад. Высокие тропические растения дали у своего подножья приют роскошным клумбам самых редких и изысканных цветов. Мягкими серебристыми волнами проникал свет сквозь густую листву, чувствовалась свежая прохлада влажной земли и опьяняющее благоухание. Во всем этом было что-то неестественное, чарующее и отравляющее, полное неги и страсти. Они шли между рядами густых кустарников, по коврам, подобным мху. Вдруг Дюруа увидел под широким сводом гигантских пальм огромный бассейн из белого мрамора. По краям его стояли четыре белых лебедя из дельфийского фаянса; из полуоткрытых клювов их струилась вода. Дно бассейна было усыпано золотым песком.

Огромные красные рыбы с большими глазами, с чешуей с темносиним отливом по краям, какие-то китайские чудовища плавали в нем; эти властелины вод, извивающиеся на золотом фоне дна, напоминали причудливые вышивки китайских тканей.

Дюруа стоял пораженный, сердце его замерло. «Вот, вот настоящая роскошь,—думал он.—Вот как надо жить. Другие достигли этого. Отчего же я не могу?» Он придумывал различные способы добиться того же, не находил и злился на свое бессилие.

Сюзанна стояла молчаливая, задумчивая.

Он посмотрел на нее и подумал еще раз: «А, ведь, стоило только жениться на этой марионетке».

— Пойдемте,—сказала она, как бы очнувшись от сна. Они пробрались сквозь толпу и быстро повернули направо.

Среди причудливых растений, протягивающих свои трепетавшие листья, как руки с тонкими пальцами, недвижно среди моря стоял человек.

Впечатление было поражающее. Картина, края которой терялись в живой зелени, казалась большим окном, открывавшемся в фантастическую, заманчивую даль. Надо было внимательно приглядеться, чтобы понять, в чем дело.

Рама пересекала лодку, в которой сидели апостолы, слабо освещенные косыми лучами фонаря; один из них был на борту лодки и направлял свет на удалявшегося Христа. Христос ступил на волну, она утихла и, покорная, нежная, ласковая, приникла к божественным стопам. Царила полная тьма вокруг Богочеловека. Одни только звезды сияли в небе. Лица апостолов, освещенные бледными отблесками фонаря, казалось, застыли от удивления.

Это было великое и неожиданное произведение большого мастера, одно из тех произведений, которые волнуют мысль и на долгие годы остаются для нас мечтой.

Все молча осматривали картину, уходили задумчивые и погруженные в себя, и только спустя некоторое время могли говорить о ее достоинствах.

Дюруа, осмотрев ее, сказал:

— Это недурно — иметь возможность приобрести такую безделушку.

Его толкали и он ушел, держа под руку Сюзанну и слегка пожимая ее маленькую ручку.

Она спросила: — Не хотите ли стакан шампанского. Пойдем в буфет. Папа там.

Они медленно прошли по залам обратно. Народу становилось все больше, все шумели и чувствовали себя, как дома. Это было самое изысканное общество, которое можно встретить на публичных праздниках.

Вдруг Жорж услышал:

— Вон Ларош и мадам Дюруа.

— Эти слова донеслись до его уха, как отдаленный шум ветра. Кто произнес их? Он оглянулся и увидел жену свою под руку с министром. Они смеялись, интимно болтали и смотрели друг другу в глаза.

Ему казалось, что все перешептываются, указывая на них, и у него явилось бессмысленное и грубое желание броситься и убить их обоих.

Она делала его смешным. Он вспомнил Форестье. И про него, быть может, говорят: «Этот рогоносец Дюруа». И что она представляла собой! Какая-то выскочка, довольно ловкая, правда, но в сущности, ничего особенного. Ее посещали, потому что опасались его, чувствовали его силу, но не особенно, должно быть, стеснялись, когда го-

ворили об этой семье журналистов. Он никогда ничего не достигнет с этой женщиной, которая всегда компрометирует себя, с этой женщиной, в которой все выдает интриганку. Она всегда будет служить ему помехой во всем. Ах, если бы он сообразил, если бы он знал! Он бы мог повести более крупную, более верную игру. Какой бы это был выигрыш, если бы ему досталась Сюзанна! Чем он был ослеплен, как он не понял этого?

Они вошли в столовую; это была громадная комната с мраморными колоннами, стены ее были обиты старинными гобеленами.

Увидев своего сотрудника, Вальтер бросился к нему и стал пожимать ему руки. Он был опьянен радостью.

— Все ли вы видели? Сюзанна, все ли ты ему показала? Сколько народу, Милый Друг, не правда ли? Видели ли вы князя Герр? Он только что был здесь, выпил стакан пуншу.

Потом он бросился навстречу сенатору Риссоллен, который вел свою жену, наряженную крикливо и безвкусно.

Сюзанне поклонился какой-то высокий и стройный молодой человек, немного лысый, с белокурыми баками и светскими изысканными манерами. Жорж слышал, как его называли: маркиз де-Казоль, и его неожиданно охватил порыв ревности. Когда она познакомилась с ним? Должно быть, с тех пор, как она разбогатела? Конечно, это был претендент.

Кто-то взял его за руку. Это был старый поэт Норбер де-Варенн; у него был безразличный и скучающий вид.

— Вот, что они называют весельем, — сказал он. — Сейчас будут танцы; потом лягут спать; барышни будут в восторге. Выпейте шампанского, прекрасное шампанское. — Он наполнил свой стакан, чокнулся с Дюруа и сказал: — Я пью за победу мысли над миллионами. — Потом тихо прибавил: — Они мне не мешают в чужих карманах, и я не завидую миллионерам. Но я протестую во имя принципа.

Жорж не слушал его. Он искал глазами Сюзанну, которая исчезла с маркизом де-Казоль. Он покинул поэта и пустился в погоню за молодой девушкой.

Густая толпа, которая стремилась к буфету, остано-

ла его. Когда он протиснулся сквозь нее, то очутился лицом к лицу с супругами де-Марель.

С женой он виделся постоянно, а мужа не встречал уже давно. Де-Марель бросился к нему и стал жать ему руки:—Как я вам благодарен, дорогой мой,—сказал он,—за совет, который вы мне дали через Клотильду. На мароккском займе я выиграл сто тысяч. Я этим всецело обязан вам. Вы просто бесценный друг.

Мужчины оглядывались на красивую и изящную брюнетку. Дюруа ответил:—В награду за мою услугу, дорогой мой, я беру вашу жену, или, вернее, предлагаю ей руку. Надо всегда раз'единять супругов.

Де-Марель поклонился:—Это верно. Если я потеряю вас из виду, мы встретимся здесь через час.

— Прекрасно.

Молодые люди стали пробираться сквозь толпу. За ними шел муж. Клотильда говорила:—Какие ловкие эти Вальтеры. Вот что значит понимать в делах.

Жорж ответил:—Да! Сильные люди всегда добиваются своего, так или иначе.

— Вот две девушки, у которых от двадцати до тридцати миллионов приданого у каждой. Да при этом Сюзанна еще и хорошенькая.

Он ничего не ответил. Собственная мысль, высказанная другими, возмутила его.

Она еще не видела «Иисуса, идущего по волнам». Он предложил проводить ее. Они сплетничали, злословили и высмеивали проходящих. Сен-Потен прошел мимо них, весь увешанный орденами; это их очень позабавило. За ним следовал какой-то бывший посланник, но у него было меньше орденов.

Дюруа сказал:

— Какая смесь одежд и лиц!

Буаренар пожал ему руку; у него в петлице была желтая и зеленая лента—его секундантский значек.

Виконтесса де-Персемюр, громадная и наряженная, беседовала с каким-то герцогом в маленьком будуаре в стиле Людовика XVI.

Жорж прошептал:—Милый tête-à-tête.

Но проходя через оранжерею, он увидел свою жену и

Лароша-Матье. Они укрылись за зеленью тропических растений и, казалось, говорили: «Мы назначили друг другу свидание, здесь, на виду у всех. Нам плевать на общественное мнение».

Мадам де-Марель нашла, что Иисус Карла Марковича удивительно хорош. Они вернулись. Ее мужа уже не было.

Он спросил:

— А Лорина все еще на меня сердится?

— Да, попрежнему. Она не хочет тебя видеть и уходит, когда говорят о тебе.

Он ничего не ответил. Внезапная неприязнь этой девочки огорчала и угнетала его.

У дверей их остановила Сюзанна.

— А, вот вы, наконец! Ну, Милый Друг, вы остаетесь одни. Я похищаю прекрасную Клотильду, хочу показать ей свою комнату.

И обе женщины поспешно удалились. Они пробирались сквозь толпу теми волнообразными движениями ящерицы, которыми женщины умеют так ловко пользоваться в толпе.

Вслед за этим кто-то тихо сказал:—Жорж!—Это была мадам Вальтер. Прибавила шепотом:—О, как вы жестоки! Как вы меня заставляете страдать. Я поручила Сюзетте увести ту, которая была с вами, чтоб сказать вам несколько слов. Слушайте, я должна... я должна... поговорить с вами сегодня вечером... или... или... вы не можете себе представить, что я сделаю. Пойдите в оранжерею. Там налево есть дверь, выходите через нее в сад. Идите прямо по аллее. В конце вы увидите тоннель. Ждите меня там через десять минут. Если вы на это не согласитесь, то, кланусь вам, я устрою вам скандал здесь, сейчас же.

Он ответил высокомерно.

— Хорошо. Через десять минут я буду в указанном вами месте.

И они расстались. Но Жак Риваль чуть не заставил его опоздать. Он взял его под руку и стал рассказывать ему новости. Он был очень возбужден. Должно быть, только что вышел из буфета. Наконец, Дюруа удалось оставить его с де-Марелем, которого они встретили в дверях.

Он поспешил уйти. Надо было устроиться так, чтоб жена и Ларош не видели его. Ему это легко удалось, так как они были очень увлечены друг другом. Он вышел в сад.

Холодный воздух сразу охватил его. «Чорт возьми, я схвачу насморк», подумал он и завязал себе шею носовым платком. Медленно шел по аллее. После блестящего освещения зал, здесь казалось темно.

Направо и налево виднелись ряды кустарников; листья опали, казалось, голые ветви вздрагивали. Бледные отблески скользили по деревьям, отблески от ярко освещенных окон отеля. Перед ним мелькнуло что-то белое; это была мадам Вальтер; шея и руки ее были обнажены.

— Ах, это ты, — прошептала она дрожащим голосом. — Ты хочешь меня убить?

Он ответил спокойно.

— Прошу тебя без сцен, а то я сейчас уйду.

Она обвила его шею руками, так что его губы почти касались ее губ, и сказала:

— Но что я тебе сделала. За что ты так обращаешься со мной! Что я тебе сделала?

Он пытался оттолкнуть ее:

— В последний раз, когда мы виделись, ты намотала свои волосы на мои пуговицы, и это чуть не привело меня к разрыву с женой.

Она была поражена, потом отрицательно покачала головой.

— О, твоей жене это безразлично. Должно быть, одна из твоих любовниц сделала тебе сцену.

— У меня нет любовниц.

— Не говори мне этого! Но почему ты не хочешь больше меня видеть? Почему отказываешься у нас обедать хоть раз в неделю? Если бы ты знал, как я страдаю, как я люблю тебя. У меня нет ни одной мысли, которая не принадлежала бы тебе; на что бы я ни смотрела, ты все время у меня перед глазами, я вижу только тебя, я боюсь сказать слово, чтобы не произнести твоего имени! Ты этого не понимаешь! Мне кажется, что меня кто-то держит в тисках, что меня завязали в мешок, я сама не знаю, что со мной!

Воспоминания о тебе преследуют меня, сдавливают мне горло, разрывают мне что-то тут, в груди, под сердцем; у меня подкашиваются ноги и я не в состоянии двигаться. Я целыми днями сижу на стуле, как безумная, и думаю о тебе.

Он смотрел на нее, удивленный. Перед ним была не та шаловливая, взрослая девчонка, к которой он привык, а женщина растерявшаяся, отчаявшаяся, способная на все.

У него зародился какой-то новый план. Он ответил:

— Милая моя, любовь не вечна. Люди отдаются друг другу, потом расходятся. Но когда это так продолжительно, как у нас, то становится в тягость. Я не хочу больше этого. Вот истина. Но если ты можешь быть благоразумной, принимать меня и обращаться со мной, как с другом, то я буду бывать у тебя как раньше. Способна ли ты на это?

Она положила ему руки на плечи и прошептала:

— Я готова на все, чтобы только видеть тебя.

— Итак решено, — мы друзья и больше ничего.

Она прошептала:

— Да, решено. — Потом протянула губы.

— Еще один поцелуй... последний.

Он мягко отказал ей:

— Нет. Надо держаться принятого решения.

Она отвернулась, вытерла слезы, достала маленький пакет, перевязанный шелковой розовой ленточкой, и протянула его Дюруа: — Возьми, это твоя доля выигрыша на мароккском деле. Я была так рада получить эти деньги для тебя. Ну, бери же...

Он хотел отказаться: — Нет, я не возьму этих денег!

Тогда она рассердилась: — Нет, ты не сделаешь этого! Эти деньги твои, только твои. Если ты их не возьмешь, я их выброшу. Ты не сделаешь этого, Жорж?

Он взял маленький пакетик и опустил его в карман.

— Надо вернуться, — сказал он. — Ты схватишь воспаление легких.

Она прошептала: — Тем лучше! Если бы я могла умереть!

Она схватила его руку и целовала ее страстно, безумно, с отчаянием. Потом убежала домой.

Он шел медленно, задумчивый. Вошел в оранжерею с высоко поднятой головой и с улыбкой на губах. Жены его и Лароша здесь уже не было. Народу стало меньше. Стало ясно, что многие не останутся на бал. К нему подошла Сюзанна под руку с сестрой. Они просили его танцевать первую кадрили с ними и с графом Латур-Ивелином.

Он ответил:

— А это еще кто?

Сюзанна сказала лукаво:

— Это новый друг моей сестры.

Роза покраснела и прошептала:

— Ты злая, Сюзетта: он такой же мой друг, как и твой.

Она улыбнулась: — Я знаю, что говорю.

Роза рассердилась и ушла.

Дюруа взял молодую девушку под руку и своим вкрадчивым голосом сказал: — Слушайте, дорогая, считаете ли вы меня своим другом?

— О, да, Милый Друг.

— Вы доверяете мне?

— Вполне.

— Помните ли вы, о чем мы недавно говорили?

— По поводу чего?

— По поводу вашего брака, или, вернее, человека, за которого вы выйдете замуж.

— Да.

— Так обещаете ли вы мне одну вещь?

— Да, но что?

— Советоваться со мной каждый раз, как будут просить вашей руки, и не давать никому согласия, не спросивши об этом меня.

— Да, я согласна.

— Это должно остаться между нами. Ни слова ни отцу, ни матери.

— Ни слова.

— Вы клянетесь?

— Клянусь.

Вбежал Ривало, с деловым видом:

— Вас папа зовет танцевать.

Она сказала: — Идем, Милый Друг.

Но он отказался, так как решил сейчас же уехать. Ему хотелось быть одному. Слишком много нового ворвалось в его душу. Он стал искать свою жену. Вскоре он увидел ее, она пила шоколад в буфете с двумя незнакомыми мужчинами. Она им представила мужа, но не назвала их.

Он спросил:

— Поедем?

— Как хочешь.

Он взял ее под руку, и они пошли по залам; народу стало совсем мало.

Она спросила: — А где хозяйка? Я хотела бы с ней проститься.

— Не стоит. Она будет нас задерживать, а мне это так надоело.

— Ты прав.

Всю дорогу они молчали. Как только они вошли в комнату, Мадлена, улыбающаяся, не снимая вуали, сказала ему:

— Знаешь, у меня есть для тебя сюрприз.

Он сердито спросил: — Что такое?

— Догадайся.

— Стану я стараться.

— Ну, так вот! послезавтра первое января.

— Да.

— Теперь время подарков.

— Да.

— Вот твой подарок, Ларош мне только что его передал.

Она протянула ему маленькую черную коробочку, напоминавшую собой футляр для драгоценностей. Он открыл ее безразлично и увидел орден Почетного Легиона.

Он слегка побледнел, улыбнулся и объявил:

— Я предпочел бы десять миллионов. Это не дорого стоит ему.

Она ждала, что он обрадуется, его холодность разозлила ее:

— Прямо удивительно, ты ни чем не доволен.

Он ответил спокойно: — Этот человек мне платит только свой долг. Он мне еще много должен.

Удивленная его тоном, она спросила: — А ведь это недурно в твоём возрасте.

Он ответил: — Все относительно. Могло быть лучше.

Взял футляр, открыл его, положил на камин и любовался блестящей звездой. Потом закрыл его и лег в постель, пожимая плечами.

Действительно, в офицгозе первого января было объявлено, что публицист Проспер-Жорж Дюруа получает за свои выдающиеся заслуги звание кавалера Почетного Легиона. Его фамилия была написана двумя словами и это доставило ему даже больше удовольствия, чем само получение ордена.

Через час после того, как он прочел эту новость, теперь уже всем известную, он получил письмо от м-м Вальтер. Она умоляла его придти к ней с женой обедать, чтобы отпраздновать вместе это событие. Он колебался несколько минут; потом бросил в огонь ее письмо, написанное довольно двусмысленно, и сказал Мадлене: — Мы пойдем сегодня обедать к Вальтерам.

Она очень удивилась. — Как! Ты ведь говорил, что твоей ноги не будет у них.

Он пробормотал: — Я изменил свое решение.

Когда они приехали, мадам Вальтер была одна в своем маленьком будуаре, в стиле Людовика XVI; она избрала его для своих интимных приемов. Она была вся в черном, волосы были напудрены, и она была очаровательна. Издали она казалась старой, вблизи совсем молодой; это был пленительный обман зрения.

— Вы в трауре?—спросила Мадлена.

Она ответила печально: — Да и нет. Я никого не потеряла из своих близких. Но я достигла того возраста, когда носят траур по своей жизни. Сегодня я надела траур, чтобы освятить его. Отныне я буду носить его в своем сердце.

Дюруа подумал: — Долго ли продолжится это решение.

Обед был мрачный. Только Сюзанна болтала без умолку. Роза казалась озабоченной. Все поздравляли журналиста.

Вечером пошли бродить по залам и оранжерее. Дюруа шел сзади; хозяйка дома задержала его.

— Слушайте,—сказала она тихо...—Я ничего не буду вам больше говорить, никогда... Но приходите ко мне, Жорж. Вы видите я с вами больше не на ты. Но я не могу жить без вас, не могу. Это невероятная пытка. Я вас чувствую, вы все время у меня на глазах, в сердце, в теле, день и ночь. Вы как будто напоили меня какой-то отравой, которая подтачивает меня. Я не могу больше. Нет. Не могу. Я хочу быть для вас только старой женщиной. Сегодня у меня седые волосы; видите... Но приходите к нам, приходите хоть иногда, как друг.

Она взяла его руку, крепко сжала ее, вонзая свои ногти в его тело.

Он ответил спокойно: — Это решено. Лишнее говорить об этом. Вы же видите, я пришел сегодня, как только получил ваше письмо.

Вальтер шел впереди с своими двумя дочерьми и Мадленой; он остановился у «Иисуса, идущего по волнам» и ждал Дюруа. — Представьте себе, — сказал он, смеясь, — вчера я застал жену перед этой картиной на коленях, как в церкви. Она молилась. Вот я смеялся!

Мадам Вальтер ответила твердым голосом, голосом, в котором чувствовалось скрытое волнение: — Этот Христос спасет меня. Он дает мне силу и бодрость каждый раз, как я смотрю на него.

И, указывая на Бога, стоящего на волнах, она прошептала: — Как он прекрасен! Как они боятся его и любят, эти люди! Смотрите на его голову, взгляните в его глаза, как он прост и сверхъестественен в одно и то же время!

— Но как он похож на вас, Милый Друг,—воскликнула Сюзанна.—Поразительно похож. Если бы у вас были баки, или он был бритым, это были бы совершенно одинаковые лица. О, это удивительно.

Она попросила его стать рядом с картиной; все признали, что, действительно, они похожи друг на друга!

Все удивились. Вальтер нашел, что это прямо невероятно. Мадлена, улыбаясь, объявила, что у Христа более мужественный вид.

Мадам Вальтер стояла неподвижно и напряженным взором смотрела на лицо Христа. Она была так же бела, как были белы ее волосы.

VIII.

В течение остальной части зимы Дюруа часто бывал у Вальтеров. Жорж там обедал постоянно один, так как Мадлена жаловалась на утомление и предпочитала оставаться дома.

Он избрал пятницу, как определенный день, и м-м Вальтер уже тогда никого не принимала. Это был день Милого Друга. После обеда играли в карты, кормили китайских рыбок и проводили время по семейному. Иногда за дверью, где нибудь в оранжерее, в темном углу, м-м Вальтер бросалась в объятия молодого человека и, прижимая его к груди, шептала:—Я люблю тебя!.. люблю тебя!.. люблю до смерти. — Но он холодно отталкивал ее и говорил сухим тоном:

— Если вы начнете снова, я никогда больше не приду сюда.

В конце марта заговорили о свадьбе двух сестер. Роза выходила будто бы за графа Латур-Ивелина, Сюзанна за маркиза де-Казоль. Оба они стали своими близкими людьми и пользовались особым расположением.

Между Жоржем и Сюзанной установилась нежная, братская дружба; они болтали целыми часами, смеялись над всеми и, казалось, очень нравились друг другу.

Как-то патрон пригласил к себе Дюруа завтракать; м-м Вальтер была занята каким то поставщиком. Жорж сказал Сюзанне:—Пойдем кормить красных рыбок.

Они взяли по большому куску хлеба и пошли в оранжерею. По краям бассейна были положены подушки, чтобы можно было стать на колени и быть ближе к рыбкам. Молодые люди взяли по подушке и, нагнувшись к воде, стали бросать хлебные шарики. Заметив их, рыбы стали подплывать, двигая хвостами, взмахивая плавниками, ворочая своими большими круглыми глазами; они ныряли, стремясь поймать круглые шарики, которые опускались на дно, и потом выплывали, как бы прося новой подачи.

Внезапно они стремительно бросались вперед, забавно открывали рты и своими движениями и видом напоминали маленьких чудовищ; красным пламенем выделялись они на золотом песке дна, прорезая огненными языками прозрачность вод, заставляя любоваться в моменты остановок, синевой, окаймляющей их чешую.

Жорж и Сюзанна смотрели в воду и улыбались своему отражению.

Вдруг он спросил тихо: — Нехорошо, Сюзанна, что вы все скрываете от меня?

Она сказала: — Да что я скрываю, Милый Друг?

— Вы разве не помните, что вы обещали мне здесь в день вечера?

— Нет.

— Советоваться со мной каждый раз, как будут просить вашей руки.

— Ну?

— Ну, ее просили.

— Кто же?

— Вы это сами знаете.

— Нет, клянусь.

— Вы прекрасно знаете. Этот фат маркиз де-Казоль.

— Прежде всего, он не фат.

— Возможно! но он глуп, разорен игрой, истощен кутежами. Вот чудная партия для вас, такой молодой, свежей и умной.

Она ответила, улыбаясь: — Но что вы имеете против него?

— Я? Ничего.

— Как ничего. Он вовсе не то, что вы думаете.

— Положим. Но он глуп и интриган.

Она перестала смотреть на воду и повернулась к нему.

— Однако, что с вами?

Он произнес, как будто у него вырвали из сердца тайпу:

— Со мной... Со мной... Я ревную вас.

Она спросила несколько удивленно: — Вы?

— Да я.

— Вот тебе раз. С чего это?

— Я люблю вас, и вы прекрасно это знаете. Злая.

Она сказала сурово:—Вы сошли с ума, Милый Друг!

Он продолжал: — Да, я сумасшедший. Разве я должен говорить вам это, я, женатый человек, вам, молодой девушке. Я больше, чем сумасшедший, я преступник, я несчастный. У меня нет никакой надежды, я теряю рассудок. И когда при мне говорят, что вы должны выйти замуж, на меня нападает такая безумная ярость, что я готов убить всех. Вы должны простить меня, Сюзанна.

Он замолчал. Рыбы, которым они больше не бросали хлеба, застыли в воде, выравнялись, как английские солдаты, и разглядывали лица молодых людей, переставших заниматься ими.

Сюзанна ответила не то печально, не то обрадовавшись: — Как жаль, что вы женаты. Но теперь помочь этому нельзя. Все кончено!

Он стремительно повернулся к ней и нервно сказал:

— А если бы я был свободен, вы вышли бы за меня замуж?

Она ответила искренно:

— Да, Милый Друг, я вышла бы за вас замуж; вы мне нравитесь больше всех.

— Благодарю... благодарю вас... Я умоляю вас, не дайте никому слова. Подождите еще немного. Я умоляю вас! Обещаете ли вы мне это?

Она прошептала смущенная, не понимая его: — Да, обещаю.

Дюруа бросил в воду весь ком хлеба, который был у него в руке, и убежал, не простившись, как бы окончательно потеряв голову.

Все рыбки жадно набросились на ком мякиша, который разбух и всплыл на поверхность, и стали рвать его на части. Они утащили его на другой конец бассейна, волновались и кружились под ним, образуя как бы подвижную кисть, живой, вертящийся цветок, брошенный венчиком в воду.

Сусанна, взволнованная, удивленная, поднялась и медленно пошла назад. Журналист исчез.

Он вернулся домой спокойный и спросил Мадлену, которая писала письма:

— Ты пойдешь в пятницу обедать к Вальтерам? Я иду.

Она неуверенно ответила:

— Нет. Мне немного нездоровится. Я лучше останусь дома.

— Как хочешь. Никто тебя не заставляет.

Потом взял шляпу и ушел.

Он давно наблюдал за нею, выслеживал и знал все ее похождения. Час, которого он ждал, наконец, настал. Он прекрасно знал, что означали ее слова: «я лучше останусь дома».

Все следующие дни он был любезен с ней. Вопреки своему обыкновению, казался даже веселым.

Она заметила:

— Ты становишься опять милым.

В пятницу он рано оделся и сказал, что ему надо кое-куда еще зайти до Вальтеров. Около шести часов он ушел, поцеловав жену, взял фиакр на площади Нотр-Дам-де-Лоретт и сказал кучеру: — Вы остановитесь против № 17 на улице Фонтен и будете стоять там, пока я не прикажу вам ехать дальше. Потом отвезете меня в ресторан на улицу Лафайет.

Карета медленно тронулась; Дюруа опустил шторы. Он остановился против своего подъезда и не спускал глаз с дверей. Через десять минут вышла Мадлена и пошла вверх по бульварам. Как только она немного удалилась, он крикнул кучеру: — Поезжайте.

Экипаж двинулся и доставил его в ресторан, известный в квартале. Жорж вошел в общий зал и сел обедать; спел, не спеша, и от времени до времени смотрел на часы. Выпив кофе, две рюмки коньяку, медленно выкурил сигару, вышел, взял карету и поехал на улицу Ла-Рошефуко.

Не беспокоя швейцара, он поднялся в третий этаж и позвонил. Ему открыла прислуга:

— Господин Гильбер де-Лорм дома?

— Да.

Его ввели в гостинную, попросили подождать. Вышел господин высокого роста, в орденах, с военной выправкой, у него были седые волосы, хотя он был еще молод.

Дюруа поклонился и сказал:

— Как я и предвидел, господин комиссар, жена моя

обедает со своим любовником в меблированной квартире, которую он нашел на улице Мартир.

— Я к вашим услугам.

Жорж сказал:

— До девяти часов, не правда ли? Позже вы не имеете права входить в частную квартиру, чтобы установить там факт прелюбодеяния.

— До семи часов зимою, до девяти с 31-го марта. Сегодня пятое апреля, у нас есть время до девяти часов.

— Прекрасно. У меня есть экипаж, мы возьмем агентов и поедем; подождем немного у под'езда. Чем позже мы войдем, тем вернее можем их застичь на месте преступления.

— Как вам угодно.

Комиссар вышел и вернулся, надев пальто, которое скрыло его трехцветный пояс. Он посторонился, чтобы пропустить Дюруа. Но журналист, погруженный в свои мысли, отказывался выйти первым и повторял: — После вас... после вас...

Комиссар сказал: — Проходите же, я у себя дома.

Жорж поклонился и вышел.

Они отправились в комиссариат; там их ждали трое переодетых агентов; они были предупреждены, что нужны будут в этот вечер. Один из них сел на козлы рядом с кучером, двое других поместились в карете. Они поехали на улицу Мартир.

Дюруа сказал:

— У меня есть план квартиры. Она во втором этаже. Сначала будет маленькая передняя, потом спальня. Все три комнаты сообщаются. Там всего один выход, бежать невозможно. По близости живет слесарь; он будет в нашем распоряжении.

Когда они под'ехали к дому, было четверть девятого; они прождали молча двадцать минут у под'езда. Без четверти девять Жорж сказал:

— Идем теперь.

Они поднялись, незамеченные швейцаром. Один из агентов остался у под'езда, караулить выход. Во втором этаже они остановились; Дюруа приложил ухо к двери,

потом взглянул в замочную скважину. Ничего не было слышно, ничего не было видно. Он позвонил.

Комиссар сказал агентам:—Вы останетесь здесь, будете ждать моих приказаний.

Не открывали. Через несколько минут Жорж позвонил снова. В глубине квартиры раздался шум, потом слышались легкие шаги. Кто-то шел на разведки. Журналист постучался. Какая-то женщина спросила:—Кто там? — Ясно было, что она старается изменить голос.

Комиссар ответил:—Именем закона, откройте.

— Кто там?

— Полицейский комиссар. Откройте, или я прикажу взломать двери.

— Что вам надо?

Дюруа сказал:—Это я. Теперь уже вы не ускользнете от нас.

Легкие шаги удалились, утихли и через несколько секунд послышались снова.

Жорж сказал:—Если вы не откроете, мы взломаем двери.—Он нажал ручку, ничего не было слышно. Тогда он налег плечом на дверь и толкнул ее; старый замок поддался, и дверь открылась.

Молодой человек чуть не упал на Мадлену, которая стояла в передней со свечой в руке. Она была босая, в рубашке и нижней юбке, волосы ее были распущены.

Он крикнул:—Это она; теперь они в наших руках.—Он бросился в квартиру; комиссар снял шляпу и последовал за ним. Молодая женщина, растерянная, шла сзади и освещала им путь.

Они прошли через столовую; на столе валялись пустые бутылки от шампанского, остатки паштета, куры, недоеденные куски хлеба. На буфете стояли тарелки с грудой раковин от съеденных устриц. В комнате был страшный беспорядок. На стуле было брошено женское платье, брюки свесились с кресла. Четыре башмака, два больших и два маленьких, валялись у кровати.

Это была типичная меблированная квартира с вульгарной мебелью, с отвратительным, спертым воздухом. Специфический запах, присущий всем учреждениям подобного рода, исходил от занавесок, тюфяков, стен,

стульев. Казалось, каждый, кто провел здесь день или полдня, оставлял здесь свой запах и он, смешавшись с запахами живших здесь раньше, образовал невыносимую, приторную атмосферу, царящую в подобных местах.

Тарелка с пирожными, бутылка шартреза, две недопитые рюмки стояли на камине. На бронзовых часах лежала большая мужская шляпа.

Комиссар обратился к Мадлене и сказал, смотря ей прямо в глаза: — Вы госпожа Клер-Мадлена Дюруа, законная жена публициста Проспера-Жоржа Дюруа, здесь присутствующего.

Она сказала сдавленным голосом: — Да

— Что вы делаете здесь?

Она не ответила.

Комиссар повторил: — Что вы делаете здесь? Я застал вас вне дома, почти раздетую, в меблированной квартире. Зачем вы пришли сюда, спрашиваю я вас?

Он подождал немного. Она все молчала. — Вы не хотите мне давать объяснений, тогда мне самому придется приступить к расследованию. — В постели кто-то лежал, плотно закутанный в простыни.

Комиссар подошел и сказал: — Милостивый государь.

Лежащий не двигался. Он повернул спину и спрятал голову под подушку.

Комиссар взял его за плечо и сказал:

— Милостивый государь, прошу вас, не заставляйте меня прибегать к насилию.

Но он лежал неподвижно, как мертвый.

Дюруа стремительно подошел к нему, стянул одеяло, вырвал подушку и увидел мертвенно бледное лицо Лароша-Матте. Он нагнулся к нему и, весь трясаясь от желания задушить его, крикнул, стиснув зубы: — Имейте, по крайней мере, мужество ответить за свою низость.

Комиссар спросил: — Кто вы? — Растерянный любовник молчал. — Я полицейский комиссар и требую, чтобы вы назвали себя.

Жорж, дрожа от бешенства, крикнул: — Да отвечайте же, трус, или я назову ваше имя.

Лежащий в постели, пробормотал: — Господин комиссар, как вы позволите этому господину оскорблять меня.

С кем я должен иметь дело, кому я должен отвечать, вам или ему?

Казалось, что у него совершенно пересохло во рту.

Комиссар сказал: — Вы должны иметь дело со мною. Но я вас спрашиваю, кто вы?

Тот молчал. Он еще плотнее завернулся в простыню и бросал на всех растерянные взгляды. Его маленькие закрученные усы казались совершенно черными на бледном лице.

— Так вы не хотите отвечать. Тогда я принужден буду арестовать вас. Во всяком случае, вставайте. Я начну вас допрашивать, когда вы будете одеты.

Он беспомощно ворочался в постели: — Да не могу же я при вас.

— Почему?

— Потому... потому что... я совсем голый.

Дюруа презрительно расхохотался, поднял валявшуюся на полу рубашку, бросил на кровать и крикнул: — Ну... подымайтесь... Если вы могли раздеться при моей жене, я думаю, вы можете одеться при мне.

Он повернулся и пошел к камину.

Мадлена пришла в себя, поняла, что они в безвыходном положении, и была готова на все. Глаза ее горели огнем напускной, вызывающей смелости: она свернула кусок бумаги и зажгла, как для приема, все десять свечей в дешевых канделябрах, стоящих на камине. Она прислонилась к мраморному камину и протянула к потухающему огню, свою босую ногу, при этом юбка ее, которая едва держалась на ней, слегка приподнялась, она достала из розовой коробки папироску, зажгла ее и закурила.

Комиссар подошел к ней и молча ждал, чтобы ее соучастник оделся.

Она спросила с напускной дерзостью: — Что, вы часто занимаетесь этим ремеслом?

— Избегаю по мере возможности, — сурово ответил комиссар.

Она презрительно улыбнулась: — Поздравляю вас, не скажу, чтобы это было очень красивое, опрятное занятие.

Она старалась не смотреть, не видеть своего мужа.

Ларош-Матье встал, надел брюки, сапоги и, застегивая жилет, подошел к ним.

Комиссар спросил его:—Ну, скажете ли вы мне теперь, кто вы?

Он не ответил.

— Тогда я буду принужден арестовать вас.

— Вы не имеете права,—крикнул он,—моя личность неприкосновенна.

Дюруа бросился на него, как бы желая его раздавить, и прошипел сквозь зубы:—Мы вас застали на месте преступления... на месте преступления... Я могу вас арестовать, если захочу... да я могу.

Потом дрожащим голосом: — Это Ларош-Матье, министр иностранных дел.

Комиссар, пораженный, пробормотал:—Да скажете ли вы мне, кто же вы?

Тот, наконец, решил и с трудом выговорил:

— На этот раз, этот негодяй, не врет. Я, действительно, Ларош-Матье, министр.

Потом, указывая рукой на Жоржа, у которого в петлице был орден Почетного Легиона, он сказал:—И это я дал этому подлецу орден Почетного Легиона.

Дюруа побледнел, как мертвец. Быстрым движением он вырвал из петлицы орден и бросил его в камин:—Вот цена орденам, которые даются такими мерзавцами, как вы.

Они стояли друг против друга, один худой, другой толстый, стиснув оба зубы, взбешенные, со сжатыми кулаками.

Комиссар стал между ними и, разнимая их, сказал:

— Господа, вы забываетесь, держите себя с достоинством.

Они замолчали и отвернулись друг от друга. Мадлен стояла неподвижная и курила, улыбаясь.

Комиссар сказал:—Господин министр, я вас застал здесь наедине с мадам Дюруа; вы были в постели, она почти голая, ваше платье валялось вместе. Я устанавливаю факт прелюбодеяния. Вы не станете отрицать этого. Что вы можете сказать в свое оправдание.

Ларош-Матье пробормотал:—Я не имею ничего сказать. Исполняйте свой долг.

Комиссар обратился к Мадлене:—Признаетесь ли вы, что этот господин ваш любовник?

Она ответила вызывающе:—Я не отрицаю этого, он мой любовник.

— Достаточно.

Комиссар сделал несколько заметок о расположении комнат и о состоянии квартиры.

Министр оделся, взял пальто и шляпу и спросил:—Нужен ли я вам еще? Что я должен делать? Могу ли я удалиться?

Дюруа повернулся и, нагло улыбаясь, сказал:—Поми-луйте, зачем! Мы кончили. Вы можете снова лечь в постель, милостивый государь. Мы оставим вас одних.

Он взял под руку комиссара:—Удалимся, господин комиссар, нам здесь больше нечего делать.

Комиссар, несколько удивленный, последовал за ним; но на пороге комнаты Жорж остановился, чтобы пропустить его вперед. Тот церемонно отказывался.

Дюруа настаивал:—Пройдите же.—После вас.—Тогда журналист поклонился и с иронией сказал:—Теперь ваша очередь, господин комиссар. Здесь я почти что у себя дома.

Потом с напускной скромностью он осторожно запер дверь.

Через час Жорж Дюруа входил в редакцию «Французской Жизни».

Господин Вальтер был уже тут, он продолжал стоять во главе своей газеты и принимал в ней самое деятельное участие; она стала очень распространенной и поддерживала все разрастающиеся операции его банка.

Редактор поднял голову и спросил:—Ах, это вы? Почему у вас такой странный вид? Почему вы не пришли к нам обедать? Откуда вы?

Молодой человек, уверенный в том, что его слова произведут впечатление, объявил, делая ударение на каждом слове:

— Я только что свергнул министра иностранных дел.

Вальтер думал, что он шутит.—Свергли министра? Как это?

— Я изменю состав кабинета. Вот и все. Давно уже пора убрать этого негодяя.

Старик был изумлен и думал, что его сотрудник пьян. Он сказал:—Помилуйте. Да что вы? сходите с ума? Что с вами?

— То, что я сейчас застал свою жену с Ларошем-Матье. Комиссар установил факт прелюбодеяния. Министр слетит.

Вальтер, пораженный, поднял очки на лоб и спросил:—Что вы смеетесь надо мной?

— Ничуть. Сейчас я напишу об этом в хронике.

— Но что хотите вы?

— Свергнуть этого вора, негодяя, этого вредного общественного деятеля.

Жорж положил свою шляпу на кресло и сказал:—Горе тем, кто попадется мне на пути. Я никогда не прощаю.

Редактор никак не мог понять. Он пробормотал:—А... ваша жена?

— Завтра я начинаю дело о разводе. Я ее отошлю к покойному Форестье.

— Вы хотите разводиться?

— Конечно. Я был смешон. Мне приходилось валять дурака, чтобы уличить их. Это сделано. Теперь все в моих руках.

Вальтер не мог придти в себя. Он смотрел на Дюруа широко открытыми глазами и думал:—Чорт возьми. Беда иметь с ним дело.

Жорж продолжал:—Теперь я свободен... У меня есть небольшое состояние. Я выставлю свою кандидатуру на новых выборах в октябре, у себя на родине; там меня знают. Я не мог занять видного положения и заставить себя уважать с этой женщиной, которая казалась всем подозрительной. Она меня провела, пленила и забрала в свои сети. Но я узнал ее и стал за ней следить, негодной.

Он расхохотался и сказал:—Бедный Форестье, вот кто был обманут... Он ничего и не подозревал, спокойный, доверчивый. Ну, теперь я освободился от прелести, которую он мне оставил. У меня руки развязаны. Теперь я сделаю карьеру.

Он сидел верхом на стуле и говорил, как во сне:—Да, я сделаю карьеру.

Старик Вальтер смотрел на него широко открытыми глазами и думал:—Да, он пойдет далеко, этот негодяй.

Жорж встал:—Я напишу статью. Надо сделать это осторожно. Но министр должен погибнуть. Я утоплю его. Ему нет спасения. «Французской Жизни» нет больше расчета падить его.

Старик колебался еще некоторое время, потом сказал:—Пишите, поделом им, пусть не занимаются таким озорством.

IX

Прошло три месяца. Дюруа получил развод. Жена его снова приняла фамилию Форестье. Вальтеры должны были уехать 15-го июля в Трувиль и решили перед отъездом провести один день за городом.

Поездка была назначена на четверг; выехали в девять часов утра в большой шестиместной коляске, запряженной четвериком. Должны были завтракать в Сен-Жермене, в павильоне Генриха IV. Милый Друг поставил условием, чтобы не приглашали никого из мужчин, так как он не выносил физиономии маркиза де-Казоль.

В последнюю минуту решили заехать за графом Латур-Ивелином. Он был предупрежден еще накануне.

Они проехали через Елисейские поля и направились в Булонский лес. Стоял чудный летний день. Было не очень жарко. Ласточки описывали в воздухе всевозможные кривые линии, и след от их полета, казалось, долго оставался в синеве неба.

Мать с двумя дочерьми сели позади, мужчины поместились на скамейке.

Переехали через Сену, обогнули Мон-Валериен, потом отправились вдоль реки, через Буживаль в Пек.

Граф Латур-Ивелин нежно смотрел на Розу. Это был человек уже не молодой, с длинными редкими баками; они развеивались от малейшего дуновения, и Дюруа насмешливо говорил:—Он эффектно пользуется ветром

для своей бороды». — Уже месяц, как Латур-Ивелин и Роза были помолвлены.

Жорж, очень бледный, смотрел на Сюзанну; она тоже была бледна. Взгляды их встречались, понимали друг друга, обменивались тайно мыслью, потом снова расходились. М-м Вальтер была спокойна, довольна.

Завтрак затянулся. Перед тем, как вернуться в Париж, Жорж предложил пройтись по террасе.

Остановились полюбоваться видом. Все встали в ряд вдоль стены и восторгались обширным горизонтом. У подношья холма протекала Сена по направлению к Мезон-Лаффит, как огромная змея, извивающаяся в зелени. Направо, на вершине холма, был виден водопровод из Морли; он вырисовывался на горизонте и, казалось, что по холму ползет огромная гусеница с большими лапами. Внизу, в куще деревьев, скрывался Морли. Напротив расстилалась бесконечная равнина; местами виднелись деревни. Пруды Везине ясными и отчетливыми пятнами выделялись на тощей зелени маленькой рощи. Налево вдали позвешалась остроконечная колокольня Сартрувиля.

Вальтер сказал:—Нигде в мире, даже в Швейцарии, вы не найдете такой панорамы.

Медленно гуляли они по террасе и наслаждались видом.

Жорж и Сюзанна отстали. Когда они отошли на несколько шагов, он ей сказал тихим и сдержанным голосом:—Сюзанна, я вас обожаю. Я вас люблю до безумия.

Она прошептала:—И я, Милый Друг.

Он начал снова:—Если вы не будете моей женой, я уеду навсегда из Парижа.

Она ответила:—Попробуйте просить моей руки у папы. Может быть, он согласится.

— Нет, уже сколько раз я говорил вам, что это невозможно. Для меня будут закрыты двери вашего дома, меня выставят из газеты; и мы больше не будем даже видаться. Вот к чему приведет мое формальное предложение. Для вас выбрали маркиза де-Казоль. Надеются, что вы, в конце концов, скажете: «да», и ждут

Она спросила:—Что же делать?

Он колебался и украдкой смотрел на нее:

— Любите ли вы меня настолько, чтобы совершить безумство?

Она ответила решительно:—Да.

— Ужасное безумство?

— Да.

— Самое ужасное из безумств?

— Да.

— Хватит ли у вас смелости пойти против отца и матери?

— Да.

— Правда?

— Да.

— Ну, есть один только способ, единственный! Надо, чтобы все исходило от вас, а не от меня. Вас балуют, позволяют вам говорить все, что вздумается; взбалмошный поступок не очень удивит ваших. Вечером сегодня вы пойдете к маме, только, когда она будет совсем одна, и признаетесь ей в том, что хотите быть моей женой. Она будет сильно волноваться, сильно рассердится.

Сюзанна перебила его:—О, мама-то согласится.

Он продолжал:—Нет. Вы ее не знаете. Она будет больше сердиться и выходить из себя, чем ваш отец. Вы увидите, что она вам откажет. Но вы твердо стойте на своем, не уступайте, скажите, что вы хотите выйти замуж за меня, только за меня, за меня одного. Сделаете ли вы это?

— Сделаю.

— Потом пойдете к отцу и скажете это же самое очень решительно и серьезно.

— Да-а, да-а. А потом?

— Потом, тут то и начинается самое главное. Если вы решили наверное, твердо, бесповоротно решили стать моей женой, моя дорогая, дорогая, маленькая Сюзанна... То я... я похищу вас!

Она так обрадовалась, что чуть не захлопала в ладоши:—О! какое счастье! Вы меня похитите? Когда же вы сделаете это?

Вся старинная поэзия ночных похищений, с путешествиями в тяжелых экипажах, с остановкой в харчевнях, забавные приключения, прочитанные ею в книгах, возникли в ее памяти и пронеслись перед нею, как чарующий сон, готовый к осуществлению.

Она повторила:—Когда же вы похитите меня?

Он ответил тихо:—Да... сегодня вечером... этой ночью...

Она спросила взволнованная, трепещущая:—Куда же мы отправимся?

— Это секрет. Но обдумайте то, что вы делаете. Знайте, что после вашего бегства вы можете стать только моей женой! Это единственный способ, но он очень... очень опасен для вас.

Она объявила:—Я на все готова... где я найду вас?

— Вы можете выйти из отеля одна?

— Да, я умею открывать вторую дверь.

— Ну так, когда швейцар заснет, после двенадцати часов ночи, вы придете ко мне на площадь Согласия. Я буду ждать вас в карете против морского министерства.

— Я приду.

— Наверное?

— Наверное.

Он взял ее руку и пожал ее:—О! как я вас люблю! Какая вы хорошая и смелая! Так вы не хотите выйти замуж за маркиза де-Казоль?

— О, нет!

— Ваш отец очень сердился, когда вы ему отказали?

— Конечно. Он хотел меня снова отправить в монастырь.

— Вы видите, что необходимо быть очень энергичной.

— И я буду.

Она смотрела вдаль, вся поглощенная мыслью о похищении. Она отправится далеко... туда... с ним... Она будет похищена!.. Она гордилась этим! Она не думала о своей репутации, о том, что он может с ней сделать. Знала ли она? Подозревала ли она?

М-м Вальтер повернулась и крикнула:

— Иди же, детка. Что ты там делаешь с Милым Другом?

Они присоединились к другим. Говорили о предстоящей поездке на морские купанья.

Вернулись через Шату, чтобы не ехать той же дорогой.

Жорж молчал. Думал: «Если у этой девочки хватит смелости, он достигнет, наконец, своего». Три месяца опутывал он ее непреодолимой сетью своих ухаживаний. Он обольщал, пленял, увлекал ее. Он заставил себя полюбить, как только он умел это делать. Без труда покорил лёгкомысленную душу этой куколки.

Сначала он добился того, что она отказала маркизу де-Казоль. Теперь она готова была бежать с ним. Другого средства не было.

Он прекрасно понимал, что м-м Вальтер никогда не отдаст ему свою дочь. Она все еще любила его и всегда будет любить безумно, страстно. Он сдерживал ее своей намеренной холодностью, но чувствовал, что бессильная всепоглощающая страсть овладела ею. Никогда он не сломит ее. Никогда она не согласится на его брак с Сюзанной.

Но раз он увезет от них девочку, ему придется иметь дело с отцом.

Поглощенный своими мыслями, он отрывисто отвечал на вопросы и не слушал. Когда вехали в Париж, казалось, он пришел в себя.

Сюзанна тоже мечтала. Она прислушивалась к звону колокольчиков, перед нею проносились бесконечные дороги, освещенные вечным лунным светом, темные леса, через которые они проезжали, харчевни на краю дороги, ямщики с поспешностью менявшие им лошадей и, конечно, догадавшиеся, что за ними потопя.

Коляска подехала к отелю. Жоржа просили остаться обедать. Он отказался и пошел домой.

Он поел, привел в порядок свои бумаги, как бы готовясь к длинному путешествию. Сжег компрометирующие письма, спрятал часть своей переписки, написал некоторым друзьям.

От времени до времени он смотрел на часы и думал: «Воображаю, что там теперь делается». Сердце у него сжималось от волнения. А если он проиграет? Но чего

бояться ему? Он всегда сумеет выпутаться! А как крупно он играл в этот вечер!

Он вышел из дому в одиннадцать часов, бродил некоторое время, взял карету и остановился на площади Согласия, против морского министерства.

От времени до времени он зажигал спичку и смотрел на часы. Около двенадцати его охватило лихорадочное волнение. Каждую минуту высовывал он голову из окна кареты и смотрел не идет ли она.

Пробило двенадцать, сначала где то вдали, потом ближе, потом где-то на двух часах сразу и, наконец, опять вдали. Когда раздался последний удар, он подумал: «Кончено. Все пропало. Она не придет».

Решил ждать до утра. В таких случаях надо быть терпеливым.

Он слышал, как пробило четверть первого, потом половина, потом три четверти и, наконец, все часы повторили друг за другом час.

Он больше не ждал, терялся в догадках и не мог понять, что могло случиться. В окно кареты показалась женская голова и чей-то голос спросил:—Это вы, Милый Друг?

Он вздрогнул. У него захватило дыхание.

— Это вы, Сюзанна?

— Д-а, это я.

Он никак не мог открыть дверцы и повторял:

— Ах!.. это вы... это вы... войдите.

Она вошла и опустилась около него. Он крикнул кучеру:—Поезжайте!—Карета двинулась.

Она задыхалась, не могла говорить.

Он спросил:—Ну, как там все сошло?

Она была близка к обмороку; едва прошептала:

— О! Это было ужасно, особенно с мамой.

Он волновался и дрожал.

— Ваша мама? Что она говорила? Расскажите мне это?

— О! Это было ужасно. Я вошла к ней и рассказала все, как я заранее обдумала. Она побледнела и стала кричать: «Никогда! Никогда!» Я плакала, сердилась, клялась, что выйду замуж только за вас. Мне казалось, что она побьет меня. Она была как сумасшедшая, объявила, что

отошлет меня в монастырь завтра же. Я никогда не видела ее такой, никогда! Папа слышал все, что она говорила, и вошел. Он не так сердился, как она, но объявил, что для меня это не блестящая партия.

Я была раздражена и кричала больше их.

Папа драматическим тоном, который совсем не шел к нему, велел мне выйти. Это окончательно убедило меня бежать с вами, и вот я здесь. Но куда мы поедем?

Он нежно обнял ее за талию; прислушивался к биению ее сердца. Глухая ненависть пробудилась в нем к этим людям. Но их дочь была в его руках. Теперь он им покажет.

Он ответил:—На поезд мы опоздали. Мы поедем в Севр и там переночуем. А завтра мы отправимся в Ла-Рош-Гуйон. Это красивая деревня на берегу Сены, между Монтом и Батьером.

Она сказала:—Но у меня нет вещей. Я ничего с собой не взяла.

Он беззаботно улыбнулся:—Ну! это мы устроим.

Жорж взял руку девушки и стал целовать ее медленно, почтительно. Он не находил, что сказать ей, так как не привык к платоническим ласкам. Вдруг ему показалось, что она плачет.

Он спросил, тревожно:—Что с вами, моя дорогая?

Она ответила сквозь слезы:—Бедная моя мама, воображаю, как она волнуется теперь, если заметила, что меня нет.

Мать ее, действительно, не спала.

Когда Сюзанна вышла из комнаты, м-м Вальтер осталась наедине с мужем и спросила, растерянная, убитая:

— Боже мой! Что это значит?

Вальтер, раздраженный, крикнул:—Это значит, что этот интриган околдовал ее. Это он ее заставил отказать Казоло. Еще бы, ему приданое пришлось верно по вкусу!

Он в бешенстве ходил по комнатам и кричал:

— Ты тоже всегда звала его, льстила, ласкала, не знала, как угодить ему. Целый день только и слышалось—Милый Друг здесь, Милый Друг там, с утра и до вечера. Ты хорошо наказана!

— Я?.. Я его завлекала?

— Да, ты,—бросил он ей прямо в лицо:—вы все с ума сходите от него, ты, Марель, Сюзанна и все. Ты думаешь, что я не замечал, что ты двух дней не могла прожить без него?

Она встала и трагически сказала:—Я вам не позволю так говорить со мной. Вы забываете, что я, я воспитывалась не в лавке, как вы...

Он постоял, удивленный и ошеломленный; потом выругался и ушел, хлопнув дверь.

Оставшись одна, она инстинктивно подошла к зеркалу посмотреть на себя, увидеть не произошла ли в ней какая-нибудь перемена, до того все это казалось ей невероятным, чудовищным. Сюзанна влюбилась в Милого Друга! Милый Друг хочет жениться на Сюзанне! Нет! Она ошиблась, это не правда! Девочка увлеклась красивым молодым человеком, она надеялась, что ей позволят выйти за него замуж; это вполне естественно! Но он? знал ли он это? Она задумалась, растерянная, убитая, как перед большим несчастьем! Нет, Милый Друг ничего не знал о выходке Сюзанны.

И она старалась понять, насколько этот человек был низок, насколько он был невинен. Неужели он сам подготовил все это? Неужели он такой негодяй! И что будет дальше? Сколько испытаний и мучений ей предстояло!

Если он не знает ничего, все еще можно уладить. Увезти Сюзанну путешествовать месяцев на шесть и все пройдет.

Но как она потом будет видаться с ним? Она ведь любила его. Эта страсть, как стрела, вонзилась в ее сердце, и нельзя было вырвать ее оттуда.

Жить без него невозможно. Лучше умереть.

Она терялась в догадках. Острая боль началась у нее в голове; мысли ее были тяжелые, смутные, давили ей мозг. Ее мучила неизвестность, она приходила в отчаяние. Посмотрела на часы, было больше часу.—Я не могу больше оставаться здесь,—сказала она.—Я должна знать. Пойду, разбужу Сюзанну, поговорю с ней.

Она со свечей в руке, босая, чтобы не шуметь, пошла в комнату дочери. Тихо открыла дверь, посмотрела. Постель не была тронута. Она не поняла сначала и поду-

мала, что девочка пошла поговорить с отцом. Но скоро ужасная догадка, как молния, поразила ее, и она побежала к мужу. Вошла бледная, запыхавшаяся. Он лежал и читал.

Спросил взволнованный:

— Ну что, что с тобой?

— Видел ли ты Сюзанну?

— Я? Нет. А что?

— Она... она... ушла. Ее нет в комнате.

Он вскочил на ковер, накинуд туфли и в одной рубашке направился в комнату дочери.

У него не было сомнения. Она убежала.

Он упал в кресло и поставил лампу на пол.

Жена подошла к нему.

— Ну?

У него не было сил ответить, он не сердился больше, стонал.

— Все кончено. Она в его руках. Мы пропали.

Она не понимала.

— Как, пропали?

— Да, конечно. Теперь он должен непременно жениться на ней.

У ней вырвался дикий, неистовый крик.

— Он! Никогда! Ты сходишь с ума?

Он ответил печально:

— Кричать нечего. Он похитил ее; он ее обесчестил. Самое лучшее выдать ее замуж за него. Если мы будем осторожны, никто не узнает этой истории.

Обезумевшая, она повторяла:

— Никогда, никогда я не дам ему Сюзанны! Никогда я не соглашусь!

Вальтер удрученный говорил:

— Но она у него. Все кончено. Он будет держать ее у себя и скрывать от нас, пока мы не согласимся. Во избежание скандала, надо уступить сейчас же.

Жена его, потрясенная ужасом и горем, в котором она не могла сознаться, повторяла:

— Нет, нет. Никогда я не соглашусь!

Он ответил нетерпеливо:—Рассуждать не приходится! Это необходимо. Ах! негодяй, как он подвел нас. Мы могли бы найти человека с лучшим общественным поло-

жением; но он умен и пойдет далеко. Это человек с будущим. Он будет депутатом и министром.

Мадам Вальтер объявила сурово и энергично:

— Никогда я не позволю ему жениться на Сюзанне... Ты слышишь... Никогда!..

Он рассердился и, как человек практичный, стал защищать Милого Друга.

— Да замолчи же... Говорю я тебе, что это необходимо... это неизбежно. И кто знает? Может быть, мы и не будем сожалеть. С подобными людьми никогда не знаешь, что будет. Ты сама видела, как он тремя статьями заставил слететь этого дурака, Лароша-Матье, и с каким достоинством он это сделал, а это было нелегко в его положении мужа. Ну, будущее покажет. Теперь мы всецело в его руках. У нас другого выхода нет.

Она готова была кричать, кататься по полу, рвать на себе волосы. Голосом полным отчаяния, она кричала:

— Он ее не получит... Я... не... хочу...

Вальтер встал, взял лампу и сказал:

— Знаешь, ты глупа, как все женщины. Вы руководствуетесь только чувством. Не умеете покоряться обстоятельствам... вы глупы! Я говорю тебе, что он женится на ней. Это необходимо.

И он вышел, шлепая туфлями. Как призрак, двигался он, в ночной рубашке, по широкому корридору заснувшего отеля. Осторожно вошел он в свою комнату.

М-м Вальтер осталась стоять, обесумевшая от невыразимых страданий. Она не понимала еще того, что случилось. Она только страдала. Потом ей показалось, что у нее не хватит сил стоять здесь неподвижно до утра...

Она почувствовала непреодолимую потребность уйти, убежать, молить о помощи, быть спасенной.

Она искала, кого бы она могла позвать!

Кого? Не находила! Священника! Да, да священника! Она бросится к его ногам, признается ему во всем, покается в своем грехе, скажет о своем отчаянии. Он поймет, что этот негодяй не может жениться на Сюзанне, он не допустит этого.

Ей нужен был священник, сейчас же!

Но где его достать? Куда идти?

Однако, не могла же она оставаться здесь.

Тогда перед ее глазами, как призрак, пронесся чистый образ Иисуса идущего по волнам. Она видела его так ясно, как если бы смотрела на картину. Он звал ее.

Говорил: «Придите ко мне. Преклоните передо мной колени. Я утешу вас и научу, что надо делать».

Она взяла свечку и направилась в оранжерею. Иисус был там, в конце, в маленьком зале; комнату эту отделили стеклянной дверью от оранжереи, чтоб сырость не испортила картины.

Это была своего рода часовня, воздвигнутая в лесу причудливых деревьев.

М-м Вальтер вошла в зимний сад; она видела его раньше только при ярком освещении и теперь была поражена его глубоким мраком. Тропические растения наполняли воздух своим тяжелым дыханием. Двери были закрыты, и трудно было дышать в этом страшном лесу, устроенном под стеклянным куполом. Он одурманивал, опьянял, заставлял наслаждаться и страдать, вызывал ощущение сладострастного возбуждения и смерти.

Бедная женщина двигалась нерешительно, ей было страшно среди этого густого мрака. Причудливые растения, освещенные временами мерцающим пламенем свечи, принимали вид самых разнообразных чудовищ.

Вдруг она увидела Христа. Она открыла дверь и пала перед ним на колени.

Она молилась горячо, неудержимо, шептала слова любви, страстно и отчаянно призывала его на помощь. Потом, когда ее молитвенный пыл остыл, она подняла глаза и застыла в немом ужасе. При этом слабом, мерцающем свете, он был поразительно похож на Милого Друга. Это были его глаза, его лоб, его вид, его выражение лица, холодное и высокомерное.

Она шептала: — «Иисус! — Иисус! — Иисус!». И имя Жоржа приходило ей на уста. Вдруг ей показалось, что в этот самый час, может быть, Жорж уже овладел ее дочерью. Он был с нею наедине, гденибудь, в какойнибудь комнате. Он! Он! С Сюзантою!

Она повторяла: «Иисус!.. Иисус!..».

Но она думала о них, о своей дочери и своем любов-

нике. Они были одни, в комнате... Была ночь. Она их видела, видела так ясно; они стояли здесь, на месте картины. Они улыбались друг другу. Целовались. В комнате было темно, постель открыта... Она встала и подошла к ним, чтобы схватить за волосы свою дочь и вырвать ее из его объятий. Она готова была задушить ее, ее, свою дочь, которую она ненавидела, которая отдавалась этому человеку. Она бросилась к ней... руки ее коснулись полотна. Она наткнулась на ноги Христа.

У нее вырвался дикий крик, и она упала. Свеча покапала и погасла.

Что произошло потом? Она впала в тяжелый, ужасный бред. Жорж и Сюзанна, обнявшись, все время проносились перед ней и с ними был Христос, который благоговел их преступную любовь.

Она еле сознавала, где она. Хотела подняться, убежать, но не могла. Оцепенение охватило ее, сковало ей члены. Работала только мысль, затуманенная, тревожная. преследуемая ужасными, фантастическими видениями. Она погрузилась в болезненный сон, неестественный и иногда смертельный, в сон, который вызывают растения жарких стран, с их причудливыми формами и опьяняющим благоуханием.

Утром нашли м-м Вальтер без чувств, полумертвою перед «Иисусом, идущим по волнам». Она так заболела, что опасались за ее жизнь. Только на другой день к ней вернулось сознание. Тогда она начала плакать.

Прислуге сказали, что Сюзанну отправили в монастырь. На длинное письмо Дюруа, в котором он просил руки Сюзанны, Вальтер ответил согласием.

Милый Друг опустил это письмо в почтовый ящик, когда они уезжали из Парижа; он приготовил его заранее. В почтительных выражениях писал он о том, что давно уже любит молодую девушку, что между ними не было никакого соглашения. Когда же она пришла к нему свободная, самостоятельная и сказала: «Я буду вашей женой», он счел себя вправе оставить ее у себя и даже скрывать до тех пор, пока будет получен ответ на его письмо. Желание его невесты имело для него больше значения, чем законная воля ее родителей.

Он просил Вальтера ответить ему до зостребования, так как он поручил другу своему переслать ему это письмо.

Получив согласие на брак, он привез Сюзанну в Париж и отправил ее к родителям. Сам же пока воздерживался от посещения Вальтеров.

Они прожили шесть дней на берегу Сены в Ла-Рош-Гюйон.

Никогда молодая девушка не проводила так весело времени. Она воображала себя пастушкой. Он всюду выдавал ее за свою сестру: между ними установились свободные и целомудренные отношения, нежная дружба с оттенком влюбленности. Он находил более выгодным обращаться с ней почтительно. На следующий же день после приезда она купила себе белье, сельское платье и большую соломенную шляпу с полевыми цветами.

Она была очарована местностью. Там был старинный замок с высокой башней и массою редкостей.

Жорж ходил в вязанной шерстяной куртке, купленной у местного торговца. Целыми днями они гуляли по берегам Сены, ловили рыбу, катались в лодке. Влюбленные, трепещущие, они все время целовались, она невинная, он еле сдерживая свои порывы. Но Жорж умел владеть собой. И когда он сказал: — Завтра мы вернемся в Париж, ваш отец согласен на наш брак, — она наивно прошептала: — Уже! А так весело быть вашей женой!

X.

В маленькой квартирке в Константинопольской улице царил мрак. Жорж Дюруа и Клотильда де-Марель встретились у двери, быстро вошли, и она сказала ему, не дав ему открыть ставен:

— Итак ты женишься на Сюзанне Вальтер?

Он кротко подтвердил и прибавил:

— Ты разве этого не знала?

Она продолжала, стоя перед ним возмущенная, негодующая:

— Ты женишься на Сюзанне Вальтер? Это уже слишком! Вот три месяца, как ты ко мне подлизываешься,

чтобы скрыть это от меня. Все это знают, кроме меня. И я узнала от своего мужа!

Дюруа начал хохотать, в глубине души смущенный; положил шляпу на край камина и сел в кресло.

Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала раздраженным глухим голосом:

— С тех пор, как ты разошелся с женой, ты подготавливал этот фортель, а меня сохранял, как удобную любовницу? Какой же ты подлец!

Он спросил:

— Почему это? Жена меня обманывала. Я ее накрыл; получил развод и женись на другой, чего же проще?

Она прошептала вся дрожа:—О! Какой ты пройдоха и негодяй!

Он продолжал смеяться:

— Чорт возьми! Болваны и ничтожества всегда остаются в дураках!

Но она продолжала развивать свою мысль:

— Как я не могла тебя раскусить с самого начала? Но нет,—я не могла думать, что ты такой подлец.

Он с достоинством возразил:

— Я прошу тебя думать о том, что ты говоришь.

Она возмутилась этим замечанием:—Как? Ты хочешь, чтоб я надевала перчатки, разговаривая с тобой! Ты ведешь себя со мной, как последний подлец с самого начала, и претендуешь, чтобы я тебе этого не говорила? Ты обманываешь всех кругом, всех эксплуатируешь, повсюду берешь все, что можно, и хочешь, чтобы и я с тобой обращалась, как с честным человеком!

Он вскочил, губы его дрожали.

— Замолчи или я тебя заставлю уйти отсюда.

Она прошептала:—Уйти отсюда?... уйти отсюда? Ты меня заставишь уйти отсюда... ты? ты?...

Она не могла больше говорить; гнев душил ее и вдруг она разразилась, точно вся ее сдерживаемая ярость прорвалась наружу.

— Уйти отсюда? Так ты забыл, что я с самого первого дня платила за эту квартиру! Да! Ты от времени до времени брал ее на свой счет. Но кто ее нанял?.. Я. Кто сохранил?.. Я. И ты хочешь заставить меня уйти отсюда.

Замолчи, негодяй, думаешь, что я не знаю, как ты украд у Мадлены половину наследства Водрэка? думаешь, что я не знаю, как ты валялся с Сюзанной, чтобы принудить выдать ее за себя?

Он схватил ее за плечи и начал трясти:

— Не говори об этом! Я тебе запрещаю!

Она кричала:

— Ты валялся с нею, я знаю!

Он стерпел бы все, что угодно, но эта ложь выводила его из себя. Истины, которые она бросала ему в лицо, вызвали в нем дрожь негодования, но эта клевета на молодую девушку, его будущую жену, возбудила в нем безудержное желание ее ударить.

Он повторял:

— Замолчи... Берегись... Замолчи...—И он тряс ее, как трясут ветку, чтобы заставить упасть плоды.

Она орала во все горло, с растрепанными волосами и безумными глазами:

— Ты спал с нею!

Он бросил ее и закатил ей такую пощечину, что она отлетела к стене. Но она обернулась к нему и, проподнявшись на локтях, прокричала еще раз:

— Ты валялся с нею!

собака!! Он бросился на нее и, подмяв ее под себя, стал бить ее так, как бьют мужчину.

Она вдруг замолчала и начала стонать от боли. Не двигалась, уткнув лицо в пол и испуская жалобные крики.

Он перестал ее бить. Потом сделал несколько шагов по комнате, чтобы придти в себя, и что-то надумав, прошел в другую комнату, наполнил таз холодной водой и окунул туда голову. Потом вымыл руки и пошел посмотреть, что она делает, тщательно вытирая себе пальцы.

Она не двигалась. Все еще лежала на полу и тихо плакала.

Он спросил:—Ты скоро перестанешь реветь?

Она не ответила. Тогда он остановился среди комнаты, немного смущенный и сконфуженный перед женщиной, распростертой на полу.

Потом вдруг на что-то решился, взяв шляпу с камина:

—Прощай. Ключ ты отдашь привратнику, когда будешь уходить. Я не могу дожидаться перемены твоего настроения.—Он вышел, запер дверь, зашел к швейцару и сказал ему:

— Барыня осталась. Она сейчас уйдет. Вы скажете хозяину, что я бросаю квартиру к первому октября. Теперь у нас шестнадцатое августа, значит, я еще имею право на это.

И ушел, так как ему предстояло еще делать покупки для подарков невесте.

Свадьба была назначена на двадцатое октября, сейчас после открытия парламента. Венчаться должны были в церкви св. Мадлены. Циркулировало множество сплетен, но никто не знал, в чем дело. Передавали, что он увез ее силою, но никто наверное этого не знал.

По словам слуг, г-жа Вальтер, которая не разговаривала со своим будущим зятем, отравилась от злости вечером того дня, когда была решена свадьба, отправив в полночь свою дочь в монастырь.

Ее едва удалось вернуть к жизни. Во всяком случае, она вполне не оправится. У нее теперь был вид старухи; волосы совершенно побелели; она окончательно ударилась в религию и причащалась каждое воскресенье.

В первых числах сентября «Французская Жизнь» возвестила, что барон Дюруа де-Кантель становится главным редактором газеты, а г-н Вальтер остается только издателем.

Тотчас был приглашен целый рой известных хроникеров, фельетонистов, политических редакторов, театральных и художественных критиков, переманенных за большие деньги из известных газет с установившеюся репутациею.

Теперь уже старые журналисты, уважаемые и почтенные, не пожимали больше плечами, говоря о «Французской Жизни». Ее быстрый и всесторонний успех сгладил недоверие солидных писателей, замечавшееся в начале издания.

Свадьба главного редактора составляла теперь в Париже событие. Жорж Дюруа и Вальтеры с некоторых пор привлекали всеобщее внимание. Положительно все зна-

чительные лица города должны были присутствовать на торжестве.

Происходило это событие в ясный, осенний день.

С восьми часов утра все служители церкви Мадлены были заняты тем, что расстилали на ступеньках входа, обращенного к Королевской улице, широкий красный ковер; прохожие останавливались оповещенные, что сегодня здесь состоится большое торжество.

Чиновники, шедшие на службу, модистки, приказчики, останавливались, глазели и думали о богачах, которые тратят столько денег на то, чтобы соединиться...

Около десяти часов начали собираться любопытные. Постояли несколько минут в надежде, что может быть начнется сейчас же, потом разошлись.

В одиннадцать часов отряды полиции прибыли к церкви и начали разгонять толпу, так как ежеминутно образовывались группы.

Вскоре появились первые приглашенные,—те, которые хотели занять ближние места, чтобы лучше видеть. Они ваяли стулья с краю вдоль середины церкви.

Затем начали прибывать другие,—женщины, шумевшие шелками, сумрачные мужчины, почти все лысые, двигавшиеся церемониальной шиходкой, более важные, чем когда либо.

Церковь постепенно наполнялась; солнечные лучи врывались в огромную открытую дверь, освещая первые ряды приглашенных. На клиросе, казавшемся темным, алтарь с восковыми свечами бросал слабый желтоватый свет, бледный рядом с ослепительными лучами, проникавшими в дверь.

Знакомые подходили друг к другу, обменивались поклонами, собирались в группы. Литераторы, менее учтивы, чем светские люди, болтали вполголоса. Рассматривали женщин.

Норбер де-Варенн, в поисках знакомых, увидел Жака Риваля в среднем ряду стульев и подошел к нему.

— Итак,—сказал он,—будущее принадлежит пройдохам!—Тот, не будучи завистливым, отвечал:—Тем лучше для него,—его карьера сделана.—И они стали называть имена знакомых.

Риваль спросил:—Не знаете ли вы, что случилось с его женой?

Поэт улыбнулся:—И да, и нет. Говорят, она живет очень уединенно на Монмартре. Но... тут есть одно обстоятельство... С некоторых пор в «Пере» попадают политические статьи чертовски похожие на статьи Форестье и Дюруа. Их пишет некий Жан ле-Доль, молодой человек, красивый, интеллигентный, из той же породы, что наш друг Жорж, познакомившийся теперь с его бывшей женой. Из этого я заключаю, что она всегда любила начинающих и будет их любить до смерти. К тому же она богата. Водрэк и Ларош-Матье не даром же были друзьями дома.

Риваль заявил:

— Она недурна, эта Мадленка. Очень тонкая штука! Должно быть она очаровательна при ближайшем знакомстве... Но, объясните мне, каким образом Дюруа венчается в церкви после официального развода?

Норбер де-Варенн ответил:—Он венчается в церкви, потому что первый его брак не был церковным.

— Как так?

— Наш Милый Друг из экономии, или из других соображений нашел, что для брака с Мадленой достаточно одной мэрии. Он обошелся без духовного благословения, что по нашим законам считается простым сожительством и, следовательно, он предстал теперь пред алтарем холостым и ему будут оказаны все почести, которые встанут папа Вальтеру в копеечку.

Шум прибывающей толпы все разрастался... Некоторые разговаривали почти вслух. Указывали на знаменитостей, которые рисовались, довольные тем, что на них смотрят, тщательно соблюдая усвоенные позы, привыкшие показываться в таком виде на всех празднествах, где они считали себя необходимым украшением.

Риваль продолжал:

— Скажите, друг мой,—вы ведь часто брызгаете у пьедестала. Правда ли, что г-жа Вальтер с Дюруа больше не разговаривает?

— Никогда. Она ни за что не хотела выдать за него дочь. Но он угрожал отцу трупам, говорят, найденными в Марокко. Угрожал ужаснейшими разоблачениями. Валь-

тер вспомнил о примере Лароша Матье и тотчас уступил. Но мать, упрямая, как все женщины, поклялась, что никогда не скажет слова с своим зятем. Они ужасно смешны, когда видишь их вместе. У нее вид статуи Мцения, а у него—очень смущенный, хотя он и умеет владеть собою, уж нечего сказать!

К ним подходили для рукопожатий собраты по ремеслу. Слышались отрывки политических разговоров. Глухой, похожий на шум прибоя, гул толпы, собравшейся перед церковью, врывается в дверь, вместе с лучами солнца, подымался к сводам над колышавшейся массой избранных, собравшихся в центре.

Вдруг швейцар ударил три раза по деревянному полу своей аллебардой. Все присутствующие обернулись, послышался длительный шелест платьев и движение стульев. В дверях, освещенная солнечными лучами, показалась молодая женщина под руку с отцом.

Она все еще походила на куклу, очаровательную, белокурую куклу, увенчанную померанцевыми цветами...

Она стояла несколько минут на пороге, потом, когда ступила в церковь, раздались мощные звуки органа, возмущающие своим металлическим тоном появление невесты.

Она шла с опущенною головою, но несколько не смущенная, слегка взволнованная, очаровательная, игрушечная невеста... Женщины улыбались и перешептывались при виде ее... Мужчины шептали: «Восхитительна, очаровательна!». Г-н Вальтер шел с преувеличенною важностью, бледный, с внушительными очками на носу.

Позади них четыре подруги, все в розовом, все хорошенькие, замыкали свиту этой кукольной королевы. Шафера,—все точно подобранные на заказ, выступали балетным шагом.

Г-жа Вальтер следовала за ними под руку с отцом своего другого зятя, маркизом де-Латур-Ивелин, семидесятидвухлетним стариком. Она не шла, а еле тащилась, готовая при каждом движении потерять сознание. Чувствовалось, что ноги ее прилипали к полу, отказывались

двигаться, и сердце билось в груди точно зверь, готовый выпрыгнуть...

Она похудела. Ее седые волосы делали ее лицо еще более бледным и осунувшимся.

Она смотрела перед собою, чтобы никого не видеть, чтобы не отрываться от терзающих ее мыслей.

Потом появился Жорж Дюруа с незнакомой пожилой дамой.

Он держал голову слегка откинув; глаза его смотрели прямо, твердо, из-под нахмуренных бровей. Усы его, казалось, шевелились над губой. Его находили очень красивым. У него была гордая осанка, тонкая талия, прямая поступь. На нем отлично сидел фрак, украшенный, точно каплей крови, пунцовой ленточкой Ордена Почетного Легиона. Затем шли родные, — Роза с сенатором Риссолэном. Она вышла замуж шесть недель тому назад. Граф де-Латур-Ивелин под руку с виконтессой де-Персемюр.

Затем, наконец, пестрый ряд друзей и сотоварищей Дюруа, которых он представлял своей новой родне, люди известные в парижском полусвете, быстро делающиеся друзьями и, смотря по надобностям, отдаленными родными богатых выскочек, разорившиеся дворянчики с сомнительной репутацией... В числе их были г. де-Бельвинь, маркиз де-Банжолэн, граф и графиня де-Равенель, герцог де-Рамсрано, князь Кравалов, дворянин Вальреали, потом, приглашенные Вальтером, князь де-Герж, герцог и герцогиня де-Ферасин, красавица маркиза Дюнская... Родственники г-жи Вальтер, находившиеся здесь, имели вид состоятельных провинциалов.

Звуки органа пронесли, наполняя церковь громкими, стройными звуками, взывавшими к небу о людских радостях и горестях. Главные двери закрыли, и вдруг стало темно, точно весь свет остался за дверьми...

Теперь Жорж опустился на колени рядом со своею невестою, против освещенного алтаря.

Новый епископ Танжера, с посохом в руке и митрой на голове, вышел из святилища, чтобы соединить их во имя Всевышнего.

Он предложил обычные вопросы, обменял кольца, произнес слова, соединяющие как цепью, и обратился к

новобрачным с христианским паутствием. Долго говорил высокопарным слогом о верности. Это был полный высокий мужчина, один из тех красивых прелатов, которым брюшко придает величественный вид.

Послышались рыдания, заставившие некоторых обернуться. Г-жа Вальтер плакала, закрыв лицо руками.

Она должна была уступить. Что ей было делать? Но с того дня, как она выгнала из своей комнаты вернувшуюся дочь, отказавшись ее поцеловать, с того дня, когда она сказала тихо Дюруа, церемонно поклонившемуся ей: — Вы самое низкое существо, которое я когда-либо знала, — не говорите со мною никогда, я не буду вам отвечать! — она страдала невыразимо и неутешно. Возненавидела Сюзанну острою ненавистью — результат безумной страсти и раздирающей ревности, — ревности матери и любовницы, молчаливой, жестокой и мучительной, как незатянувшаяся рана.

И вот, теперь епископ венчает их, — ее дочь и ее любовника, — в церкви, в присутствии двух тысяч человек на ее глазах! И она ничего не могла сказать? Не могла этому помешать? Не могла закричать: «Он принадлежит мне, этот человек, — это мой любовник. Этот союз, который вы благословляете — бесстыдство».

Несколько женщин прошептали: — Как бедная мать растрогана!

Епископ возгласил: — Вы среди избранников земли, среди богатых и почитаемых... Вы, сударь, которого талант возвышает над другими, вы, который пишете, поучаете, направляет народ, вам предстоит прекрасное поле деятельности, дать пример...

Дюруа слушал, охваченный гордостью. Прелат Римской церкви говорил ему это. Позади себя он чувствовал толпу знаменитостей, пришедших ради него. Ему казалось, что какая-то неведомая сила подымает, толкает его. Он становился одним из земных властелинов, он, сын бедных крестьян в Кантеле.

И вдруг он вспомнил их, в их убогом кабаке, на вершине холма, над Руанской долиной — отца и мать, подающих напиток местным крестьянам... Он послал им

пять тысяч франков, получив наследство графа Водрэка. Теперь он пошлет им пятьдесят тысяч, и они купят себе маленькое имение. И будут счастливы и довольны.

Епископ окончил речь. Священник, облаченный в золотую мантию, подходил к алтарю. Орган снова начал прославлять новобрачных...

Иногда он издавал протяжные звуки, несущиеся как волны, такие громкие и мощные, что казалось они должны прорваться сквозь крышу, чтобы возвестить к голубому небу; их дрожащие звуки наполняли всю церковь, заставляя трепетать душу и тело. Потом вдруг они утихали; и нежные воздушные звуки носились в воздухе, касаясь уха точно легкое дуновение; это были грациозные мотивы, порхавшие как птицы; потом вдруг эта кокетливая музыка снова становилась грандиозной по звуку и силе, будто песчинка разрасталась в целый мир.

Потом раздалось человеческие голоса над склоненными головами. Пели Вори и Ландек из Оперы. Ладан распространял свое тонкое благоухание, на алтаре совершалось божественное жертвоприношение; Бог Отец, по призыву священника, нисходил на землю, чтобы освятить триумф барона Жоржа Дюруа.

«Милый Друг», стоя на коленях возле Сюзанны, наклонил голову. В эту минуту он чувствовал себя почти верующим, почти религиозным, преисполненным благодарности Божеству, которое ему так покровительствовало, так милостиво отнеслось к нему. И не зная точно к кому обратиться, он благодарил его за успех.

Когда служба окончилась, он встал и, подав жене руку, прошел в ризницу. Тогда потянулась нескончаемая процессия поздравляющих. Жорж, обезумевший от радости, чувствовал себя королем, которого приветствует народ. Он пожимал руки, бормотал незначащие слова, раскланивался, отвечал на комплименты:

— Вы очень любезны.

Вдруг он увидел г-жу де-Марель. И воспоминание обо всех ее поцелуях, которые он ей подарил и которые она ему вернула, воспоминание всех ее ласк, шалостей, звука ее голоса, вкуса губ, вдруг зажгло в нем внезапное желание снова обладать ею... Она была пикантна, изящ-

на, со своим задорным видом и живыми глазами. Жорж подумал: «Все же — какая она очаровательная любовница!».

Она подошла к нему, слегка стесняясь, волнуясь, и протянула ему руку. Он взял ее и задержал в своей. Тогда он ощутил робкий призыв ее пальчиков, нежное пожатие, прощающее, вновь призывающее, и пожал эту маленькую руку, точно говоря: «Я тебя все еще люблю, и принадлежу тебе!».

Их глаза встретились, блестящие, улыбающиеся, влюбленные... Она прошептала своим милым голоском:—До скорого свидания, сударь.

Он весело ответил:—До скорого свидания, сударыня.

Она отошла. Другие лица протискивались к ним. Толпа текла перед ним точно река. Наконец, она поредела. Подошли последние приглашенные. Жорж взял Сюзанну под руку, чтобы выйти из церкви.

Она была полна народу, потому что каждый вернулся на свое место, чтобы посмотреть их идущими вместе. Он медленно шел спокойной походкой, с высоко поднятой головой, устремив взгляд на просвет выхода, освещенного солнцем. Он чувствовал, что по телу его пробегает трепет, холодный трепет—ощущение безмерного счастья. Он никого не видел. И думал только о себе.

Подойдя к порогу, он увидел собравшуюся толпу, темную, шумящую толпу, пришедшую сюда ради него, ради Жоржа Дюруа. Весь Париж любовался на него и завидовал ему.

Потом, подняв глаза, он разглядел там, позади площади Согласия, Палату Депутатов. И ему показалось, что он одним прыжком очутится у двери Палаты...

Он медленно спускался по ступенькам наперти между двумя рядами зрителей, но не смотрел на них. Его мысли возвращались теперь назад и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ г-жи де-Марель, поправляющей перед зеркалом завитки волос, развивавшиеся у нее всегда в постели.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

„Милый Друг“—второй по порядку из шести романов Мопассана. Он печатался в 1885 году в фельетонах газеты „Gil Blas“ где помещены были и многие из рассказов Мопассана. В мае закончилось печатание этого романа в газете, а в начале июня он, уже вышел отдельным изданием у Гавара, с которым тогда Мопассан был в хороших отношениях. В сентябре того же 1885 года вышло уже 37 издание романа, а через два года—51-е. Этот внешний успех вполне соответствует большим литературным достоинствам романа и его житейскому интересу.

После провинциальной жизни и впечатлений детства, так точно отразившихся в романе „Жизнь“, здесь—Париж и нервные переживания беспокойной столичной жизни, газетная и деловая среда и бойкая жизнь парижской улицы. Как всегда у Мопассана, и здесь—точное, ясное до беспощадности изображение того, что он видел, что знал хорошо. И это понятно: он был журналистом не только прежде, чем прославился своими рассказами, но и потом никогда не порывал тесных связей с газетами.

Очень много его статей, хроник и этюдов было напечатано в разные годы в газетах „Gaulois“ и „Gil Blas“. Для русского читателя интересно упомянуть, что Мопассан два раза писал о Тургеневе, с которым был очень хорошо знаком: в газете „Gaulois“ 21 ноября 1880 года напечатана его заметка „Создатель слова „нигилист“, и в той же газете, 5 сентября 1883 года, помещена его статья о Тургеневе, тогда уже скончавшемся.

Итак, газетную среду Мопассан знал хорошо, наблюдал точно и отчетливо, как и все, что ему случалось в жизни наблюдать. Как в великолепно сплавленном из лучших материалов и безукоризненно отшлифованном зеркале, отразились здесь нравы литературно-политической прессы, все своеобразные особенности

парижской газетной стряпни, с помощью которой совершалась беззастенчивая политическая и делеческая жизнь буржуазного общества, и все несовершенства парламентаризма, насколько они отражаются в газетной деятельности и даже в значительной степени питаются и поддерживаются всеми ее силами.

Только потому это — не злая политическая и социальная сатира, что все это изображено с теми невозмутимыми бесстрастностью и беспристрастностью, которые были постоянными свойствами ясного дарования Мопассана. Ничего, кроме голый правды, как дано было видеть ее Мопассану. Правда эта слишком мрачна, — что же делать! Такова и правда жизни, ничем не прикрашенная, не прикрытая стыдливо никакими иллюзиями.

Превосходно изображена в этом романе ежедневная жизнь великого мирового города, ритмическая, деятельная, размеренная, со всеми ее гигантскими приливами и отливами, жизнь в домах и на улице, это коловращение громадных людских множеств, придающее такое оживление улицам и многочисленным бульварам, эти бесчисленные рестораны, кафе, выбрасывающие свои столики на тротуары, театры и увеселительные заведения, все эти места, где встречаются деловые люди и бездельники, скромные семьи и сомнительные, разряженные дамы, где за чашкой кофе за стаканом прохладительного питья, за завтраком или за обедом совершаются нужные и ненужные знакомства, где устраиваются большие дела и маленькие делишки, где завязываются всевозможные связи и налаживаются карьеры светские, деловые, политические, служебные. Для тех, кто был в Париже, интересно оживить свои воспоминания о великом городе, для небывших там страницы этих мимолетных, но точных и ясных описаний почти заменяют личное ознакомление с Парижем.

В центре романа, главное его действующее лицо Жорж Дюруа, молодой, красивый, неразборчивый в средствах человек. Никакими способностями и знаниями он не отличается, никакие отвлеченные идеи его не волнуют. Он кое-как окончил среднюю школу, в университете не был. В положенные законом годы он отбыл воинскую повинность, как и все молодые французы: во Франции нет такого большого числа освобожденных от военной службы по разным льготам, как у нас; постоянная опасность германского нашествия заставила французов после войны с пруссаками в 1870—71 гг. проводить через ряды войск всю свою молодежь.

Окончив обязательный срок службы, Жорж Дюруа сделался чиновником на маленьком жалованьи, как и сам Мопассан. Служба не обещала ему ничего большого, — у Дюруа не было ни способностей, ни усердия, ни протекции, всегда и везде всеильной. Была только жажда наслаждений, стремление к легкой, веселой и богатой жизни. Свое житейское благополучие Дюруа сумел устроить себе при посредстве газетной работы, пользуясь помощью и покровительством приятелей и женщин. Мужчин он покоряет своею беспринципностью и цинизмом, ни перед чем не останавливающимися; женщин — красотой и дерзкою смелостью авантюриста. И для тех и для других он неотразим. Он — крупный, великолепный образчик человекозверя, руководимого всегда только грубым эгоизмом и жаждою чувственных наслаждений, такого человека, который так часто торжествует в современном мире.

Среда дает ему большой простор, — эта среда корыстного, эгоистического мещанства, восторжествовавшего во Франции после великих разочарований, политических и социальных, после неудачной войны с немцами и после подавления парижской коммуны. Казалось, что все помыслы великой страны направлены только на устройство благополучной жизни. Великие порывания, яркое горение революционного духа сменились разочарованностью, усталостью, равнодушием, делечеством. Парламентская жизнь почти целиком сводилась к мелким партийным интригам, которые отмечались чрезвычайно частыми сменами министерств, почти всегда одинаково ничтожных. В этом отношении достаточно сказать, что в 1885 году, когда печатался „Милый Друг“, у власти стояло уже девятнадцатое министерство третьей республики (министерство Бриссона), которое просуществовало всего девять месяцев.

Ни парламентские, ни газетные нравы того времени не внушали ни малейшего уважения Мопассану. Тип наглого журналиста, как Дюруа, не был, конечно, господствующим в парижской прессе: в среднем люди всегда бывают лучше, чем отдельные, особенно, махровые экземпляры. Но такие люди, как беспринципный Дюруа, имели очень много шансов процветать в этой удушливой, развращенной атмосфере.

Газетно-политическая деятельность Жоржа Дюруа сводилась, в конечном счете, к тому, чтобы ловко вводить в обман общественное мнение и таким образом способствовать обращению

парламентаризма в „навозную кучу всеобщего голосования“, как говорит Мопассан в рассказе „Государственный переворот“. Дюруа, бессердечный, корыстный, эгоистический человек, оказался совершенно на своем месте в той зараженной среде, где господствовали жажда наслаждений, стремление к обогащению во что бы то ни стало, порочность, жестокая похотливость, забвение высоких идей, — все те черты, которые так свойственны Дюруа, этому человекозверю в модном фраке и высоком цилиндре, одному из многих, извративших самый характер французской жизни, в общем весьма добродетельной и умеренной.

Мрачная картина всеобщей порочности и продажности гармонирует в этом романе с теми меланхолическими настроениями, которые с 1885 года все сильнее и явственнее отражаются в произведениях Мопассана. Среди копошащихся в романе разного рода своекорыстных и ничтожных личишек проходит ясный и грустный образ старого поэта, Норбера де-Варенна, человекаичого поколения и совсем иного душевного склада. И печально, и торжественно звучат его речи о смерти. Они удивили в свое время читателей и почитателей Мопассана, — от него не ожидали ничего подобного. Но теперь мы знаем, что в этих печальных речах звучали отголоски настроений самого автора, уже догадывавшегося тогда о неизбежности своей скорой гибели.

Таким же отголоском интимных переживаний Мопассана является описание смерти чахоточного Форестье: так просто искренно, трогательно и правдиво можно говорить только о том, что уже стало близким душе.

Самый стиль Мопассана, и раньше бывший образцовым по точности, ясности и изысканной простоте, приобретает в этом романе особенно углубленную ясность. И построение рассказа здесь совсем иное, чем в романе „Жизнь“. Но это — общее свойство Мопассана, как романиста. К каждой своей большой задаче он подходил всегда с особыми приемами построения и письма. Новый материал всегда обуславливал и новые приемы работы.

В „Милом Друге“ Мопассан наиболее приближается к манере Лесажа. Как и Лесажев роман о Жиль Блазе, это — тоже стремительно-развивающийся и всегда занятный рассказ, настоящий роман приключений, ведущих от нищеты и голода к роскоши и богатству, рассказ, развертывающийся естественно и живо, как и знаменитый роман Лесажа. Наряду с этою стремительностью действия особенно выделяется спокойный и ровный тон пове-

ствования, неизменная Мопассановская чрезмерная ясность очертаний.

Роман имел во Франции большой успех и встречен был многими хвалебными отзывами. Брюнетьер писал, что „Милый Друг“ — самый замечательный из натуралистических романов своего времени. Любопытно, что этот отзыв появился в том самом журнале („Journal des Débats“), о котором Мопассан однажды сказал, что он так же мало хочет печататься в этом журнале, как быть членом Академии или получить от правительства орден. Золя в надгробной речи называет романы Мопассана превосходными и видит в них простое и сильное изображение жизни, безошибочный анализ, здоровую и великодушную откровенность, завоевавшую все сердца.

В России Мопассан ценился всегда больше, как автор рассказов. Романы его у нас меньше обращали на себя внимание. Соответственно этому малому влиянию Мопассановых романов трудно было бы указать в нашей литературе что-нибудь значительное в области романа, что стояло бы в непосредственной связи с „Милым Другом“. Хотя и можно сказать, что кларизм таких наших современников, как напр. Кузмин и Алексей Н. Толстой, носит на себе отпечаток влияния Мопассана, но для обоих этих писателей значительнее иные литературные влияния.

Федор Сологуб.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

	СТРАН.
Гл. I	7—21
Гл. II	22—34
Гл. III	34—49
Гл. IV	49—63
Гл. V	63—96
Гл. VI	96—124
Гл. VII	124—140
Гл. VIII	140—160

ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

Гл. I	161—183
Гл. II	183—197
Гл. III	197—217
Гл. IV	217—229
Гл. V	230—249
Гл. VI	249—258
Гл. VII	258—276
Гл. VIII	276—287
Гл. IX	287—299
Гл. X	299—309
Послесловие Ф. Сологуба	311—315

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Состоящее при Народном Комиссариате по Просвещению издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней.

С этой целью Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека включает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки будут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

Общее количество книг основной библиотеки—около 1500 томов. Средний размер тома—около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по объему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателя с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное—с теми скорбями веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей—залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки—около 2500 томов. Размер отдельного тома—около 4 печ. листов (64 стр.).

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мадьяр, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Забедующие Издательством: М. ГОРЬКИЙ, З. И. ГРЖЕБИН, И. П. ЛАДЫЖНИКОВ, А. Н. ТИХОНОВ.

Редакционная Коллегия экспертов: Ф. Д. БАТЮШКОВ, А. А. БЛОК, Ф. А. БРАУН, А. Л. ВОЛЫНСКИЙ, М. ГОРЬКИЙ, Н. ГУМИЛЕВ, Е. И. ЗАМЯТИН, А. Я. ЛЕВИНСОН, Г. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. Н. ТИХОНОВ, К. ЧУКОВСКИЙ.

В редакционной работе принимают участие: Е. А. АДАМОВ, В. А. АЗОВ, Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД, А. В. АМФИТЕАТРОВ, А. М. АНИЧКОВА, Ю. К. БАЛТРУШАЙТИС, К. Д. БАЛЬМОНТ, А. Н. БЕНУА, Е. М. БРАУДО, В. А. БРИМ, А. А. БРОК, В. Я. БРЮСОВ, З. А. ВЕНГЕРОВА, А. В. ГАНЗЕН, М. О. ГЕРШЕНЗОН, А. А. ГИЗЕТТИ, З. Н. ГИППИУС, П. П. ГНЕДИЧ, И. М. ГРЕВС, Р. Г. ГРИГОРЬЕВ, Б. А. ГРИФЦОВ, П. К. ГУБЕР, А. Ф. ДАМАНСКАЯ, Ю. Н. ДАНЗАС, О. А. ДОБИАШ, М. А. ЖИРМУНСКИЙ, Б. Я. ЖУХОВЕЦКИЙ, С. М. ЗАРУДНЫЙ, Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ, ВЯЧ. ИВАНОВ, Б. П. ИЗМАЛКОВА, ВЛ. КАРЕНИН, Л. П. КАРСАВИН, П. С. КОГАН, А. Ф. КОНИ, М. А. КУЗМИН, А. И. КУПРИН, М. Е. ЛЕВБЕРГ, Н. О. ЛЕРНЕР, Е. П. ЛЕТКОВА, М. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ, Е. Г. ЛУНДБЕРГ, Т. И. МАНУХИНА, П. П. МУРАТОВ, С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ, П. П. ПЕРЦОВ, С. А. ПОЛЯКОВ, Н. И. ПОТАПЕНКО, С. Э. РАДЛОВ, Э. Л. РАДЛОВ, А. М. РЕМИЗОВ, А. Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, А. Н. СЕРЕБРОВ, Б. П. СИЛЬВЕРСВАН, Ф. К. СОЛОГУБ, В. В. СТРУВЕ, П. ТУГЕНДХОЛЬД, Г. П. ФЕДОТОВ, В. Ф. ХОДАСЕВИЧ, М. ЦВЕТАЕВА, А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, В. А. ЧУДОВСКИЙ, Н. Л. ШАППИР, С. В. ШТЕЙН, С. И. ШТЕЙН, Б. М. ЭЙХЕНБАУМ и др.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

А. ЛЕСАЖ	— Хромой бес. Тюркаре.
Г. ДЕ-МОПАСАН	— Милый друг.
	— Сильна как смерть.
А. ФРАНС	— Остров Пингвинов.
ЛИЛИ БРАУН	— Письма маркизы.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

№№	
1. О. МИРБО	— Деревенские рассказы.
2. МУЛЬТАТУЛИ	— Рассказы.
3. МАРК ТВЭН	— Приключения Тома.
4. Г. Д'АННУНЦИО	— Пескарские рассказы.
5. А. ШАМИССО	— Петер Шлемиль.
6. А. ФРАНС	— Дело уличного торговца.
7. Г. АФ-ГЕЙЕРСТАМ	— Любовь и др. рассказы.
8. РОБИН ГУД	— Поэма.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

Ч. ДИККЕНС	— Повесть о двух городах.
" "	— Наш общий друг.
" "	— Большие ожидания.
" "	— Жизнь и приключения Никколая Никкльби.
" "	— Жизнь и приключения Мартина Чеззльвита.
А. ЛЕСАЖ	— Домби и сын.
Г. ФЛОБЕР	— Жиль Блаз.
	— Саламбо.
ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Воспитание чувства.
	— Уэверли.
ГОНГУР	— Роб-Рой.
Б. ИБАНЬЕС	— Братья Земганно.
	— Власть мертвых.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

МАРК ТВЭН	— Принц и нищий.
Б. ИБАНЬЕС	— Валенсианские рассказы.
ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Черный карлик.
Г. УЭЛЛС	— Спящий пробуждается.
„ „	— Машина времени.
„ „	— Невидимка.
А. ФРАНС	— Борьба миров.
М. СЬЕРРА	— Чудо св. Николая.
Л. НОРДСТРЕМ	— Сказка о сорочке.
ДЖ. М. БАРИ	— Благословенная весна.
Г. Р. ХАГГАРД	— Обыватели.
Г. ДЕЛЕДДА	— Белая птичка.
Ю. ЮРГЕНСОН	— Копи царя Соломона.
О. ГОЛЬДСМИТ	— Сардинские рассказы.
Г. ФЕДЕРА	— Африканские рассказы.
Д. ЛОНДОН	— Векфильдский священник.
Г. БАНГ	— Прометей и др. рассказы.
И. ИЕНСЕН	— Сын волка.
О. УАЙЛЬД	— Четыре диавола.
„ „	— Гиммерландские рассказы.
ВОЛЬТЕР	— Сказки.
С. Т. КОЛЬРИДЖ	— Гранатовый дом.
	— Рассказы.
	— Задиг.
	— Кандид.
	— Поэма о старом моряке.